

Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Й Ж У Р Н А Л

Арҗамак

12+

ТАТАРСТАН

№1 (25)

март

2017





ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Арзамас

ТАТАРСТАН

Основан в августе 2009 года

Главный редактор
Алешков Николай Петрович

№ 1(25) • МАРТ • 2017

Когда обрезается ребёнку пуповина, и он делает первый самостоятельный вздох, в определённых участках его организма фиксируются напряжённости и векторы всех геофизических полей, существующих на Земле: гравитационного, магнитного, электромагнитного, космического излучений и ещё массы параметров, присущих данной точке Земли и никакой другой. И эта точка Земли – его Родина, и будет ему хорошо только здесь.

Олег Рябов (Нижний Новгород)



ИЗДАТЕЛЬСКИЙ СОВЕТ

Василенко Светлана Владимировна — первый секретарь
Правления Союза российских писателей;

Ларионова Татьяна Петровна — исполнительный директор
республиканского фонда «Возрождение» (Татарстан);

Зарипов Айрат Ринатович — руководитель
республиканского агентства по печати
и массовым коммуникациям «Татмедиа»;

Руденко Гульзада Ракиповна — генеральный директор Елабужского
государственного историко-архитектурного
и художественного музея-заповедника;

Суворов Виктор Семёнович — ректор Набережночелнинского государственного
торгово-технологического института, доктор педагогических наук.

РЕДКОЛЛЕГИЯ

А. Н. Бабаев — председатель попечительского Совета Русской православной церкви
в Набережных Челнах, член Союза российских писателей (Набережные Челны);

Н. М. Валеев — доктор филологических наук,
член Союза писателей России (Казань);

Н. А. Вердеревская — кандидат филологических наук,
член Союза российских писателей (Елабуга);

Р. Б. Гайнетдинов — заведующий отделом Департамента Президента
Республики Татарстан по вопросам внутренней политики (Казань);

В. Н. Гофман — протоиерей, член Союза писателей России (Нижний Новгород);

В. А. Ермаков — заслуженный работник культуры РФ,
член Союза писателей России (Орёл);

И. В. Лимонова — член Союза писателей СССР (Москва);

Д. Е. Кан — член Союза писателей России (Новокуйбышевск);

О. В. Кузьмичева-Дробышевская — член Союза российских писателей (Набережные Челны)

С. Д. Кузнецких — член Союза российских писателей (Красноярск);

Г. С. Морозов — член Союза писателей России (Касимов, Рязанская обл.);

Н. В. Переяслов — секретарь правления Союза писателей России (Москва);

Н. Б. Рачков — секретарь правления Союза писателей России (Тосно, Ленинградская обл.);

Р. Ш. Сарчин — доктор филологических наук, член Союза российских писателей (Казань);

М. А. Чванов — президент Международного Аксаковского фонда,
член Союза писателей России (Уфа).

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ № ФС77-58009 от 08 мая 2014 г.

выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)

Заместитель главного редактора — Александр Воронин

Технический редактор — Сергей Алешков

Корректор — Любовь Сивко

Дизайнер-верстальщик — Виталий Павлов

Художник — Ольга Белова-Недовизий



ШАЙМИЕВСКИЙ СТАРТ ЮБИЛЕЕВ

ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЕЧЕР, ПОСВЯЩЁННЫЙ 80-ЛЕТИЮ ПЕРВОГО ПРЕЗИДЕНТА ТАТАРСТАНА МИНТИМЕРА ШАРИПОВИЧА ШАЙМИЕВА, СОСТОЯЛСЯ В КАЗАНИ 20 ЯНВАРЯ 2017 ГОДА — И В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ СОВПАЛ С ПРОВЕДЕНИЕМ ИНАУГУРАЦИИ 45-ГО ПРЕЗИДЕНТА США В ВАШИНГТОНЕ, ЧТО ДАЛО СОБРАВШИМСЯ ПОВОД ПОШУТИТЬ: КОГДА В ТАТАРСТАНЕ БУДЕТ 45-Й ПРЕЗИДЕНТ — ЖИЗНЬ В РЕСПУБЛИКЕ БУДЕТ КРУЧЕ, ЧЕМ В АМЕРИКЕ!

Невозможно переоценить огромный вклад Минтимера Шариповича Шаймиева в развитие родного Татарстана и, в целом, в становление Российской Федерации — не случайно первыми, как и пять лет назад, юбиляра поздравляли первые лица государства. Накануне дня рождения его чествовали в Москве Президент России Владимир Путин и председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев.

«Я хочу вас поблагодарить и за совместную работу в предыдущие годы, и за то, что вы делаете в последнее время, в том числе по изучению нашей общей культуры и истории, — сказал президент России. — Это очень важная работа, одна, может быть, из самых важных, которыми мы должны заниматься».

И в подтверждение своих слов Владимир Владимирович подарил Минтимеру Шариповичу уникальную карту Тартарии, составленную в XVII веке известным голландским картографом Виллемом Янсзоном Блау для Ост-Индской компании и помещённую в золочёную раму. Многие аналитики после этого отмечали символичность сделанного Шаймиеву подарка.

Заместитель председателя ВГТРК, постоянный ведущий телепрограммы «Вести в субботу» Сергей Брилёв назвал это счастливым совпадением, поскольку на следующий день по телевидению показали фильм «Шаймиев. В поисках Тартарии», снятый



брилёвской командой ещё в прошлом году. Но такие совпадения только подчёркивают, что они далеко не случайны. Потом полторачасовую картину ещё два дня повторяли на разных каналах, и она того безусловно заслуживает.

80-летие Минтимера Шариповича Шаймиева широко освещалось во всех средствах массовой информации России и Татарстана, благо первый Президент республики не сидит без дела, почивая на лаврах, он и сегодня постоянно подаёт журналистам хорошие информационные поводы. А созданный им и седьмой год работающий под его началом Республиканский фонд возрождения памятников истории и культуры Татарстана не только добился включения в список Всемирного наследия ЮНЕСКО древнего города Болгар и вернул к жизни остров-град Свияжск, но восстанавливает некогда взорванный Казанский Богородицкий собор (на месте явления Казанской иконы Божией Матери), а также строит Болгарскую исламскую академию.

Как литератор, я не могу представить юбилей государственного деятеля подобного масштаба без книжных изданий, специально подготовленных к круглой дате. Вот и в юбилейные январские дни в «Татмедиа» прошла презентация новой художественно-документальной книги народного писателя РТ Рабита Батуллы «Илбашы», вышедшей в Татарском книжном издательстве и рассказывающей о жизненном пути Шаймиева. «Минтимер Шарипович первый ознакомился с рукописью, — сказал автор. — Вторую половину черновика он забраковал, я уходил в слезах... Но это пошло только на пользу. Он оказался прав. Потом он ещё раз прочитал и ещё раз. В последний раз дал советы, написав их в записке». Более того, идея внешнего оформления книги — фотография героя с лошадью в поле — тоже принадлежит первому Президенту Татарстана. При этом он просил, чтобы внутри книги не было фотографий.

Объяснение тому легко найти в другом издании, уже на русском языке. В издательстве «Молодая гвардия» накануне нового года вышел в свет очередной, тридцать четвёртый том в книжной серии «Жизнь замечательных людей. Биография продолжается...», посвящённый первому Президенту Татарстана, ныне Государственному

Советнику РТ Минтимеру Шаймиеву. И в нём содержится богатый иллюстративный материал, отобранный самим героем повествования, авторами которого стали известный московский журналист Игорь Цыбульский и помощник Государственного Советника РТ Нурсюя Шайдуллина.

Не скрою, мне было очень приятно, когда мне прислали экземпляр новой книги и попросили выступить на её презентации в Представительском корпусе Казанского Кремля. Несмотря на то, что в книге почти шестьсот страниц, я прочла её на одном дыхании — за выходные!

В книге также много исторического материала эксклюзивного характера, который даёт понять, безусловно, огромная заслуга Минтимера Шариповича в том, что не только в России, во всём мире изменилось отношение к Татарстану, к народу Татарстана. И именно наша республика сыграла огромную роль в сохранении целостности Российской Федерации в годы перестройки, хотя мы прошли буквально по лезвию ножа.

Хочу искренне поздравить авторов книги «Минтимер Шаймиев» Игоря Цыбульского и Нурсюю Шайдуллину с тем, что им удалось так талантливо, интересно рассказать о первом Президенте Татарстана, об его уникальном опыте жизни, который будет востребован не одним поколением читателей.

Финны говорят: «Чтение печатных книг — это наслаждение для ума». И можно добавить, это хороший способ развития интеллекта. А ещё полезные уроки для нас, извлечённые из жизненного опыта наших современников, которые смогли успешно сдать сложные экзамены в школе жизни.

Что мы ищем в книгах? Ответы на вопросы, которые нас волнуют. Когда я открывала книгу «Минтимер Шаймиев», изданную в Москве, мне казалось, я неплохо знаю биографию Минтимера Шариповича. За четверть века журналистской деятельности не раз доводилось брать у него интервью и даже вести беседы для своей первой книги «100 историй о суверенитете». В ней я хотела рассказать о том, какую роль сыграли Шаймиев и его команда в 90-е годы, чтобы с нашей республикой считались в центре. Неожиданно для себя в новой книге о Шаймиеве я нашла ответы на вопросы, которые мне, человеку, интересующемуся историей Татарстана и его многонационального народа, были всегда интересны. Например, почему первым Президентом Татарстана стал выходец из села, а не



горожанин? Казалось бы, в городе больше возможностей для всестороннего образования и карьерного роста.

Ответ нашёлся в книге. Цитирую: «Не в обиду городским читателям скажем, что деревенскому человеку в каком-то смысле больше дано. Он тоньше чувствует природу, а ведь человек — тоже часть природы, потому и глубинные тайны бытия ему ближе. Главное в человеческих отношениях здесь больше на виду, и потому какие-то нравственные уроки становятся очевиднее и прочнее. Житейская закалка с самого детства даётся деревенским детям и сказывается потом всю жизнь. Отсюда не только разносторонняя сноровка, практичность, но и особая деликатность, совестьливость, душевность... То драгоценное, что он получил в своём деревенском детстве, его городской сверстник не сможет получить никогда».

Ещё одна цитата подтверждает вышесказанное: «На селе при всей экономической бедности, ограниченных возможностях для получения образования существует одно преимущество — целостное восприятие мира, умение работать в рамках установленных правил, способность выдвигаться в лидеры, не ломая существующих правил игры».

Действительно, когда знакомишься с детством и юностью героя книги, понимаешь, что именно татарские национальные традиции, ориентированные на выживание в самых сложных условиях и ситуациях, требующие постоянного приобретения знаний и навыков командной работы, стали решающим фактором для его успешной деятельности во главе республики.

Ещё один вопрос меня всегда интересовал: как оставаться лидером, личностью, когда давит система?

В поисках ответа на этот вопрос очень полезные уроки можно извлечь, знакомясь с биографией Минтимера Шариповича, а особенно его отца — Шарипа Шаймиева. Это был сильный духом, решительный, но со сложным характером человек, которого система могла уничтожить в любой момент — за «кулацкое прошлое» его рода. Тем не менее, он всю жизнь проработал председателем колхоза, был уважаем своими односельчанами. Он смог быть лидером и ладить с беспощадной системой. А она во все времена испытывает на прочность сильные натуры.

Мать Минтимера Шариповича Нагима Сафиулловна, по его воспоминаниям, каждый день совершала подвиг. На её плечах держалось огромное хозяйство, на ней лежали все домашние заботы о детях и муже, при этом она работала, как все колхозницы, в поле — в условиях голода и холода... Надо было выживать, несмотря на войну и репрессии. И эта удивительная женщина, воспитавшая пятерых детей, ушла из жизни в 83 года!

«Её последние слова были:

— Неужели вот так легко люди умирают?

Сказала и закрыла глаза...»

Жизненный опыт таких людей бесценен. Тем более, что именно в этой семье, имеющей свою систему ценностей, ориентиров, воспитали первого Президента Республики Татарстан.

С особым интересом я читала страницы, посвящённые детству Минтимера Шариповича. Это настоящая энциклопедия жизни татарской семьи в деревне военных и послевоенных лет. Каждый, кто соприкасался с бытом татарской деревни, узнает его из описания детства мальчика Минтимера.

Меня же особо тронули воспоминания первой учительницы Шаймиева — Хадичи Ахмадулловны Ахмадуллиной:

«Только для чистописания выдавалась одна-единственная на весь учебный год настоящая тетрадь. Её резали пополам, чтобы хватило на два полугодия. Но однажды Минтимер огорошил меня тем, что в тетрадке для чистописания, которую мы берегли как зеницу ока, нарисовал звёзды. Целую страницу разрисовал!

Я рассердилась, отругала его:

— Зачем ты это сделал? Звёзды можно рисовать и на книгах, между строчек. А тетрадь для того, чтобы научиться красиво писать.

Он стоит и молчит. Потом говорит, причём твёрдым, уверенным голосом:

— А мне захотелось нарисовать их на чистом листе. Посмотрите, на небе звёзды одни на чистом небе.

В первый раз я не нашлась что ответить и, признав своё поражение, молча отошла от его парты».

Лично для меня этот эпизод в книге стал самым ярким, фантастически красивым и глубоким по содержанию. Несмотря на нелёгкие послевоенные будни, деревенский мальчик смотрит на звёзды, прямо в Вечность.

Спустя многие годы маленький звездочёт сам попадает в Вечность. Ибо такие книги пишутся о тех, кто оставил яркий след в истории.

Венера ЯКУПОВА,

| главный редактор газеты «Казанские ведомости»,
заместитель председателя Союза журналистов РТ,
член Союза российских писателей.

Р.С. А Шаймиев и на юбилейных торжествах остался верен себе — подари-таки журналистам новый информационный повод: «У меня уже другой статус — не бабай, а прадед! Родился правнук. Мы ещё и дальше ожидаем пополнения — дай Бог», — признался Минтимер Шарипович на презентации.

А в «Пирамиде» он заметил, что его 80-летие стало только прологом к целой череде славных юбилеев у его коллег: первого марта исполняется 60 лет Президенту Республики Татарстан Рустаму Нургалиевичу Минниханову, в мае отметит своё 70-летие председатель Государственного Совета РТ Фарид Хайруллович Мухаметишин, а в ноябре ожидается юбилей премьер-министра республики — Ильдару Шафкатовичу Халикову исполнится пятьдесят. Вот так «без булдырабыз». Шаймиевская команда даже юбилеи справляет вместе!

Фото с сайта: shaimiev.tatarstan.ru





В лунке копыта — гнездо травы

Случались ли с вами происшествия совершенно необыкновенного порядка, когда внезапное, неизвестно чем вызванное волнение захватывало бы вас полностью, проливалось бы за край, и вы бы не ощущали ни брэнной тяжести, ни возраста, ни принадлежности чему-либо? Минуты единения с Богом. Уходящий в высь пламенный столб мироздания. Что-то позвало вас, и вы подчинились: вышли на крыльцо дощатого домика где-то на берегу Дальнего Кабана, и со всех сторон вас охватил бесшумно падающий снег. Крупные, мягкие хлопья, холодя лицо, соединили с небом. Разум очистился, душа воспрянула, чуткий слух воспринимает и малый шорох. Движение, перемещение, слияние — повсюду. И — покой, свет изнутри, подступающий к горлу, влажный, ясный. Земной непритворливый быт в одно мгновение отодвинулся, канул в темноту. Чистота свежего звука. Только снег и гулкая раковина мира. Вас колеблет, как былинку: высота притягивает, воздух жизни пронизывает клубящимся теплом... Случалось ли с вами подобное? Ты — здесь, но ты — и там, за далью снега. Расстояний нет, есть всепоглощающее присутствие везде.

И зимой, и летом.

Тучка, приостановившая свой бег на короткий миг, чтобы пролиться дождём, кажется мне потемневшим облаком Нового Сеитова, — а дождь сыплется на Казань, устилает блеском горбы крыш, расхлопывает зонтики.

И солнце, раздвигающее длинными лучами тяжёлую хмарь над городскими стенами, воспринимается мной как новосеитовское светило.

Если бы казанское радио возвестило вдруг: «Говорит столица нашей республики — Новое Сеитово!», я бы не удивился, я бы задохнулся от невероятности, множество искрящихся проводков подсоединилось бы ко мне...

Единственная столица для тебя — место, откуда берёт начало твой род. Вечно пульсирующая мышца сердца. Купол неба, перепоясанный радугой.

Земля родины дарована мне Богом, отнять её — хитростью, вероломством, посулами нищему — ни у кого нет права, кроме разве самого Всевышнего. Отеческий порог не перенесёшь в новое жилище.

В памяти моей мать никогда не будет покойной.

Вот мы идём с ней за сеном, волоча тележку. Высвобождаем лезвия кос. Запах срезанной травы. Мы доходим до межи. Мать говорит: «Погоди!» А я чуть не подкошил соловьиное гнездо. Так и зависла коса, остановив звон. Гнездо на слабых ветвях осокоря подрагивало от предчувствия конца.

Это символично. Это — не соринка, задержанная памятью по недоразумению.

Тупые косы побуйствовали под Казанью, и никакое: «Погоди!» их не остановило бы. Сколько сметённых соловьиных гнёзд! Но коса времени, всемогущая, невидимо

карающая, подкашивает и самих зарвавшихся косцов, подрезает, уже не милую. Уж кому-кому, а ей-то не скажешь: «Погоди! Я одумался».

Глядя на священные уголья под Казанью, я думаю о судьбе родника Корголды Нового Сеитова. Я любил наблюдать колыхание осенних листьев, опустившихся на приглушённое дно родника. Они не потускнели, не покособились по краям. Такого чуть приглушённого разноцвета не увидишь, пожалуй, и на яркой только-только опрокинувшейся послегрозовой радуге.

Истомный, густой запах земли, принятый водой, пробивает и ряску, вбирает в себя и её аромат. Душистое облачко висит над родником Корголды.

За год до смерти отца мы пасли с ним стадо неподалёку от родника. И я вдруг, именно вдруг, увидел, как чистое место заболотилось, прикрылось сочной травой осоки, поморщилось в зажатости, взбухло гнилью. Отец мой — деревенский мулла — сказал, приметив моё замешательство:

— Вот так оно, сынок, вот так оно...

Конечно, отец знал мои стихи о Корголды. Но в этот раз произошло неожиданное, немало озадачившее меня. И я написал о том событии, нисколько не приукрасив его, потому что отец любил правдивые слова.

... Кто бы мог подумать, что навсегда запомнится осенний тихий день простой! Пастушья очередь в деревне прищёлкнула кнутом у нашего двора. Коровы разбрелись, и мы накрыли дастархан на воле. Отец сказал: — Нет воинства без пастуха! И водрузил на кочку подобье человечка в войлочной шляпе. Потом отец прибавил:— Сядь поближе. За дастарханом стихи мне прочитай молитвой, да так, чтоб Корголды вдруг ожила... — Он слушал, я читал. И душа освещала лицо его. — Я тоже мунаджат (трагические стихи) придумал о Корголды... Когда-то. Всё для тебя берёг. А вот и позабыл. Слова куда-то подевались. Наверное, пора мне уходить. Пора... Всю жизнь вложил я в этот мунаджат. Красивым получился стих! Возмущённым. А вот... забылся! Время вышло. Зажился я, сынок. — Как ты смеешь так говорить! — стал возмущаться я. — Дурная речь кому прибавит сил?! — я выразился крепко, так мне показалось, как полагается мужчине. — Невысказанный стих — непрожитая жизнь. Ты что, отец?! Ещё припомнить будет время... — Качнул он головой, вздохнул. Молить бы Бога мне... Когда навек с отцом простился, мой край родной покрылся белыми цветами. И небо, и земля сияли белизной. Какая нежность лепестков была! Невольно вырвалось: так вот как вспоминаются стихи, отец!

И нынешние земли под Казанью источают болотную сырость. Какое стадо вытоптало родники, да так усердно, что из копытных лунок полезла жадная осока. Нелюбовь... Иная невеста на второй год замужества тускнеет в печали.

Однако я полегоньку-помаленьку обживался в Казани, испытывая при этом душевную нескладицу. Кому-то, быть может, покажется странным, но я переживал за всё живое, что теряло силы, в том числе — и за благоухающее болото. Оно ещё серебрилось лунной поверхностью, дышало зелёной грудью, но уже было приговорено быть засыпанным, стёртым с лица земли. Всё-таки... жаль и такое творение природы. Тем более, когда на него идут с рёвом моторов, оскалив железные зубы. Не всякое болото вредит человеку. Разве мало места под солнцем?! Мучительные раздумья одолевали меня. Я слышал «Плач болота», его глухое бормотание:

... о, Великая Ночь! Ты готова выслушать каждого, кто доверит тебе тайну. День обнажает греховность, ты — прячешь. Я хочу рассказать о себе. Это я — Болото. Я шепчу своим ивам, перепёлкам, чьи гнёзда храню на кочках, камышам и осоке, озёрцам чистейшим, — шепчу, призывая к спасенью... Мало людям дворцов из холодного камня, твёрдой земли под ногами им мало. Ненасытны они. Я должно испариться или усохнуть, уступить дорогу идущим. Это я — Болото, прощаюсь. Не поминайте лихом! Простите, тысячеголосые,

полётные, шумные птицы, я не дам вам отдыха! Где вы найдёте уют и ночлег? Тёплые гнёзда кто сохранит, поджидая? Автострады вас гонят, песчаные бури крылья секут. Я укрывало вас, ветви ольхи качая... Мотыльки мои, огоньки болотные, кто напоит вас сладчайшим соком?.. Туман белопенный, сновиденье зари, разве стать тебе облаком... Прощайте! Не поминайте лихом! Чёрное зеркало вод тускнеет, кровь ржавеет моя.. О, Великая Ночь! Я уступаю пескам, задыхаюсь под ножами тяжёлых машин, ухожу...

Ответь мне, Великая Ночь! Чтостряслось? Губы земли стали сухими.

В раннем стихотворении Равиля Файзуллина есть строка:

Кабан — печальное око Казани...

Уже в те годы меня озадачивало: вот лежит город, словно запрокинувший лицо великан, в небеса глядит единственный, как у Циклопа, глаз, подёрнутый тоскливый дымкой. Мрачный, смиренный Циклоп. Почему? Куда подевался второй глаз? Вытек, вышибли его? Возможно, интуитивно душа поэта проговорила, выразив подспудную грустную думу. Вот так-то оно...

Казанская дорога моя нет-нет да уменьшается до узкой тропы в Новом Сеитове, сворачивает на полевую обочину, точно свёртывается рукав рубашки. Желанная земля не отпускает от себя. Отбежал я от неё на порядочное расстояние, криком не достанешь, так она, немая вдали, по крови стелет шёпот. И я улавливаю его, явственно различаю в суете, в сутолоке, в спешке. Зачем я-то тебе нужен, оглядываюсь насторожённо? Ведь звук-то блуждает, томится.

— О-оо! — плачет Корголды. — Помоги!

В этот момент я всем чужой, деревенский ошмёток.

— Бо-оолит! — вздыхает из-за плеча Казань. — Не оставляй!

Я будто посередке громадных холмов, словно горошина я на двух ладонях...

Казань — город-шлюха! — ругнулся молодой Такташ.

Впрочем, в запале идеологической драки он обрушил свой праведный гнев на поясавшихся нэпманов, а досталось похода Казани.

Здесь я говорю себе: «Погоди! Отдышись! Поговори хотя бы с духом Хади Такташа. У поэтов свой язык. Разогнались твои кони!»

Возникла такая пауза потому, что на днях пролетел ветерок, сметающий листья, и мы заспорили. Как укол шпаги, полоснуло: «Казань — город-шлюха!» Совпадение ударов сердца в безоглядном пространстве? Перекрёсток времён на исходе тысячелетия — дали и близи? Схлест настроений? Город вспомнил свои прошлые шалости? Такташ ездил в Бишбалту играть в рулетку...

Так или иначе, я перевёл дыхание. Я успокоился. Какая же душа обходится без противоречий? Скорее она сама — нераспутываемый клубок сомнений, преоборений, вечного обновления и перерождения. Её схватка с разумом постоянна, изнурительна — и нет в ней победителя и поверженного, есть напряжение ищущего духа, пытливый пригляд, сопереживание. Взгляд, повернутый вглубь, обращён к истине, всплывающей навстречу чистыми пузырьками воздуха. Истину, поглощаемую сердечной мутой, не зачерпнёшь с поверхности.

Пойманная за хвост ящерица извивается. Ящерица исчезла, а в руке зажат невзрачный обрубок, жертвенный кусочек живого существа... Путь мысли интересен до ожога. Я думаю, размышляю. Так. Я постигаю каждой клеткой смысл бытия: наслаждаюсь. Сейчас мне кажется, что я вижу погребённое под пластами незасорённым зрением: вся агрессия, все катастрофы, личные, общественные, идут от города. Я — не урбанист, я — дитя почвы. Потому и двоится моя судьба, перелаивается.

... серьёзны ли речи твои, сверстник мой? Камешки в воду бросать, другое дело. — Мы ушли от кострищ! — ты говоришь. — Суевериям «Нет!» мы сказали. Никаких

обольщений! Кто испил из Родника святых?! Скучно слушать тебя. Без Родника святых осиротел мой край. Да, я видел, как люди свергали Бога. Забросали Родник камнями, заковали в железобетон. Не к лицу эпохе героев поклоняться химерам! Старики вопрошали, стуча палками: — О, Всевышний, где же ты? Разломи громом небо! Призови сыновей к ответу... Не слышать бы мне, не слышать. Полумесяцы ослепших мечетей спрятали на чердаках, как серпы. Да, сам я держал в руках этот холодный осколок неба — полумесяц, обморозивший руку, ущербный, в зазубринах... Шутники пошутили! Родник святых застонал под железобетоном, забился, как вечный пульс земли-кормилицы. Разветвился на множество чистых ключей... Да, я знаю, есть страны с пересохшими корнями. Есть племена безымянные. Ужас последнего дня опалил ветви Древа земного. Грех посохом стукнул: высох Родник святых в душах людей. На виду всего мира Герой раскурил трубку Чернобыля. Не напасьешься железобетона, чтоб заковать саркофаг мироздания...

Адамовы дети, сбившиеся в кучу, теряют связь с землёй, с волей, с удалью. Город — самый страшный враг простодушных детей Адама. Что же их сбило в плотную грудку, придышало, притиснуло друг к дружке? Опасность. Так вырастали крепости, цитадели, города. Принуждала идея выживания. Город, стало быть, необходимость, отчуждающая человека от земли-огорода-поля. Вероятно, поэтому археологи самые драгоценные монеты, захоронённые свидетельства бытия, ищут на курганах вблизи ржаного поля. История пишется мечом и огнём. Не только, не только. Пером тоже. И бородой. И морщинами. И улыбкой. И любовью.

Пора улыбнуться. Я улыбаюсь нахлынувшим образам, ведь меня никто не видит, не собеседует со мной. Нет, меня одобряет, возвышает, желает мне удачи целый материк прошлого, не одна желтолистая осень деревенька Новое Сеитово, не одна заполонившая меня, нагрудившаяся гладкими отвесными камнями Казань, а материк, никуда не исчезнувший, а возвышающийся всей громадой в любое время жизни. Там можно черпать силы, отдыхать, переживать неиссякаемые приключения.

Я столкнулся с удивительным явлением. Однажды летом в сезон обмеления на точно бы вздохнувшим освобождённо от тяжести воды дне речки Казанки или её прибрежья я увидел в круглой лунке копыта поднявшиеся пучки травы, тонкие язычки пламени, зелёные гнёзда. О-оо, я восхитился обыкновенности чуда!

Сколько же вытерпело семя, дожидаясь срока, что достаточно было глотка воздуха, схода беспросветного гнёта тусклой толщи воды, чтобы сразу воспрянуть, утвердиться корнем и полыхать цветом? Что минуло — десятилетия, столетия? Для травы оказалось мигом, мгновенно сорванной с ресниц слезой.

Ты и есть — то самое, будто очнувшееся после затяжного обморока, семечко, Казань. Я шёл и иду к тебе долго от низин и равнин Нового Сеитова, чтобы тронуть вот эти ростки, соцветия, кустики прошлого, будущего, кто знает. Один Бог, один Бог. Но я верю — дойду до припрятанной, сохранившейся для меня сердцевины, приникну к ней, утолю жажду.

* * *

Говоря по совести, я чужд городским выстроенным кубикам, аркам, мостам, дамбам. Проспекты меня не просветляют. Архитектурные изыски не затрагивают моего сердца. Скажу больше, город враждебен мне, мы смотрим друг на друга исподлобья. И ещё, задираясь так задирается, скажу: он испытывает меня на прочность, бьёт электрическим током по нервным окончаниям, встряхивает, как добрую бутылку с вином, и глядит на свет, как дружно взмывают со дна играющие стебли воздуха. Достаточно задуматься о судьбе творческих людей, и в груди обнаружится стеснение, во рту появится горечь...

После нелепой смерти Фаила Шафигуллина я поделился своим тягостным настроением с Фаннуром Сафиним, уже трижды вступившим в «единоборство» с автомобильными лихачами. Изрядно покалеченный, он всё-таки встал на ноги, грустно огляделся вокруг: врѣшь, не так-то просто нас свалить! Тут я и сказал в сердцах:

— Не принимает тебя город! Убьёт он тебя, подкараулит. Он же несётся табуном машин, а ты в затылке чешешь. Удирай поскорее в Мензелинск!

Фаннур засмеялся:

— Ты — мистик!

Прошло совсем немного времени, от силы год-два, и в квартире Фаннура случился ночной пожар: он задохнулся. Город взял верх над деревенским парнишкой, так и не принявшим взрослость как обязательность, не нажил её в чуждых для себя условиях. Глаза его смотрели, как весенние проталины.

Почему я рассказал об этом? Не потому же, что Казань оказалась злой мачехой — мстительной, коварной. Нет. Рок не является городской привилегией. Просто город надевает на тебя жёсткий панцирь, берёт в тиски, и не всякая пришлая душа способна принять правила взвинченного темпа. Жаворонку не петь в каменной клетке. Если бы постепенно вживаться, если бы потихоньку-полегоньку...

Я из тех упрямцев, что пробивают лбом стены, первым из молодых поэтов приехал в Казань. Получил паспорт, выдрал, можно сказать, право на законное жительство. Примета жёсткости того времени показательна: сдашь экзамены в вуз и будешь зачислен в студенты — получишь справку и лишь после её предъявления станешь владельцем паспорта: гуляй, казанец!

Моя деревня Новое Сеитово — подлинный рай, сон наяву. Да и сейчас — душистыми охапками поляны, пригорки, овражки... По какой же тогда надобе я покинул благодатное, богом дарованное место? Не по своенравной же лихости. Ответ прост, для моего поколения он слишком очевиден: мы устали от рабства. Родители щедро заплатили за него бесслѣзной долей, ранним старением, а мы — замыслили побег. Сколько бы я ни пытался — поэтически-проникновенно! — рассказать о горестной жизни, о неизбывной тоске родительского усилия сохранить в целости очаг, оберечь корневую основу, чистоту помысла — всего выразить не смог. Слова точно избегали глухого помрачения судьбы, поэзия сторонилась перетомившейся темноты. Очень деликатная штука, эта поэзия, вымывающая из болотной трясины редкие жемчужины. Ведь и страдание обживают, как дом, а попроще — шалашик. И всё-таки, и всё-таки... Деревня свила крепкое, укрытое от буреломного ветра гнездо в моей душе из множества хрупких соломок-скорлупок неприхотливой жизни. Если разорить его, я превращусь в чахлый, неплодоносящий куст, забытый соловьями.

Мой наставник, чьи стихи я читал запоем на уроках литературы, одобрил меня, утвердил в мечте, наконец, похвалил за дерзостную тайну побега. Его безмолвная улыбка вывела меня из равновесия. Я стал ужасно хитрым.

Итак, одна дорога — в Казань!

Теперь размышляю: какой же была, как выглядела Казань в моих подростковых думках? Конечно, по-книжному, вернее — выстраивалась из впечатлений, полученных из книг. Город поэта Такташа! Подрастая, я понемногу постиг Тукая, так думалось, хотя снова и снова обнаруживались секретные роднички. Он — явление татарского откровения. Строки:

«О Казань, светозарная Казань!..» — выпевались мной в ликовании.

Вот камертон юности! Но ещё не осознавался до конца национальный восторг поэта. Такташ же, властно подчиняя себе, чаще задавал мне неразрешимые загадки. Казалось, он всегда жил в городе, был его сыном.

Значит, в дорогу!

Вёрсты до Набережных Челнов были мне известны, три лета я мозолил там спину грузчиком при шофёрах, возивших зерно на челнинский элеватор. С попутным ветерком прибыл на пристань. Как не восхититься: меня уже поджидает красавец-пароход, струйки стекают, как слюнки, с лопастных колёс. И — поплыли-поехали — захлопали плицами по Каме: шлёп-шлёп! Потом — по Волге. Дыши! Наслаждайся! Лицом — к бущему. Каждое рёбрышко чувствовало натиск дыхания.

Наивный отрок, завидев издали башню Сююмбике, я спросил наставника:

— Что это? Неужто кремль?

Но он не удивился, он привык отвечать на всякий мой неожиданный вопрос.

— Не торопись! — сказал наставник. — Ещё поймёшь, что это за кремль! Это — легенда! О ней ты узнаешь чуть позже, не торопись.

Я полюбил Казань с первого взгляда, ещё не зная, какие ураганы здесь вздыбили землю, какие вулканические страсти кипели, какая запеклась лава.

По барашкам волн я шагаю к тебе, Казань! Я открываю тебя, как подаренную книгу, с нетерпением и дрожью! Я пока и ведать не ведаю, что башня Сююмбике — это женский плач, застывший в камне. Имеющий уши да услышит! Я услышу, Казань! Кровь из-под ногтей, я вскарабкаюсь на вершину! Не отступлюсь, не дрогну коленками! Мне ли пятиться побитой собакой. Я не блудный сын, чтобы возвращаться в Новое Сеитово хвастать драными башмаками!

Поначалу меня, как новичка, преследовали абсолютно дикие мысли: сверну за угол — и столкнусь лоб в лоб с Тукаем! Ну и ну... А этот, что пристроился под деревом на тёплых корнях, пишет и пишет — не Такташ ли? Впору захохотать...

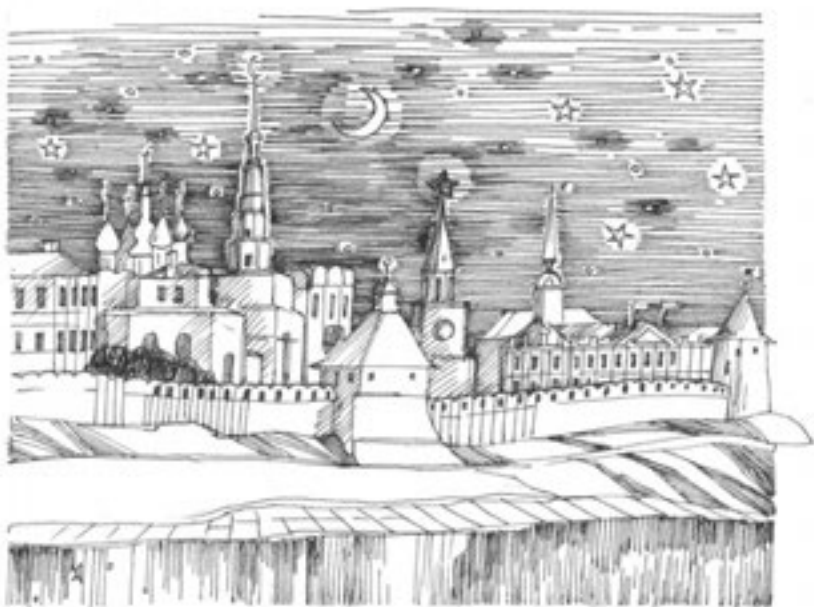
К университету я ходил, как по волнам, с горки на горку, начиная от дома Ульяновых, дальше — по Шапова. Многократно ходил, привыкая к дороге, к окружению. Наверное, и молодой Ленин так делал, он тоже был беспокойным человеком. А вот тут беспризорщина — Алексей Пешков пёк хлеб. Втайне от хозяина — сердитого Деренкова, таскал горячие булки взбунтовавшимся студентам. Прежде пекарни — чистил ботинки у дома, где родился Шалапин. Небось не стеснялся посиживать у ног господ! Дворянский сынок — Володя Ульянов, вполне возможно такое совпадение, подходил к нему, ставил каблук на ящик и, пока будущий классик работал щёткой, обдумывал философский трактат... Э-хе-хе!

До чего непредсказуема ты, Казань! Ошеломляюща!

Первое время я только и делал, что вздрагивал, оборачивался на случайный свист, шарахался от взревшей машины, опасался подворотен, поражённый новизной. Некогда было приглядываться по-туристически, чуть отступя в сторонку от замечательных, с красивой решёткой, ворот. Я входил — и озирался, воткнув кулаки в карманы штанов. По лицу тёл не трудовой пот.

О Казань, ты, оказывается, — перекрёсток многих дорог, место копытного гула! Твоя история, как погоня, не помнит тихих, спокойных лет достойной старости. Не успела приготовить для путника укромной завалинки. Ты всё время была под копытами походных коней: из Азии — в Европу, из Европы — в Азию. И национальностей здесь, как в прокопчённом котле золотистых жиринок: знатная получилась шулла! И бледнолицый, и смуглокожий разговор ведут...

Припоминается одна мимолётная беседа с Наби ага Даули, ныне покойным. Поводом послужила моя статья-интервью в молодёжной газете с главным архитектором Казани Агишевым. Я тогда, поддавшись соблазну, пообещал горожанам баснословный подарок — метро, которое, если не ошибаюсь, должно было разветвиться подземными рельсами в 1976 году. Я, как полководец, оценил самоуверенно макет,



утвердив вожаденную мечту на песке. О чём и рассказал вдохновенно Наби ага. Под конец выпалил, просяяв:

— Как бы почувствовал себя Тукай, если бы увидел Казань сегодня!

— Сел бы на камень и заплакал, — странно для меня ответил Даули, закуривая папироску. Он и бровью не двинул на моё беспрекословное восхищение.

Можно представить растерянность зазнайки. Я примолк, ужаслся.

Мы жили миражами. По усам текло, а в рот не попало! — это про нас, доморощенных фантазёров, чьи мозги размазывали, как жидкую кашу по тарелке, принимающих с умным видом кислицу за сладость. Самостоятельно мыслить — опасно, таков стискивающий обруч. О своей истории? Ни-ни... Ишь, чего захотел! Мысли, как положено, а чувства сдерживай! А больше мечтай, мечтай!

Запомнилось и острое словцо Ахмета Исхака в застольи:

— Казань без узды обновится! И не удержишь! В стойле у коня дрожь в ногах. Бестолковая чалма голову не заменит.

Ступив на казанскую землю, я был простодушен и доверчив. О, несокрушимая вера в то, что есть, руки тянутся к тебе для объятий! Мир искренен, правдив до крошечной буквы и цифры, покоится чуть ли не на трёх китах.

Пройдут годы, и я прочитаю такие строки из повести Батуллы «Сююмбике»: «Когда Сююмбике и маленького хана Утямышу увели в рабство, осиротела Казань, опустела, словно дом, из которого вынесли покойника, без души, в тревоге...»

Полость прекрасной башни, точно пазуха души, полна неизбывного горя.

Да, наставник не ошибся: «Женский плач, застывший в камне!» Нет, Казань не была горестно взывающей плакальщицей — она была чудесна, светозарна.

Перебирая в памяти великие имена, я снова пропутешествовал по адресам, где снимал углы. Проказница-судьба сыграла со мной немало шуток. Я жил в соседстве с флигелем, который первым услышал голос будущего певца, новорождённого Фёдора Шаляпина. Неподалёку, на втором этаже, почти за стенкой, проживал Максим Горький, то есть — нена-

долго я тоже стал жильцом знаменитой Марусовки. До меня здесь умудрился поскучать в безденежья Сибгат Хаким, как мне открыла любознательная хозяйка. Марусовка держала свою марку, превратившись в перевалочный пункт для художников, поэтов, странников. Чего только я здесь не услышал, о, боже! Старожилы любят потолковать на согретых завалинках двора. Одна бабуля, перекрестив рот и перейдя почему-то на полушёпот, расписала такую картину: пролетарский писатель запустил в окно тайного публичного дома пепельницей, не выдержав «адского огня страсти» наглого притона... Эх, Марусовка, Марусовка, богато одарила ты писателя! Какими типами населила книги!

Винтовой лестницей я попытался «слезать в гости» к казанскому Нечаяеву — Гурию Плетнёву в мансарду, но внутрь зайти не удалось — дорогу перегородил вдребезги пьяный мужчина, охвативший руками порог...

Однажды, вернувшись из университета, я невольно подслушал разговор хозяйки с подругой. Они до полудня гоняли чай, смакуя подробности прошедшего.

— Как твой кудряш, не беспокоит?

— Не сыпь соль на рану. Через него у меня уже кровь порченая. Спит, а под наволочкой оружие держит. Прирежет, прости, господи!..

В тот же день я покинул богом проклятое место. Марусовка ещё долго осыпалась во мне сухой извёсткой и дребезжала всеми стёклами окон.

Переехал я на Озёрную улицу, но и тут, оказалось, до меня побывал живой классик — Аяз Гилязов. Везёт, говорят, нищему да сумасшедшему.

Так и ходил я кругами по чужим следам: сначала — один, потом — с семьёй.

Зато теперь я могу твёрдо сказать: знаю, каков он, житель трущобной Казани. Одно дело — глядеть на город с палубы праздничного парохода, другое — мыкать-ся по его застарелым углам. Отрицательного, ненужного опыта в жизни нет, в этом я убедился. Жизнь и бесцеремонна, но она же и деликатна до слёз...

После победы Сталин сказал маршалу Рокоссовскому:

— Ты, наверное, обижаешься на меня?

— На что мне обижаться?

— Мы тебя сажали.

— Так ведь я там общался с настоящими коммунистами.

И я скажу без сожаления: всяко приходилось — холстиной и дерюжкой покрываться, но о людях Казани я могу вспомнить только с улыбкой, с радостью встречи. Не самовлюблённый я хлыст, не самозванец, а бубенец с поля Нового Сеитова.

Да простит меня читатель, хочу я пофантазировать, перебрать, как чётки, названия улиц, которых нет. Вот какие бы я приколотил таблички в разных концах города, всё-таки походил я по нему, походил и пожил на славу. Начнём?

Улицы я бы пометил так: имени Наки ага Исанбета и Хасана ага Туфана — в Татарской слободе и в бывшей Бишбалте, в районе деревянных домов с национальным узором; хотя Нури ага Арслан и сын казахских степей, он до косточки был аристократом, ему подошла бы одна из улиц, поднимающихся от площади Свободы; именем моего кровного друга Фаила Шафигуллина я бы назвал улицу, берущую начало от театра, по западной стороне Кабан; и Баки ага Урманче был бы здесь, у озера; Сибгату ага Хакиму никакой проспект бы не подошёл, но берег, прикрытый ветвями ивы, пришёлся бы по душе... Можно бы дальше продолжить перечень, поискать соответствия. Тем более, пустых названий предостаточно.

Мои мысли по этому поводу не случайны. Я разговаривал с теньями ушедших в разных уголках, доверительно советовался. Жаль, теперь только там можно с ними побеседовать. Они унесли с собой многослойный мир, сохранив в бедствиях и честь, и достоинство. Национальная культура потеряла своих крепких стариков.

Кажется, я немного отвлёкся, отклонился в сторону, дав волю воображению. Время вернуться к сверстникам, к полосе дружб, от чересполосицы все мы изрядно подустали. Радио и телевизор хищно ощупывают мозг...

Из Муслюмова объявились два Люсьена де Рюбампре, два героя романа Бальзака «Утраченные иллюзии» — Фарит Гильми и я, ваш покорный слуга. Соискатели. Несомненно, гении. Если бы один из двух прислушался в свой час к сказанному, проникся глубоким светом, над землёй обнаружилось бы новое солнце. Светоч ума! Свеча незатухающего чувства! Ни больше ни меньше. Так-то, господа хорошие.

Устроив свой временный шалаш в общежитии, мы тут же крепко взялись за дело — отправились искать равных себе гениев. И нашли без промедления! На предэкзаменационном собеседовании: пастухи переступили порог аудитории. Гляжу, по-соседству сидит мальчик, так увиделось, невысокий, с выпуклым загорелым лбом. Я сразу вспотел: «Да ведь это Мударрис Аглямутдин!» Стихи его уже печатались с фотокарточкой и вступительным словом Махмута Хусайна... И сидит, сидит-то себе как-то особенно независимо: дескать, видали мы!

— Простите, вы не Мударрис Аглямутдинов?

— Нуишто?!

— Я читал в газете ваши стихи, фотокарточку разглядывал.

— Нуишто?!

На этом закончилось моё первое интервью с занозистым человеком, строптивым гением. Любопытство не оправдалось: гении очень скрытные люди, сделал я зарубку на будущее, к ним нужен неординарный подход, как к барышням.

И надо же! В дни первых экзаменов я получил корректуру своих стихов из самого солидного литературного журнала. А чуть позже — сам номер «Казан утлары», мечту моего сердца. Мударрис был в курсе. Какой ухватистый, поразился я, всё знает, как Диоген в бочке! Хлопнул он меня по плечу:

— И ты стоишь в очереди на экзамен с этими недоучками?! Я даже не заходил ещё, я знаю, что будет «преотлично». А ты сомневаешься, дрожишь, как кисель, хотя вышли свеженькими после краски твои гениальные стихи. Дай пожму руку.

Чёрт побери, я же видел, как он самоуверенно выходил после сдачи экзамена! Может, в глазах перепуталось?... И я поверил, что Мударрис не сдавал, а только репетировал подход к экзаменатору, как предусмотрительный товарищ.

— У тебя там тоже стоит «преотлично», — сказал Мударрис. И шепнул: — Пошли пить пиво! Оно совершенно без запаха, но — веселит.

И мы причастились. Такова, наверное, судьба поэтов — ходить по лезвию.

С тех пор с Мударрисом мы не расставались.

Да-а-а, но всё же я опередил события. Никак у меня не получается быть по-солдатски последовательным. Недаром поэты дружат с вихрями стихий, частенько их заносит в тупички или, чего хуже, вообще на край города.

На сей раз не потеряю тропу.

Итак, мы отправились с Гильми искать гениев. Заходим в закоулочную комнату на этаже аспирантов. Двое читают: один — вытянулся в рост из-под книги на койке в позе Тукая, другой — прогнул пружины до полу. В носках — Мударрис, а раздавивший кровать — Разиль Вали... Фарит от неожиданности закашлялся и произнёс по-муслюмовски чудаковато:

— Здоровеньки бывайте!

И тогда впервые раздалась знаменитая реплика обладателя носков:

— Нуишто?

Другой добавил:

— Не обращай внимания!

Покойный Фарит по природе был застенчив. Благоглупости — его область. Он споткнулся о чемодан — из чемодана выпал вяленый гусь. Фарит пролепетал:

— Прилетел из наших краёв...

Так мы стали студентами величественного университета, не теряя своей гениальности. И потекла не очень-то обременительная жизнь.

Казань преподносила нам уроки, нянькалась с нами, готова к большой дороге.

Хасан Туфан благословил мою первую книгу. Сибгат Хаким нашёл в моей сумбурной речи сходство с запальчивостью Сагита Рамеева. Отзвуки, отзвуки... Непрерываемая нить времени. Сон травы на дне речки Казанки. А какие сны движутся по крови? У Арсения Тарковского есть незабываемые стихи:

*Мало взял я у земли для неба,
больше взял у неба для земли...*

Высь приманивает, поле умиротворяет. Камни города магнетизирует. Проходя километры жизни, мы постигаем путь тысячелетий — караванную, тягучую, как проливающийся мёд, тропу Времени. Поэты, словно аргамаки, будоражат весь табун. Укротитель, помедли! Коня играют на лугах, взбрасывая гривы... Слава богу, недремлющий наставник сторожит сердце. Из угнетения повседневности выскальзывают молниеносные прозрения.

Чувствую, моё перо уже готово уклониться в сторону Нового Сеитова и там дать волю безудержной удали. Но я укрощаю своеволие аргамака. О деревенских парнях и девчатах надо писать роман — о морозных россыпях буранов, о летнем дурмане лугов, о сенокосах и утреннем запахе конюшни, о дробь копыт на заре...

Мы пришли в литературу оттуда. Казань сняла с наших плеч котомки, усадила, бесхитростных, за стол, приготовила ночлег.

Чужак — бескровное слово. Пасынки жмутся в сторонке.

Долгая дорога в Казань! Поеду? Поеду! Приеду?.. Здесь пауза.

Можно прожить три жизни в Казани и не доехать до неё. Такой путник или пришелец — скорее иноходец. Нет, он не глухой и не отшибленный на обочину, он знает каждую слободу, но не почуял её сердцем, он посеял шаги в переулках, но не дождался отклика. Он запомнил кое-какие даты, но не завязал узелков. Пролистнул историю, но не разглядел в ней свою блуждающую тень. Долготерпение не пришло ему на помощь. Он так и уйдёт из мира с печатью в паспорте, но без светозарного отблеска на лбу. Потому что он не принял Казань сердечной мукой, сладостью и горечью, как обрызганный свежим дождём куст, задохнувшись от беспричинной радости.

Все сказки из вечности.

Древняя Казань помнит свою молодость.

Разве потеряется её колыбельный напев, поскрип зыбки...

Чужаку и прислониться не к чему. А красоты есть повсюду, дос-то-при-ме-чательности.

Видно, действительно надо достичь дна, чтобы увидеть высоту.

Приехать в Казань, разделить её участь.

Не пришельцем, надеюсь, я стал для неё, а живой каплей, готовой упасть в глубокий колодец её памяти.

Родники не иссякают, их соединяют подземные воды.

Перевёл с татарского Рустем КУТУЙ.

Подборка стихотворений Зульфата опубликована на стр. 163





ДМИТРИЙ ЦЫГАНКОВ

ТУМАНЫ РОДИНЫ

Почему так волнительно после долгой разлуки возвращаться в родные края? Ещё на полпути сердце, словно зажатый в ладони воробушек, начинает колотиться, норовит вырваться из груди и освободившейся из плена птицей быстрее любого скоростного транспорта долететь до отчего дома. А когда подъезжаешь к селу, и вот-вот из-за поворота покажутся первые избы, твоё выпорхнувшее из груди и долетевшее на крыльях памяти взволнованное сердце уже давно прошло по узким улочкам деревеньки, отворило скрипучую калитку, взойшло на покосившееся крыльцо, и разве только не спешит повернуть ключ в ржавом висячем замке давно покинутого родимого дома.

Быть может, происходит всё это потому, что в родных местах навечно остаются и живут наши кровные частицы. Частички души, воспоминаний, значимых событий, повлиявших, так или иначе, на нашу судьбу. В час разлуки душа не хочет следовать за физическим естеством и цепляясь, как маленький ребёнок, слабенькими ручонками за ветви яблонь в саду, за резные кружева наличников, за потрескавшийся штакетник забора, рвётся с неслышимым стоном на мелкие неосязаемые клочья, оставляя внутри человека незалечимые, кровоточащие раны. А оторвавшиеся лоскутки навсегда остаются и сращиваются воедино с белоликими туманами, чистыми слезами и тёплыми сердцами родных людей, с потрескиванием поленьев в хлебосольной печи, шелестом листьев берёзовой рощицы за околицей. Эти отделившиеся, оставшиеся на родной земле частички живут своей жизнью, но неустанно ждут нас, напоминают о себе на чужбине заволаживающей пеленой непроглядных туманов, трескучими искрами походных костров, росистыми слёзами, что стекают по белым щекам берёзок, и вызывают у нас трепетные воспоминания, что побуждают и заставляют нас возвращаться к своим корням, к своим истокам.

И когда, вернувшись, мы ступаем на родную землю, на родимый порог, эти частички вновь воссоединяются с нами, проникают вместе с благодатным воздухом, целительной свежестью утренних туманов под нашу огрубевшую кожу и вновь срастаются в единое целое, как сливаются на рассвете в одно большое сверкающее ядро крошечные капельки росы на смородиновом листе. И тогда на душе затягиваются раны и наступают умиротворяющий покой и неописуемая благодать. Вдали от родины мы суетимся в малопонятных и бесполезных хлопотах, нам постоянно, ежеминутно чего-то не хватает. Живём и чувствуем себя, как не в своей тарелке. И лишь вернувшись, мы сызнова обретаем твёрдую почву под ногами, свою дарованную нам родной землёй цельную сущность, к нам возвращаются силы и уверенность в завтрашнем дне, и мы начинаем ощущать себя, как в детстве, истинно счастливыми и защищёнными от всех невзгод и несчастий.

В один из приездов в деревню, будучи ещё молодым, я остановился в доме уже давно почивших прародителей по материнской линии. Стоявшая на опушке изба заметно осела и вросла в землю. Только лес за оградой совсем не изменился и возвышался зелёной вечной стеной. Был поздний вечер, и развесистые лапы елей на глазах покрывались густым инеем белоснежного тумана. Почудилось, будто внезапно, не дождавшись своей очереди, наступила зима и тёплой летней порой засыпала лес и опушку дивным невесомым снежком.

На ночь в доме я расположился на широкой, больше похожей на кровать деревянной скамье, что стояла под самым окошком на кухне, поскольку встопорщенный под обшивкой бугорками пружин старый диван уже давно утратил своё истинное предназначение, а кровати издавали такой ужасный скрип, что в ночной тишине казалось — над самым ухом пиликает в первый раз взявший в руки скрипку заведомо бездарный музыкант. На чердаке избы с давних пор обустроили своё гнездо огромные шершни, и, сколько себя помню, всегда засыпал под монотонный гул прилетающих и улетающих крылатых обитателей дома. Этот гул убаюкивал так же, как шорох бьющихся о берег речных волн. Но иногда какой-нибудь из заблудившихся шершней залетал внутрь дома, и тогда казалось, будто под потолком летает пикирующий бомбардировщик, сотрясая воздух оглушительным гудящим рёвом.

Долго не мог уснуть. Вспоминалось детство, прадедушка и прабабушка, и ушедшая в иную жизнь, когда я был ещё ребёнком, мать отца — моя бабушка Маня, что жила через три дома на этой же улице. Как сильна и цепка наша детская память! Когда бабушка Маня ушла, я был совсем мальцом, но до сих пор отчётливо помню черты её лица, цвет мягких волос, радушный голос, тепло натруженных рук, мудрый и заботливый взгляд. Я думаю, что это и есть та дарованная нам свыше Божественная духовная связь, которая позволяет всегда быть рядом с милыми нашему сердцу, любимыми людьми, ощущать их постоянное присутствие.

Наутро я проснулся от тихого стука в окно. Это был мой двоюродный дядька. Дядя Серёжа. Изба настолько осела, что ему не нужно было ничего подставлять под ноги, чтобы заглянуть в окошко. Я отворил дверь, мы обнялись, сообразили нехитрый завтрак и выстроили планы на день.

Сидя за столом, я смотрел в лицо дяди Серёжи. Широкий лоб, узкие губы и наивные грустные глаза, как у обиженного, без вины наказан-

ного ребёнка. В деревне люди считали Сергея человеком не от мира сего. Из-за болезни в школе он отучился всего год. Работал на протяжении жизни пастухом. Когда я гостил в деревне, дядя Серёжа частенько брал меня с собой на выпас. Молчаливый, всегда задумчивый дядя Серёжа обладал большим сердцем и добрым нравом. Про таких говорят — и мухи не обидит. Если дядя Серёжа чего-то и говорил, то говорил кратко или вовсе выразительно



отмахивался от собеседника рукой, давая тому понять, что разговор окончен и предмет беседы ему совсем не интересен. Женился Сергей на девице из соседней деревни. Его жену Лёлю односельчане так же считали чужаком, но мне она помнится простой, радушной и улыбчивой девушкой. Улыбка никогда не сходила с её лица. Частенько я заставлял Лёлю прикорнувшей где-нибудь на стуле в избе или во дворе на лавочке. И во сне она улыбалась, и казалось, что ей снится сладкий, волшебный сон. А когда просыпалась, этот чудный сон так и оставался на её круглом, румянном лице и не стирался весь день.

Позавтракав на скорую руку, первым делом мы с дядей Серёжей, прихватив в селёпо бутылку водки и провизию, направились на погост в соседнее село. Шагая по лесной дороге, я заметил, что дядька вдруг начинал крутить от плеча согнутыми в локтях руками, словно делал утреннюю гимнастику, а после небольшого перерыва вновь повторял те же движения.

Я над ним подшутил: «Дядя Серёжа, забыл сегодня зарядку сделать?» На что он мне ответил: «Что-то всё тело ломит. Умру я, наверно, скоро. Может, этой ночью и умру». Конечно же, я пропустил его слова мимо ушей и прибавил шагу, любясь на ходу высокими пушистыми елями, что подступали к самой дороге. От дороги по обеим сторонам лес отделяли только неглубокие, не больше двух метров шириной, заросшие кустарником протоки, которые мы с младшим братом Сергея дядей Сашей или с друзьями когда-то прочёсывали бредешком, вылавливая на жарёху или для живца некрупных карасей.

На погосте, что прилегал к селу, были похоронены мои родственники с обеих сторон, и пока мы всех проводили и помянули, прошло немало времени. Последней навестили мою ушедшую в мир иной в младенчестве двоюродную сестрёнку. Её могилка приютилась под большим высохшим деревом в двух шагах от полуразрушенной церкви. И я всегда радовался тому, что сестрёнка находилась под самим Покровом Пресвятой Богородицы, в честь которой в стародавние времена был воздвигнут сей храм.

Вспомнились строки Николая Рубцова: «Купол церковной обители яркой травой зарос». И вот их воплощение — на кирпичной красной почве Покровской церкви уже давно пустили корни и потянулись вверх с замшелых уступов тонкие берёзки. От храма остались только стены, но внутри среди ликов святых на чудом сохранившихся фресках царил веками намоленная благодать. Здесь молились за весь род, а значит, и за меня, мои прародители. Тогда я ещё не принял таинство крещения, но, стоя посреди храма в ярких лучах проникающего через оконные проёмы и обезглавленный свод купола сияющего солнца, я представлял, как, держа в руках тающие свечи, отстоявали вечерние и утренние службы мои предки, как они склонялись перед ликами на иконах, и мысленно, неумело пытаясь сквозь время молиться вместе с ними.

От погоста мы направились в дальнюю деревню, куда после смерти бабы Мани перебрался мой дедушка. По пути опять зашли в магазин за гостинцами. Выйдя из магазина и не успев отойти от него и ста метров, я вдруг получил тупой жёсткий удар в заднее место. Резко обернувшись, с изумлением увидел перед собой наглую козлиную морду с плюгавой бородкой и длинными рогами, что во благо мне были загнуты назад. Но больше меня удивило то, что вокруг было немало людей, и мне было непонятно, почему именно я стал объектом внимания задиристого животного. Я терялся в догадках, чем же ему приглянулся. Может, тем, что остальные задницы ему были уже хорошо знакомы, а новое всегда притягивает больше. Бодливый козёл преследовал меня, а у дяди Серёжи появилась улыбка на лице. Он потешался надо мной, как я уворачивался и подставлял руки под удары. Когда же вредный козёл от нас отстал, на лицо Сергея легла печаль, и он опять принялся размахивать руками. «Да что

с тобой? — уже обратил я на странное поведение дядьки слабое внимание. «Умру я, Димка! Точно умру, — не глядя на меня, отозвался дядя Серёжа. — Вот не знаю, откуда, но чувствую, что помру». — «Хватит ерунду молоты! — в сердцах выпалил я. — Вон сколько километров протопали! За тобой ещё и не угонишься. Заладил — умру, умру... Ещё меня переживёшь!» — «Умру, и всё тут», — себе под нос, отстранившись от моего резкого тона, еле слышно пробубнил дядя Серёжа.

Вскоре добрались до деда. Небольшая деревенька в два ряда стояла на холме посреди бескрайних лесов и непроходимых болот. Дедушка не ожидал, что его навестит внук, и потому очень обрадовался. Была рада гостям и его новая хозяйка, с которой у меня с детства сложились тёплые отношения. Но пообщаться пришлось недолго. В разговорах и воспоминаниях время пролетело незаметно. Пообещав, что наведаюсь через недельку, мы с дядькой поторопились раскланяться, чтобы успеть на проходящий поезд, поскольку даже представить было трудно, что мы после тостов и угощений преодолеем обратный путь на своих двоих. А на поезде одна остановка, десять минут, и мы на месте. Дед проводил нас до перрона и, попрощавшись, мы заскочили в тамбур вагона подошедшего поезда.

Состав тронулся. Через тусклое окно тамбура я любовался пёстрой растительностью тверских болот, чьи непролазные гиблые топи стерегли девственный покой живой нетронутой природы. Смеркалось, и туман застилал мхи своей окладистой седой бородой, расчёсывая её зубьями полувysохших сосен.

От станции, уставшие, шли молча, и только дядя Серёжа всё не переставал вертеть руками. Мы дошли до избы дяди, что оставили ему после себя его родители, переехав в другой дом. Дядя Серёжа открыл калитку, обернулся, пристально заглянул мне в глаза и спокойно, тихо вымолвил: «Небось не увидимся мы, Димка, больше». Я обнял его за плечи, думая про себя: «Чудит дядька, да и Бог с ним», а вслух сказал: «Устал ты просто. Весь день на ногах. Поспишь и поутру забудешь всякие глупости. Через пару деньков приеду, и на моём дне рождения погуляем, как следует!» На том и расстались.

Я дошёл до дома, прихватил нужные вещи и ночным поездом уехал в город, который находился в двух станциях от деревни, к другому своему деду — отцу матери.

Вернулся в деревню пораньше, через день. Пройдя дом дяди Серёжи, услышал женский всхлипывающий оклик в спину: «Сынок, ты что мимо дядьки проходишь?» Я обернулся и увидел выбежавшую из ворот встревоженную мачеху дяди Серёжи. По её выражению лица сразу понял, что произошло неладное, хотя и помыслить не мог, что случилась беда. «Что такое?» — напрягся я. Женщина рассказала: «Так тем днём, когда вы со станции пришли, Серёжка лёг спать и ночью умер». Во мне всё перевернулось, к горлу подступил ком, и я поспешил в избу.

Посреди комнаты стоял гроб. Под ним по обычаю еловые лапы, топор, двуручная пила. Вокруг гроба причитали на разные голоса старушки-плакальщицы. В изголовье с заплаканными глазами сидела Лёля.

Как так? Как такое могло случиться? Только человек был жив, и вот его не стало. И терзал вопрос — как дядя Серёжа мог почувствовать приближение смерти? Что или кто указал ему на то, что близится час кончины на этом свете? Это предвидение, как и скоропостижная смерть дяди, потрясла меня до глубины души. В раздумьях о случившемся я не находил себе места и ещё долгое время не мог прийти в себя. И мучила совесть, что отнёсся к его последним услышанным мною словам, как к блажи. Перед глазами стоял в калитке живой дядя Серёжа со словами: «Не увидимся, Димка, больше...», и эта картина на всю жизнь вьелась горькой слезой в мою память и в моё сердце.

Так сложилось, что с братом Сергея день рождения у нас в один день. В этот же день и похоронили дядю Серёжу. Схоронили рядом с матерью, которой могилку вот только на днях навещали я и её старший сын — Сергей.

Когда я побывал в отчих краях в зрелом возрасте, многое изменилось на родной земле, а что-то и вовсе стёрлось с её лица. Следовал старым маршрутом — сначала на погост, затем в дальнюю деревню, где жил дедушка. Заброшенный дом с выбитыми стёклами и открытой дверью, на коей в насмешку болтался висячий замок с замкнутой на ключ дужкой. Слетевшие с петель настёжь распахнутые ворота, сквозь которые виднелся заросший репейником и крапивой двор. И лишь старая яблоня с прогнувшимися ветками, на которых созревали плоды, служила утешением, что на осиротевшем подворье теплилась хоть какая-то жизнь. В деревне ещё осталось два-три ухоженных дома, хотя мне было и неизвестно, кто в них жил — дачники или старожилы, но душу охватывало чувство обречённости. Будто перед расстрелом. Только ты знаешь, что, когда выедешь за околицу, тебя ждёт амнистия и помилование, а у этой деревни приговор окончательный и обжалованию не подлежит.

В родной деревне дом, в котором я останавливался, разграбили на дрова или на стройматериал, остался один заросший травой разбитый колодец во дворе. Лишь вековой лес, напоминаая мне о бренности человеческого бытия, так же, как и много лет назад, стоял высокой вековой стеной и даже расширил свои владения, заселив сад и огород молодыми деревцами. Развалился и дом бабушки Мани. Под крышей сохранился родительский дом дяди Серёжи, но и он уже был не пригоден для жилья. Когда на окрестности опустился вечерний туман, с приливом чувств на мгновение показалось, что вот-вот белёсая дымка рассеется и перед взором предстанет былой образ деревни — багряный закат, целёхонькие избы с белыми занавесками в окошках, благоухающие сады, знакомые голоса присевших на лавочки и увлечённых содержательными разговорами жизнерадостных стариков, задушевные песни под лихую мелодичную гармонь голосистых парней и девчат, что парочками под ручку шествуют по узким улочкам вдоль вереницы дворов, звонкий несмолкаемый смех загулявшей на опушке допоздна и разыгравшейся озорной детворы. Но через минуту понимаешь, что все эти видения безвозвратно утраченной благодати рисуют мимолётные всполохи памяти, напоённой чарующей прелестью и хмельной свежестью родных туманов.

Людская память — это прочная верёвка, сплетённая из тысяч нитей воспоминаний. Чем больше нитей перетрётся и порвётся, тем слабже станет связь с прошлым. А если разрубить верёвку — останется чёрная пустота. Вспоминаю дядю Серёжу, Лёлю, и их окаймлённые светом добрые лица радуют сердце и согревают душу. Лёля здравствует доныне. Нянится с детьми односельчан. При всей её чудаковатости, люди не боятся оставлять Лёле своих чад и доверяют ей, как родному члену семьи.

И дядя Серёжа, и Лёля, и затерянные в тверских лесах тихие деревушки, и туманы родины — всё это неразделимые частицы моей души, которые питают меня живой силой, и которые всегда будут существовать во мне светлой и благодарной памятью.





ТИМОФЕЙ СМЕТАНИН
(якутский писатель, 1919–1947)

ЦВЕТОК АКСААНА

Мы с Алёшей Слепцовым выписались из госпиталя вместе. Алёшка записал мне свой адрес, придерживая лист бумаги едва зарубцевавшейся культёй левой руки: кисть по запыстье ему оторвало в бою за освобождение Киева. Тогда, в 44-м, это не воспринималось бедой. Главное: жив, правая рука цела, а значит, он, природный якутский охотник, может заниматься промыслом.

Крепким было Алёшкино рукопожатие: прощаясь, он признавался:

— Больше всего я боялся, что не увижу мать. И не побываю на могиле отца. У нас погост — на острове, посреди Лены. Восемь поколений предков там. Вечный покой, а будто плывёшь на корабле, воды текут, текут...

В его отдалённый улус моя беспокойная профессия журналиста привела меня только годы спустя.

Когда идёшь к бывшему фронтовику, израненному войной, на сердце тревога: мало ли?..

— Слепцов здесь живёт? — спросил я у старухи, которая стирала бельё во дворе дома.

— Здесь, — разогнула она натруженную спину и плавным движением почему-то указала на окно.

Сквозь стекло, отблёскивающее в летних лучах заполярного солнца, виделось... какое-то тропическое растение.

Я поднялся по невысокому крыльцу, прошёл в сени и постучал в дверь.

— Да, — ответил знакомый, ничуть не изменившийся голос.

Я переступил порог и ясно ощутил встречную волну чудесного аромата. Алёшка поливал из маленькой лейки цветок невиданного в нашей суровой природе яркого окраса. При этом бывший воин был так поглощён своим занятием, что не оглянулся на вошедшего.

— Какая красота! — проговорил в искренних чувствах я.

Только теперь Алёшка обернулся, заулыбался счастливо: то ли от того, что видел старого друга, то ли потому, что я восторгался его цветком.

— Из района приезжают посмотреть! — сказал Алёшка с гордостью. И жестами показал, что пока не может оставить своего дела. — Садись пока, рассказывай. Тут, видишь, есть хитрость: листья-то ворсистые и нельзя, чтобы вода на них попадала...

Мне ещё раз пришлось удивиться: в госпитале огрубелый от войны Слепцов никак не производил впечатление человека, который будет цветочки выращивать!

— Ты за ним ухаживаешь, как за малым ребёнком! — я сделал шаг вперёд, чтобы получше рассмотреть бутоны цветов.

Алёшка невольно преградил путь могучей правой рукой, будто я посягал на его «дитя». Улыбнулся смущённо:

— Это ребёнок и есть.

Теперь я видел, что пурпурные, с вишнёвым отливом лепестки по краям окаймлены белым. А внутри цветка также белый в крапинку ободок со спелой вишенкой в сердцевине. Причём лепестки похожи на лопасти пропеллеров, которые наслоены во множестве друг на друга. Словно летящие, ввинчивающиеся в пространство бутоны!

— А как называется цветок?

Алёшка просто расплылся в улыбке.

— Аксаана, — произнёс он с такой нежностью, будто речь и в самом деле шла о ребёнке. — А если по-украински, то — Оксана.

— Это ведь женское имя?! Признавайся...

— Я не рассказывал разве, в палате?

— В госпитале ты вообще не открывал рот, когда не ел.

Хозяин, наконец, поставил лейку, вытер руки. В рукопожатии бывших фронтовиков есть нечто большее, чем приветствие друг друга. Память, война, потерянные в боях друзья. Победа.

Мы сидели за столом, чаёвничали. Алёшка вёл рассказ, как фронтовики всегда вспоминают былое: спокойно, будто речь шла не о страшных событиях, а о лучших днях жизни

— Когда в последнем бою осколок снаряда оторвал мою руку — как отсёк, ровно по запястью, — Алёшка посмотрел на культю, будто снова рука была здорова и пальчики шевелились, — я не то, чтобы сознание потерял, а что-то во мне переключилось. Начал, было, копать землю, думаю, сейчас найду свою руку, и быстрее в медсанбат, мне её там пришьют! Копаю правой, а из левой-то кровь хлещет! И тут голова включилась. А у меня был трофейный ИПП: жгут хороший, тугой, бинты. Затянул руку выше раны, сделал перевязку. И скорее в санчасть! Иду, слышу «а-а» — детский плач. Откуда, думаю, здесь ребёнок, передовая же! Бой! Снова — «а-а». В воронке девочка лежит, лет десяти. От боли корчится. Ранена в ногу: она косыночкой её повязала тоненькой, а кровь сочится. Веришь, нет, о своей боли забыл. Боль только на сердце, что ребёнку плохо, на войне ребёнок! Косынку её с ноги снял, гляжу, кость не задета — хорошо, но рана глубокая. Забинтовал, спрашиваю, откуда ты здесь? Колонну пленных, оказывается, немцы гнали — не хотели одни тикать, им, видите ли наши люди нужны, дети, чтоб на них работали! А тут как нас опять взрывом накрыло, поднимаемся, все в земле. Давай, говорю, пошли. Она стала подниматься, да и упала:

— Не могу, больно, — плачет.

А глаза, как спелые вишни, смотрят на меня, надеются.

Я встал спиной к ней, на колени:

— Садись на спину, — говорю, — да держись крепче за плечи.

Так и пошли. А сердчишко её аж в спину мне колотится! Страшно, больно, а она ещё обо мне заботится:

— Тебе тяжело?

— Я охотник, — стал ей рассказывать, — знаешь, сколько по тайге с ношей ходить приходится, и ружьё за спиной, и еда. День идёшь, другой...

— А где она, твоя тайга?

- В Якутии.
- Я знаю, мы в школе проходили! Там очень холодно, медведи водятся!
- И соболь, и олень!..
- И Северное сияние?!
- И Сияние, и Полярная ночь...
- Какие у тебя волосы чёрные, — вдруг говорит, — ты их что, покрасил?
- Да нет, — отвечаю, — просто я якут, а у якутов такие волосы.
- У всех?
- Ну, не у всех. Есть и рыжие, как на Украине.
- Ты на кого намекаешь?
- У тебя тёмно-русые.
- С рыжим отливом.
- Это же солнце играет! Самая красота!
- Нет ничего на свете красивее цветов. Ты любишь цветы?

Никогда я о цветах не думал, люблю, нет? Но что-то буркнул в ответ, вроде, угу.

Так мы дошли до медчасти. Тогда только у меня голова пошла кругом... Сил-то нет! А нам уж в разные стороны надо. Мне в госпиталь, а ей к гражданским, там не одну её с поля вытащили... Может, и мать где-то? На прощанье украинская девочка Оксана протянула мне махонький шёлковый узелок, который лежал у неё в котомке. Развязываю, зёрнышки какие-то махонькие, с пылинку. «Это, — говорит, — семена очень красивого цветка. Посади дома, вырастет, и будет напоминать обо мне». Я про этот узелок и забыл. А вернулся, дома стал разбирать вещмешок, и в боковом кармашке — свёрточек шёлковый... Семена! — Алёшка ударил себя по лбу, будто только что нашёл и развязал узелок. — Название цветка запомнил, а вот как сажать, ухаживать — вспомнил слово в слово её наказ: «Земли в горшок положить, разрыхлить, посадить семена, вглубь не топить, по верху. Полить, стеклом накрыть, чтобы влага не испарялась. Подсветку сделай, чтоб и ночью, как при солнышке...». Почему украинской девочке так хотелось, чтобы в Якутии рос любимый её цветок?

Рассказывая, бывший вояка то и дело прикладывал ладонь чуть ниже сердца, усмехнувшись однажды: «Предки, с острова, нет, нет, да и позовут...».



— Глянь, — вновь Алёшка призывал моё внимание к цветку, указывая на сердцевину бутона, — внутри-то вишенки, будто глазки...

— Аксаана, — назвал цветок девичьим именем теперь уже я. — Если по-украински, «Оксана».

С того времени прошло ещё несколько лет. Однажды из отдела писем нашей редакции мне передали письмо с обратным штемпелем «УССР». Письма из Украины были не редкостью: люди, некогда трудившиеся в Якутии, потом вернувшиеся на малую родину, часто писали о том, как они тоскуют по Северу, особой нашей природе, людскому укладу, важной для страны работе... На этот раз было письмо иного содержания:

«Уважаемый редактор! Летом 1944-го года, когда Красная Армия прогнала с Украины фашистских захватчиков, меня, десятилетнюю украинскую девочку, спас от верной гибели солдат из Якутии. Дело было так. Немцы при отступлении забирали с собой местное население, гнали колоннами. Под покровом ночи мне удалось спрятаться в яме, затаиться. А когда колонна отдалилась, я побежала в обратную сторону, стараясь держаться поодаль дороги, по которой то и дело проходили немецкие машины. К рассвету вышла в чистое поле. Красивое, с ромашками. Прилегла. Наверное, задремала с усталости. Слышу — гул самолётов. Открываю глаза — «миссершмитты» по небу ползут, как громадные ящурки. Началась бомбёжка! Осколок немецкого снаряда поранил мою ногу. Я скатилась в образовавшуюся воронку, где было безопаснее. Старалась перевязать рану, но ничего не получалось. Я истекала кровью. И вдруг перед моими глазами вырос солдат в красноармейской форме. Скуластый, широколицый, совсем молодой. Своей правой рукой он зажимал левую руку чуть выше запястья, а кисти руки не было. Только торчал забинтованный обрубок. До сих пор не могу понять, как ему, тяжело раненному, удалось поднять меня и пронести на спине несколько километров до санитарной части. Тем более, я точно видела, как его ещё один осколок зацепил. «У тебя кровь из груди», — говорю ему. А он в ответ: «Пустяки. Рикошетом зацепило». Когда мы пришли, забыв о боли, я рыдала от счастья! И у него, помню, в глазу слезинка будто запеклась... Не могу простить себе, что не спросила его адрес, не узнала, как зовут моего спасителя. Знаю только, что по национальности он якут. Охотник. Человек большого сердца.

Очень прошу опубликовать в газете моё письмо. Надеюсь, что он прочтёт его. Или найдутся добрые люди, которые прочтут и передадут ему».

Я ещё не дочитал письмо, а уже стало ясно, о ком идёт речь. Далее шло обращение непосредственно к нему, моему старому другу Алёшке Слепцову.

«Дорогой мой старший брат! — я обращаюсь к Вам так, потому что все годы после нашей встречи мысленно называла Вас братом! Вы меня не только вытащили из-под немецких пуль и бомбёжки, не только спасли мне жизнь, Вы научили меня быть доброй и ценить доброту в других, научили не бояться трудностей, идти к цели, преодолевая боль, раны, как это делали Вы. Низкий Вам земной поклон!

Очень хочется узнать, как вы живёте? Чем занимаетесь? Думаю, Вам тоже интересно узнать обо мне.

Я нашла своих мать и отца. На месте сожжённой фашистами старой хаты мы построили большой дом с верандой и мезонином. Украина очень похорошела! Почерневшую от пожарниц войны землю теперь покрыли сады. Моя нога давно зажила: вчера с девушками нашей деревни состязались, кто быстрее пронесёт вёдра на коромысле, не расплескав воды. Я была среди первых — бежала и думала: а если бы на фронте, если бы нужно было принести воду раненым?!

Мои мама и папа много слышали о вас. Они оба передают вам слова благодарности. Мы приглашаем Вас в гости. Приезжайте, посмотрите, как расцвела Украина, которую Вы, брат мой, защищали!

Вы посадили семена цветка, которые я Вам дала?..

Оксана, Ваша младшая сестра.

Наш адрес...».

Текст письма я попросил перепечатать, чтобы отдать в набор для публикации. Оригинал же решил отвезти непосредственно адресату, бывшему солдату Алексею Слепцову: подспела как раз редакционная необходимость побывать в его краях.

Старуха-мать во дворе также согбенно стояла над корытом, будто и не было трёх лет. Распрямилась, заулыбалась, как старому знакомому. И так, сквозь улыбку, проронила слезу.

— На острове... — была она, как изваяние.

«Вечный покой, — вспомнил я слова Алёшки, — а будто плывёшь на корабле, воды текут, текут ...».

— Волки там... На волка пошёл... Как он с ними, однорукий?..

Цветок «Оксана», разросшийся во всё окно, выстрелил счастливым цветом! Я отдал письмо из Украины матери Алёшки. В отдохновении направился дальше по делам и остановился: в окне дома напротив также распускался цветок «Оксана». И ещё в одном окне, в третьем: вишнёвые глаза будто сквозь стекло словно выглядывали кого-то, ждали.

Перевод Владимира КАРПОВА

От редакции: благодарим нашего постоянного автора, известного писателя Владимира Карпова за присланный им перевод на русский язык этого документального рассказа.





НА МЛЕЧНОМ ПРИДОРОЖЬЕ

От автора: эти стихи писались в разное время, но объединены одной интонацией — это как бы тайное наблюдение: за природой, за собой, за происходящим вокруг. Невозможно взвесить ценность ушедшего дня или ушедшей любви, чтобы сказать что-то наверняка. Да, это было, это прошло, это осталось раной или царапиной, воспоминанием или забвением — как дождь или случайный взгляд, с которым ты встретился в толпе ещё позавчера, а помнишь и чувствуешь его присутствие в себе так, словно это произошло три минуты назад!

Так и стихи из этого цикла. Они не писались специально, но отбирались из написанного. Из написанного? Из начувствованного тайным уголком сердца, из нащёпанного кончиком языка, из наслышанного краем уха и отозвавшимся на неясное движение в необозримых и неизведанных пространствах бытия. Отозвавшимся настроением или состоянием, которое и проявилось в реальности именно таким образом — стихами...

НА ПЛЕНЭРЕ

«Белеет парус одинокий...»

Михаил Лермонтов

...И бумеранги белых чаек
Летят над гладью голубой,
Как части образов случайных,
Что волей посланы слепой.

И там, без цели и резона,
Бессменный парус, сумасброд,
Парит над кромкой горизонта,
Но к берегу не пристаёт...

МЕТЕЛЬ В СЕНТЯБРЕ

Снег и листья...
Странный мир!
Шорохом сухим пронизан,
Воздух голубую призмой,
Наклонённой низко-низко,
Застывает...

Сквозь пунктир
Мелких, жалобных снежинок
Пробивается фонарь.
Листьев стылых киноварь
Снег в блестящую вуаль
Одевает...

Мешанина
Темноты и белизны!
В толкотне живых потёмок
От земли до крыши дома
Ветер, сказочник бездомный,
Торжествует...

Как блесны
Беспокойное вращенье,
Космы выюги крутят свет,
Вяжут в узел белый плед!
Чуть замешкался — и сед:
Заколдуют!..

Освещение
 Сквозь серебряный пунктир
 Еле видимо, тревожно,
 Но почти живое — можно,
 Прикоснувшись осторожно,
 И обжечься...

Странный мир!

ЧАЙКА

Татьяне Б.

Ты куришь медленно,
 Легко,
 Как героини старых фильмов,
 И пепел стряхиваешь стильно
 Ещё бестрепетной рукой.

Кури, малышка,
 Нет здесь мамы,
 Зато есть в сумочке духи,
 Чтоб сладко пахло от руки,
 Как пахнет воздух старой драмы.

Ты будто бы сошла с картин
 То ли Дега, то ли Пикассо,
 Чьи дамы вроде как прекрасны,
 Хоть кажется, что пьют хинин...

Зелёный плащ на спинке кресла.
 Волос продуманный отлив...
 Миг вольности!
 И я халиф
 На полчаса, и всё уместно.
 И даже истина — в вине...

Ты, выдыхая дым душистый,
 Вдруг молвишь фразу: все — фашисты!
 Что ж, на войне, как на войне.

Мечтая поступить в актрисы,
 Играя капельками бус,
 Ты выглядишь убийцей муз
 И снов.
 По счастью — бескорыстной!

Тебе не холодно ещё.
 Тебе ещё звонят подружки,
 И парень что-то шепчет в ушко,
 И даль туманная влечёт...

Но это краткость,
 Это штампы.
 Ты тонешь в них, как взгляд — в очках,
 Как птица — в срезанных лучах
 Над озером,
 Из старой драмы.

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР

Когда дуэт мороза и луны
 Уже владеет красками заката,
 И облаков надорванная вата
 Как будто тлеет с нижней стороны,

А в сумраке витают крылья праха
 И оживает смутная мечта,
 Когда вдали пунцовая черта
 Уже темнеет, как сгоревший сахар,

Тогда и ты свою меняешь суть,
 И цепенеешь в воздухе морозном,
 Захваченный закатом, как наркозом,
 Не в силах даже пальцем шевельнуть...

Темнеет даль за мутной пеленой:
 Из тонких труб домов правобережных
 Дым растекается дорогой снежной
 Над горизонтом с бешеной луной,
 Летящей вскачь...

Но и она сорвётся —
 И рухнет в темноту седой совой!
 Запутавшись в перине снеговой,
 Уснёт
 И до утра уж не проснётся...

ВЕСЕННИЕ ДОЖДИ

Май спятил!
 Серостью небес
 Навис над зеленью тяжёлой,
 И, красок будто бы лишённый,
 Непросыхающий отрез
 Лугов холщовых —
 Стал дымиться,
 И дождь устал катить поток,
 И крыша — мучить водосток,
 И парк — беззвучием томиться...

Не слышно карканья грачей –
Они забыли луг и поле...
И редко, словно из подполья,
Шлёт солнце чахлый сноп лучей.

Жизнь затаилась...
На верёвке
Висит бельё который день.
И непогоды канитель
Стучит в окно почти с издёвкой,
С прищуром скуки и тоски –
Она как будто что пророчит...
Промозглость майских одиночеств
Переселяется в мозги...

...Всё переждать, не покориться,
Отречься и благословить.
Возненавидеть! Полюбить!
Дождаться, перевоплотиться...

ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ...

Не всё простишь.
И как простишь вину
Весны,
Когда она, играя плотью,
Как в ад,
Бросает душу в быстрину
Шальных, полупомешанных мелодий?..

Нет,
Не простишь осенний листопад
За слишком расточительную броскость,
Что, словно липку,
Обдирает сад
И заодно –
Кривого неба плоскость!..

Простишь ли ночь,
Когда её лицо,
Усыпанное звёздами веснушек,
Как роза чёрная с мерцающей пылью,
Зовёт и завораживает души...

О, как простить любви её приход
И путь за ней по городам и странам,
Где неизвестен каждый поворот,
Где все или рабы,
Или – тираны!..

Чудесному неведома вина,
А мы виновны скудостью фантазий.
Мы знаем вкус,
Но не рецепт вина,
Что украшает серой жизни праздник.

И чудный мир мы превращаем в круг
Порочных, умозрительных исканий,
Чтоб корчить рожи имморальных мук
Когда бушует буря лжи –
В стакане!..

АВГУСТОВСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Опять луга меняют цвет,
И роща блещет, как в окладе.
А в глубине озёрной глади
Плывёт небес автопортрет.

Оттенки русского простора
Иконописны и чисты.
Вновь август лёгкие холсты
Хозяйским озирает взором.

На речке реже слышен писк
Далёких лодочных моторов.
Лишь одиноко «Метеоры»
Торопятся то вверх, то вниз...

Баржи покинутой громада
Чуть покосившись что-то ждёт.
Ещё ей долго под дождём
Ржаветь до первых снегопадов...

Дорога к пристани пуста –
Она бесстрашна, неприютна...
И только призрачно и смутно
Паденье мёртвого листа.

Бездомный пёс, остановившись,
Зевнув, глазами проводил
Его полёт. Засеменил,
С палитрой придорожной слившись...

ЛЕТО ПРОЛЕТЕЛО, ЖИЗНЬ ПРОЛЕТЕЛА

Вот и осень пришла наконец-то,
Настоящая, словно печаль,
Словно верное, древнее средство
Опьянять без вина.
И не жаль,
Что я лето почти не заметил,
Что весна пролетела, как пух.

Хорошо хоть есть лето на свете
Для мальчишек, бродяг и старух!
Пацаны убегут на рыбалку,
Пилигримы отправятся в путь,
А старушки в цветных полushалках
На скамье могут тихо вздремнуть.
И приснятся им юные годы,
Поцелуи, свидания, цветы...
И ночные огни пароходов,
И в кипящей сирени сады...

Как стремительно жизнь пролетела!
Как пленительно гаснет заря...

Хорошо, что душа уцелела,
Что страдала на свете не зря.
Что и осень –
Последний мой довод –
Нам под вечер прошепчет листвою
Тот стишок октября молодого,
За которым закат и покой.
Значит, это не боль и не рана!
Просто осень
И просто печаль.
Что же дальше?
Загадывать рано.
Что же было?
Не важно!
Не жаль...

ОСЕННЕЕ ПОТЕПЛЕНИЕ

О, как пронзительно звучат
В конце дождливого затмения
На пять коротких дней подряд
Просвет и даже потепленье!

Сперва туманом поутру,
Как ватой, окна ототрутсЯ,
И солнце, вспыхнув на ветру,
Заставит сердце встрепенуться.

Берёзы в шали золотой
Вдруг белые откроют плечи,
А старый тополь с бородой
Наоборот – в тулуп овечий
Принарядится...

А потом,
Когда земля чуть-чуть просохнет,
Погонит листьев рыжих ком
Злой дворник-ветер.

Вспыхнут окна
От ослепительных лучей,
Напомнив летние забавы –
Всё веселей, всё горячей
Короткий луч!

На две октавы
Пронзительней и выше звук
Осенних, нежных восклицаний!
И крепче единенье рук,
И ярче краткий миг свиданий...

ОКТЯБРЬСКИЙ СНЕГ

Холодный выдох в октябре
Чреват неожиданным снегопадом,
Лепниной на сырой коре
И небом рваным, клочковатым.

Уже к семи почти что тьма.
Лишь редкий свет из окон потных
Возносит бледные дома
Над мутной пеленой бесплотной...

А после дождь заморосит,
Стерев остатки снежной лепки,
И туч недвижимый гранит
Мозги и крыши сдавит крепко.

И дела нет. И сон не в сон...
Пришедший гость неразговорчив,
Как будто чем-то удручён,
Но чем – рассказывать не хочет...

ПЕРВЫЙ ПОЦЕЛУЙ

Как жить в безмерности пространства
И в бесконечности времён,
Когда все тайны,
Всё богатство
Вещей, событий и имён
Объединяется в изгибе
Твоих полуоткрытых губ?!

Закономерность мира гибнет!
И рай библейский дряхл и груб,
И опыт пошл,
И даже слово
Не просится идти в народ...
Я счастлив, что не знаю снова,
О чём душа моя поёт...

И я наверняка не знаю,
Как обращаться с этим всем
Одушевлённым осязанием,
Не связанным с игрой фоном!

ОТ ВЕСНЫ К ЛЕТУ

Риме Г.

Познакомь же меня с этим летом,
Как поссорила с этой весной!..
Обещаю,
Что будешь воспета,
Что не станешь моею женой!

Познакомь же!..
Возьми меня снова
В мир лугов с голубым потолком,
Где ты будешь меня,
Как слепого,
До рассвета водить босиком.

Чтобы врос я корнями сухими
В это лето,
Как слово в строку...

Или дай подходящее имя
И сожги на цветущем лугу.

ТАК ВСЁ И БЫЛО

Всё дело в том,
Что я ещё люблю
Тебя
И то, к чему ты прикасалась.
Две истины:
Одна из них — казалась,
С другой — и не живу я,
И не сплю!..

Как взгляд,
Тот, что с оттенком волшебства:
В нём жизнь искрилась инеем на соснах...
Бывал и я неоднократно сослан
Во тьму его немного вещества.

Я был богат всей щедростью глубин,
И мне доступны были все земные блага!
Я брал уроки как любить и плакать,
Я был всему и господин, и сын...

Из слёз изготовлял я нежный свет,
Чтоб слать его от имени печали,
Чтоб души долгим эхом отвечали
На то, чего уж и в помине нет...

ВЕТРЕННЫЕ РАЗГОВОРЫ

И что тебе до ухищрений ветра,
До лжи его и жалобы,
И что
Тебе, что в такт ему мелькают ветви,
Качая, словно голову, гнездо?..

Не верь причудам ветра,
Не надейся,
Что вместе с ними и твоя душа
Рванётся прочь из духоты житейской
К духовному покою шалаша.

О, не завидуй шалостям певучим,
Которые,
Как голоса сирен,
Зовут туда, где балом правит случай,
Плывущий в океане перемен...

ЗВЁЗДНОЕ ЛИРИЧЕСКОЕ

Звёзды, звёзды!
Всё вам можно:
Быть вверху и свысока
Вниз глядеть,
Туда, где, морщась,
Жизни корчится река...

Звёзды, звёзды!
Что вам надо?
Только тьма,
Чтоб в ней сиять...
Только пристальные взгляды,
Тех, кто хочет вас достать!

НОЧНАЯ ЭЛЕГИЯ

Какой глубокой мглой весь мир объят!
Ночь — бочка, переполненная дёгтем, —
Вдруг опрокинулась и льёт тягучий яд
На непогашенные кем-то окна.

Спит лунный свет и дол подлунный нем.
Лишь свод небесный подчинён движенью:
Непостижимый, чёрный свой эдем
Вращает он до головокруженья!

Как сладко в это время люди спят...
Ночь опрокинулась и землю затопила.
И льётся черноты беззвучный яд
Чрез горизонта низкие перила.

1975–2016





ЗВОНАРЬ

ПИСЬМИРЬ

Словно в бычий пузырь, из автобусных окон глядишь,
от стекла оттирая давно поредевшую рощу,
где берёзами всласть напивавшись, молочная тишь
под корнями осин прячет кладбища грозные мощи.

Проезжаешь Письмирь — и становишься ближе к себе...
Через мост и холмы к полысевшему дому у речки
приникаешь лицом, подсмотрев как в былинной избе
мужичок обжигает в печи то горшки, то словечки.

Проезжаешь весьмир, а в глазах, как в подзорной трубе,
только узкая прорезь земли под бушующей высью:
вот распят электрический бог на подгнившем столбе,
вот сосна полыхает за полем макушкой лисьей.

Позади Мелекесс пух гусиный метёт в синеву,
он на спины налип — мы гогочем и машем руками...
Нас, поднявшихся в небо, наверно, потом назовут —
о-бла-ка-ми...

ЗВОНАРЬ

Я ещё до конца не изучен,
не испытан на прочность пока,
но как колокол бьётся в падушей —
я набатом сдираю бока

и плыву в этих отзвуках долгих,
наблюдая, как с гулом сердец
проступает над веною Волги
побелевший часовни рубец,

и в малиновом хрусте костяшек,
на ветру у свияжских лагун,
прозреваю я голос свой тяжкий,
но понять до конца не могу.

Бечеву до небес изнаждачив,
истрепав до полбуквы словарь,
захожусь в оглушительном плаче —
одиноким зовущий звонарь.

* * *

Иногда нужно вспомнить, что я человек
и конца на пути не миную,
а пока — для чего проживаю свой век,
что кладу я в копилку земную?

Голоса из глубинных предчувствий беря,
для чего отшлифовывал разум?
Для чего по сусекам всего словаря
выскребал я заветную фразу?

Эта ночь, как последняя в мире, тиха,
в ней рождается голое слово...
За хорошую строчку живого стиха
умираю я снова и снова...

УЛИЦА ВОЛКОВА

Волчьей улицы дом, словно клык,
расшатался и стал кровоточить,
и к нему два таких же впритык
разболелись сегодняшней ночью.

Раскрипелись, как будто под снос,
и распухли щеками заборов,
и теперь только содою звёзд
полоскать их до утренних сборов.

Око волка — багровый фонарь,
хвост его выметает прохожих,
а Вторая Гора, как и встарь,
окончательно их обезножит.

Крыш прогнивших топорщится шерсть,
крылышка смеётся кузнечик,
он на Волкова, дом 46
нашептал Велимиру словечек.

Бобэоби — другие стихи —
в горле улицы, в самом начале,
завучали, больнично тихи,
но на них санитары начхали.

Здесь трудов воробыиных не счесть:
по палатам душевноздоровых
птичью лирику щебетом несть,
пусть и небо на крепких засовах.

А над небом царит высота,
а с высот падает в окошко
пустота, простота, красота,
трав и вер заповедная мошка.

ОКНО

Окно — милосердное эхо
погасших квадратных небес,
для беглой свободы прореха
во мрачной квартире словес,

колючая прорубь в иное,
что острою рябью стекла
моё любопытство льняное
вспороть до затылка могла.

Окно — путеводная нитка,
ведущая в пропасть ушка, —
как первая к смерти попытка
последнего в жизни прыжка,

и млечная оторопь света,
и ночь задушевной брехни,
в губительный мир без ответа
раскрытые настезь стихи.

РАИФСКИЙ БОГОРОДИЦКИЙ МОНАСТЫРЬ

У Сумского озера взгляды
о солнечный купол сминая,
пока с Филаретом ты рядом,
и дышит казанский Синай.

Истории путь одинаков:
честнейшие сердцем дружки
и здесь избивали монахов
и храмы восторженно жгли.

Но колокол, вырванный с мясом,
что в землю ушёл на аршин,
проросшим звучанием связан
с мерцанием новой души.

Так выгляни, скит стародавний,
запаянный метким свинцом,
меняя тюремные ставни
на свет под сосновым венцом.

МИРУ – МИР*

Миру – мир тебе, брат! –

безмятежный скиталец весны:
прорастают вьетнамские лапти
в бананы-штаны,
на измятой тельняшке горит
пионерский значок, –
до ушей улыбается Лёша –
смешной дурачок.

Выходя из буфета на млечный
казанский простор,
он мычащие губы от крови томатной отёр
и, присев на скамью,
у обкомовских ёлок в тиши
воробьиной семье
бесконечную булку крошит.

Мимо оперных стен
и ожившего вдруг Ильича
я на велике мчу,
дяде Лёше дразнилку крича,
а в кармане звенят 38 копеек надежд
на берёзовый сок,
два коржа и вкуснящий элеш.

У продрогших витрин
торможу через сколько-то лет –
за стеклом банкомат
и сбербанка дамоклов буклет...
Будто в детстве моём,
где богатством считался пломбир,
мне из окон глядит
повзрослевший теперь Миру-мир.

СТАРАЯ КАЗАНЬ

По ветхим улочкам Казани,
смирненно дышащим на ладан,
иду с умершими друзьями –
а что ещё от жизни надо?

И будто горные берёзы
мне путь неспешный проясняют,

* «Миру – мир» – продуктовый магазин на Площади Свободы в Казани, названный так по известному лозунгу, прикрепленному на фасаде здания.

они, от старости белёсы,
всё понимают и... сияют.

А день окуривает дымкой
избушки курьи нежилые,
над тучей солнце невидимкой
им греет кости пожилые.

Шагаю мимо палисадов
по деревянному кочевью –
не заскрипят уже надсадно
полуистлевшие качели.

Не защебечут больше ставни,
приветствуя моё наличие,
и лишь в любезностях усталых
резной рассыпется наличник.

А за оврагом город громкий
несёт дожди и льёт за кромку,
а здесь – погибла на пригорке
от жажды ржавая колонка.

Родных калиток вереница,
я перед вами с болью замер –
вы перекошенные лица
моей несбывшейся Казани.

ПОДЪЕЗД

Бог не фраер, не лох,
но весьма любознательный шкет:
он давно наблюдал втихаря,
притворившись умершим,
как в прокисшем чаду,
в этом грязном кирпичном мешке
нас, нахальных цыплят,
становилось по осени меньше.

Кто ушёл на войну –
умирать под чеченским селом,
кто допрыгнул до звёзд,
разбежавшись по пьяни с балкона,
кто-то веру обрёл,
получив кирпичом за углом,
и в психушке теперь
добывает земные поклоны.

Нас подъезд воспитал
и вскормил из бычковых сосцов
сладкой водкой свободы
безумно дешёвого понта,
пацаны-старшаки нас пороли
ремнём за отцов —
их отцов, не вернувшихся с фронта.

И я с лекций летел
на безжалостный окрик свечи
в полутёмном пространстве
Вселенной друзей-одногодок:
там обоймой кассет Доктор Албан
нас насмерть лечил,
и калечил язык
беглый говор обкуренных сходок...

Что-то вспомнилось ныне,
как плавились дух и сердца...
Нас осталось немного —
шепчу я светло и печально...
Свой рубец оставляет подъезд
у любого жильца,
если ты не мертвец изначально...

ГАВРИИЛ КАМЕНЕВ *

Всё от Бога: и слово мрачное,
и лученье смешливых губ,
капиталы, дома барачные
и дворянства былой суккуб.
Упокой перейдёт во здравницу
на гортанном наречье мурз —
и не то, что купец объявится,
но потомок татарских муз.

То ли азбуки, то ли ижицы —
коли чёрный огонь внутри,
не читай, что на небо нижется,
о бумагу перо не три...
В задыхании — после бега ли
за сосновые образа —
так уколет твоя элегия,
словно хвоей метнёт в глаза.

На погосте, теперь разрушенном,
за кизической слободой,
прах твой станет могиле ужином,
память вытравит лебедой.
Но однажды всплакнёт балладой,
зовом зыбким Зилантов вал —
о Зломаре впотьмах балакая,
пригрозит, прогремит Громвал.

Это мистика, это готика —
два столетия псу под хвост...
И классическая просодика
на анапест наводит лоск.
Только нет у героя книжицы —
наизусть ты его блажи,
где в бетон закатали Хижицы **,
чтобы каменев пал с души...

ОГОРОД

Жили-были холодно да голодно, —
только не хватались за ножи.
С вороньём за вечерами лобными
пугало справлялось у межи.

Пили водку с горьким молочаем,
хоронили яблока микроб.
Кулаками в зубы получали,
кто чужой подёргивал укроп.

Примирились: просто и за сало,
ленточку победы теребя.
А теперь вот Родина зассала
выручать советского тебя.

Видишь, как при всём честном народе
за ботвой картофельных наград
на соседском тощем огороде
гибнет в керосине колорад.

Всё теперь давно уже не слишком,
телек кровожадненько басит:
«Помнишь, как сжигали наших мишек?!
Мишка, ты теперь не одессит!..»

* Гавриил Каменев (1773–1803) — первый русский романтик; автор первой русской баллады — героической поэмы «Громвал»; талантливый казанский поэт и переводчик, творчество которого высоко оценил А. С. Пушкин.

** Хижицы — старинное название Кизической слободы под Казанью; последнее стихотворение Каменева, найденное уже после его смерти в кармане сюртука.

Вот и ватник сдан под одеяло –
лоскуты ползущие на нём.
Нас имперским смыслом наделяло,
что по одному не проживём.

По уму ли, по сердцу, бессрочно
городили общий огород,
кости перемешивали с почвой
и плодами раскровили рот...

* * *

Только ночь в три ручья,
только чай на весенней воде
кипятить без конца,
подмешав новогоднюю слякоть...
Бить каплей по сну, быть тебе,
быть великой беде –
если боги играют в людей
и стараются плакать.

Только здесь, в декабре,
на кроваво подтаявшем льду
человек исчезает во тьме
временного завала...

Вот была бы такая зима в 41-м аду –
и меня б не бывало...

В КАШЕМИРОВОМ НЕБЕ НА ВЫРОСТ...

В кашемировом небе на вырост
облака на резинке ношу,
и весны неслучайную сырость
по щекам иногда развожу.

Чтобы в детстве, костром обожжённом,
вдруг, запахнув ночью росой,
проглянуло бы под капюшоном
удивленье озона грозой.

И на Млечном Пути без ошибки
мама с папой увидеть смогли
голубые, как вечность, прожилки
зарифмованной сыном Земли.

КАЗАНЬ, ЛЯДСКОЙ САД

Мы выжили, спелись, срослись в естество
чернеющей в садике старой рябины,
глухой, искорёженный донельзя ствол
не выстрелит гроздью по вымокшим спинам,

плывущим к Державину, выполнить чтоб
в обнимку с поэтом плохой фотоснимок:
блестят провода, и качается столб,
троллейбус искрит, перепутанный ими,

а ливень полощет у сосен бока
и треплет берёзы за ветхие косы,
газон, осушив над собой облака,
под коврик бухарский осокою косит,
и голос фонтана от капель дождя
включён, вовлечён в наше счастье людское...
и мальчик соседский, в столетья уйдя,
по лужам вбегает в усадьбу Лецкого.

* * *

Галине Булатовой

Птичий контур, чертёж без деталей,
в небо шаг, или взмах, или два,
от осенне-осиновых далей,
пункт за пунктом, пунктиром, едва,

прочертив облака, предназначав
оставаться на окнах ночей
и пером по бумаге зачем-то
лунной горлицей стынуть ничьей,

занемочь, где в сиреновой тряске
клювы клином вбиваются в юг,
и синицы, сипя на татарском,
минаретные гнёздышки вьют,

задышать глубоко в понедельник,
отыскав голубиную клеть,
и застуженный крестик нательный
на груди у меня отогреть.





ГАЛИНА БУЛАТОВА

СЛОВО, СОЛОВУШКО, ИСТЫЙ СВЕТ

ВОЛГА, ВЯТКА, ОКА И КАМА...

Волга, Вятка, Ока и Кама — вот четыре родных сестры.
Между этими берегами пращур мой разжигал костры.
Волховал, приготовясь к севу, и поглаживал оберег,
Чтоб вовек родовое древо пило воду из этих рек,
Чтобы бьющийся слева бакен направлял бы уключин скрип,
И горел бы огонь прабабкин и прадедов на спинах рыб...

Начинала цвести ясколка, разливался в лугах апрель,
Лучше няньки качала Волга лодку — мамину колыбель.
Знали слово «война» с пелёнок, но хранил беззащитных Бог,
И от «воронов» да воронок он судёнышко уберёг, —
Только омуты да стремнины, но недаром родня ждала:
Скоро доктором станет Нина, будет новая жизнь светла...

Вечный зов соловьиной Вятки, зачарованный край отцов:
Здесь писал угольком в тетрадке душу русскую Васнецов.
Здесь грозила судьба расстрелом в сорок первом за колоски...
По сестрёнке, навеки в белом, плакал Ванечка у реки...
И остались они живые, целых пятеро, мал мала...
Славный врач из Ивана выйдет, будет новая жизнь светла...

Первый скальпель, уколы, грелки и родительский непокой:
Это я родилась на Стрелке, между Волгою и Окой.
Если есть у свободы запах, это запах родной реки.
Напиши-ка, смеялся папа: *наши с Вятки-де вы с Оки.*
Вслед за мамою *ехал Грека через реку, а в реке рак,*
И молочными были реки, и кисельными берега...

Утка в море, хвост на заборе, Волга зыбает корабли,
В Жигулях Жигулёвским морем нарекли её журавли,

Натянув тетиву рассвета на Самарской Луки изгиб, —
 Это красное пламя ветры зажигают на спинах рыб,
 Это посвист далёкой Стрелки, что почувствовал печенег
 По вибрации крупных, мелких — всех впадающих в Каму рек.

«Ты — река! И теперь ты — Кама!» — крикнут белые берега.
 Может, это такая карма? Может, это одна река?
 Может, это игра течений? Может быть, по воде круги —
 Многозначия изречений той одной, родовой реки?..
 Волга, Вятка, Ока и Кама, — и шепотью ведомый перст
 На груди четырьмя штрихами, как судьбину, выводит крест.

ДЫШУ КАЗАНЬЮ

Дышу Казанью, дышу по-русски,
 дивлюсь одеждам и языкам,
 преодолеваю подъёмы-спуски,
 иду — заветный ищущий сезам.

Иду доверчиво мимо кассы —
 коплю удачу по мере сил.
 Перебежала Булак на красный,
 а полицейский меня простил.

Дорожек каменная мозаика,
 ворот и крыш вековая скань, —
 моя таинственная хозяйка,
 моя возвышенная Казань.

Коснусь чугунного парапета
 на Лобачевского — вот и дом:
 здесь бьётся сердце того поэта,
 который в сердце живёт моём.

Закатной охрой крыльцо облито...
 Уж не от этого ли столба
 берут начало твоя планида,
 счастливый крест и моя судьба?

МОЛОДЕЦКИЙ КУРГАН*

В Жигулёвских горах атаманы ветра,
 А лесную тропу сторожит мошкара.

Но ведут на вершину чабрец и полынь —
 И в глаза не вмещается волжская синь.

О пристанище-вольница буйным богам!
 Дай примерить твой шлем,
 Молодецкий курган!

Эту гордую реку ты выгнул дугой,
 Эти камни под Стенькиной были ногой.

Эти русские волны, послушно дружны,
 По-персидски расшили накидку княжны...

Там, где Волге в подмогу впадает Уса,
 Поднимают утёсы свои паруса.

Города и деревни поют вдалеке
 О великой реке, о Самарской Луке.

Только Девья гора не поднимет лица —
 Уронила чело на плечо Молодца.

И впечатает в память гряды за грядой,
 И Лепёшку запьёшь родниковой водой.

И, не вытерев капель с горячей губы,
 Обернёшься на зов Жигулёвской Трубы**.

* * *

Мне снилось: над степью и Волгой
 Горящий летел самолёт,
 И падал горячий осколок
 Туда, где купался народ.
 Глаза у забывшего шалость
 Сынишки тревогой полны,
 И девочка с криком бежала

* Молодецкий курган, Девья гора, Лепёшка — названия гор в Жигулях;

** Жигулёвская Труба — залив и одноимённый овраг

Ко мне от бурлящей волны.
Последние вспыхнули кадры
Пожара над степью — и мгла...
Я сон позабыла назавтра.
Бед не забыла — пришла.

Садится остывшее солнце,
Чернеющий день моросит,
И мне, может быть, остаётся
У неба прощенья просить —
За сон, что беду напрогочил,
За грубо оборванный путь.
Знобит, и наброшен платочек
Концами крест-накрест на грудь.
Преследует запах полынный
И девочкин профиль в дыму.
И мальчик, похожий на сына,
Растерянно смотрит во тьму...

ТАБЛИЧКИ СИНИЕ ПРИЧУДЛИВО МЕШАЯ

Где майский Бор полощет даль
За Красной Горкой,
Дают младенчеству медаль
За город Горький.

Качает ласково у Лыскова водица,
Чтоб до Макарьева дойти и воротиться.
А там зефиры куполов — тебе гостинец.
Кто воротился, назовётся Воротынец.

Идёт родимое, да вспять,
Оброк взимает,
Ершистый Сундовик опять
Мосты ломает.

По бездорожью, по песку до Сельской
Мазы
Возили зилы и чумазные уазы.
Но был так светел уголок и ласков
слишком,
Что назывался он не Яром, а Яришком.

Опять зовут к себе пожить
Валки, где волки,
И шустро Керженец бежит
До самой Волги.

Ступая в след, созвучно папиной походке,
Ищу не отдыха себе — ищу Работки.
И вот когда земля в ногах задышит чаще,
Внезапно Выползово выползет из чащи.

Я здесь, живая, во плоти,
Промолвлю тихо:
Хотя б пушинкой прилети,
Перелетиха!

Таблички синие причудливо мешая,
Со мной в лото играет девочка смешная
С далёкой улицы того, кто всех живее, —
Она жила когда-то здесь и не жалеет.

ЕЛАБУГА

*Рахиму Гайсину,
Эдуарду Учарову,
Евгению Морозову*

1

В Елабуге сердце ищет
Сокровища древних лет...
Над Чёртовым городищем
Звезда прочертила след.
Безжалостный день вчерашний
Под корень крошит века,
Но крепкою пломбой башня
Стоит на горе пока.
А всадник на лобном месте
Поводья зажал в горсти.
Над Камою полумесяц
Подковой в ночи блестит.

2

Елабуга, ты запала
В меня белизной берёз.
Часовня Петра и Павла
Ослепла от долгих слёз.
На серых камнях дорожек
Рябиновый бьётся след.
Приводит сюда прохожих
Марины нетленный свет.
Отцовыми именами
Сроднились навек с тобой.
Позволишь ли между нами
Тебя называть сестрой?..

3

Елабуга, муза марта,
Пролеска грядущих дней,
Высокая песня барда
Летит из груди твоей
За дверь университета
И выше кирпичных стен –
Туда, где кричат поэты
На вымученном листе,
Где Шишкин кистями сосен
Расписывает пейзаж...
Елабуга, сколько вёсен
Возьмёшь ты на карандаш?..

ПЕСНИ МАРИЙСКИХ ОЗЁР

Валере Орлову

1.

У марийского бога
Рубашка – атлас,
Бирюзовое око –
Морской глаз.

Порассыпал на радость
Песен в траве,
А ещё и осталось
В рукаве.

2.

Собирайте по склонам,
В междуречье корней,
В тростниках на Зелёном –
Там верней.

На глубинах ищите,
Где мерещится сом.
День, как будто песчинка,
Невесом.

3.

Тянут с облаком невод,
Бьётся солнце поверх.
– Как зовут тебя, небо?
– Кичиер.

4.

Погружённое в грёзы
Мушаньерское дно.

Из кубышек стрекозы
Пьют вино.

5.

От поющего камня
Поверни на восход,
Отворяя стихами
Восемь нот.

Выйдешь к старому дубу
И прижмёшься плечом.
Рядом – думает думу
Пугачёв.

Други – ёлки да палки,
А дозор – комарё.
Лешаки да русалки –
Всё зверё.

Выгнет спину, как кошка,
Ощетинится лист:
Путник, путник, немножко
Задержись!

Вскрикнет сзади идущий,
Разыграется нерв.
Зыркнет оком из пущи
Конан-Ер.

ПРИБАЛТИКА

Я помню, поезд плыл морозной ночью...
Студенческая братия Самары,
точнее, Куйбышева, сессию окончив,
вперёд состав весёлый разгоняла.
В Москве мы день гуляли по Арбату
(и где ты ныне, фантик эскимо?),
да так, что от сапог ушла подошва –
я новые себе купила в ГУМе.

Куратор, седовласая еврейка,
везла своих девчонок поклониться
святыням Минска, Бреста и Хатыни –
остались в памяти обугленные стены,
и колокол, и каменные слёзы...

Но нас ждала Прибалтика – кусочек
другого мира, странного немного,
звучащего нелепо, но прекрасно,

как узких улочек готический мотив.
И Каунас, и Клайпеда, и Рига
сплелись в моём сознании, подобно
трём стрелкам потревоженных часов,
когда заходишь в лавку антиквара.
Казалось бы — уже ушло их время,
но шестерёнки крутятся в тебе.

Два белых лебедя, похожих на
скульптуры,
царящих в тёмных водах зазеркалья
в короне белоснежных берегов.
Музей Чюрлёниса, и музыка, и волны,
симфония воздушных пузырьков,
зелёное, слоистое, чудное...

Другой музей — название я помню,
но называть не хочется, поскольку
просила мама словом не играть,
а дедушка подшучивал над ними
и рисовал, бывало, на газете
их морды, и копыта, и рога...

Летающие высокие ворота
(за петушком ли золотым на шпиле?) —
и Домский ригорический собор,
где я орган услышала впервые,
держась за восхищённые колонны...

И узких улочек готический мотив...

Ветрами просолённая Паланга,
следящая холодными глазами
за Эгле, королевую ужей.
Так ветрено, что бронзовое платье
готово улететь из рук её...

Балтийский берег Куршского залива —
заснеженное тусклое светило
боится, видно, выпустить лучи:
не разбудить бы море ненароком.
На берегу напрасно мы искали
осколки золотого янтаря —
конечно, он давно уже разобран
неисчислимым полчищем туристов...
Зато мы увозили в пухлых сумках
чудесный прибалтийский трикотаж
и посвящённых после узнавали
по их жакетам, юбкам и платкам...

Но был ещё и старый добрый Вильнюс,
ведь только здесь могла бы я увидеть
величественный маятник Фуко,
непогрешимодвигающий в лузы
тяжёлый шар, сияющий, как солнце
над мраморным песочным циферблатом.

...Легко и точно двигаются стрелки
старинных потревоженных часов.
Казалось бы — уже ушло их время,
но шестерёнки крутятся в тебе...

СЫЗРАНЬ

Сызрань — сыздавна, сызмала, сызнава...
Деревянное кружево крыш...
Кисть берёзы окошки забрызгала,
У которых с восторгом стоишь —

Человечишко перед вершинами —
Лепотою высокой объят.
Бирюзовая арка с кувшинами,
Где бывало, как вина, хранят.

Сызрань — сызнава... Бросит украдкой
В Крымзу солнце — сверкают круги —
И протянет с кремлёвской печаткою
Пятиречье, как пальцы руки.

Сызрань — сыздавна, сызмала, сызнава
Белой птицей уходит в полёт
И, мелодию вечности вызная,
На земле в красном камне поёт.

То светло, виновато печалится,
Не скрывая морщин на челе.
И берёза в окошке качается:
Удержись, утерпи, уцелей!..

Жив лишь только молитвами деревца
И, быть может, отвагой своей,
Там балкон до последнего держится
С благодатью купеческих кровей.

НЕЖНОМУ НИЖНЕМУ – ИЗ КАЗАНИ

Скоро зима.

Я давно безнадёжнейший мистик:
Всё превратится в золу
и рассыплется в прах.
Снег с аппетитом глотает зелёные листья –
Те, что ещё не успели увянуть в садах.

Но ведь и я ничего рассказать не успела –
Осень в своей кочегарке поэзы сожгла...
Жёлтый, зелёный и красный
венчаются белым,
Господи, как же корона твоя тяжела.

Пухнет земля, прирастая опавшей печалью –
Плотью и кровью кленовой, костями ветвей.
Всё породнится
с подземною речкой Почайной
И обернётся ночью Покровкой твоей.

Мир, златоустым и трепетным
некогда слывший,
Сжался сегодня до вороха
жалких листов...
Колокол нашей Варваринской
будто бы слышал
Нижегородской Варварской
потерянный вздох...

И РАДУЮСЬ О ТЕБЕ

Люби меня беспредельно
И пуще стихов алкай,
И ночью люби, и денно,
И в рубище, и в шелках.

Люби меня на излёте –
Моей ли, своей руки –
Изменчивой позолоте
И времени вопреки.

Забыв пересуды граждан,
Избытое мной прочти,

Люби меня, вечный стражник
Лукавой своей мечты.

Объятием обознача
Спасательный круг в мольбе,
Я просто о жизни плачу
И радуюсь о тебе.

СОХРАНИТЬ КАК ЧЕРНОВИК

Черновики, черновики
я отпускаю из руки...
Летите, милые, в тот круг,
туда летите,
где абрис тонок и упруг
у Нефертити.

Я – невеличка, мир – большой,
в нём сильный слабому чужой.
В нём обходительны друзья –
они обходят,
и снисходительны князья
к чужой свободе.

И я двухсотую печаль
таю у левого плеча,
но в женской нежности метельной,
тонкорукой
я всё же многого сильнее
в этом круге.

Там ты со мной на выдох-вдох,
а боль всегда звучит как Бог...

* * *

Слово, соловушко, соловей,
тёплое гнёздышко в сердце свей,
звонкое серебро оброни,
чёрного ворона прогони.

Чёрная птица речёным днём,
страшно крича, залетела в дом.
И, превращая уют в бедлам,
эхо металось по всем углам.

Слово, соловушко, истый свет,
русой весны молодой поэт,
выменяй ноченьку до утра
на серебро своего пера,

на колокольчики чутких нот,
где покаянье берёт отсчёт...
Слово, соловушко, малый птах,
что же ты медлишь в моих устах?

КАЛИТКА ДЛЯ ПТИЦ ДОЛГОЙ ЗИМЫ

Из сора растут не только стихи. Порой из него появляются на божий свет книги и ростки общественных начинаний.

Культурная жизнь в современной России похожа на огромную гору, в которой ценные ископаемые спрятаны под горами отбросов. И просеивать их — дело весьма кропотливое и часто, увы, неблагодарное. Но чем больше трудностей удаётся преодолеть — тем полновеснее радость удачливого старателя. Аналогичная ситуация и в нашей республике.

Тем примечательнее, что в Казани на ниве просвещения — или, как сейчас модно говорить, — культуртрегерства — недавно яркими звёздами засияли новые имена. Это — Эдуард Учаров и Галина Булатова. Будучи не только прекрасными поэтами и авторами нескольких собственных сборников (Галина к тому же — наряду с Алёной Каримовой, Наилем Ишмухаметовым и др. — один из лучших переводчиков; на её счету более 200 переведённых с татарского языка стихотворных текстов), они в то же время активно принялись знакомить читателя с именами забытых поэтов.

Говорить о своих друзьях непредвзято — сложно. Тем не менее, думаю, не будет преувеличением сказать, что их самоотверженный труд заслуживает всяческой похвалы и уважения. Судите сами...

Одним из ценнейших подарков читателю, безусловно, можно назвать вышедшую в позапрошлом году в Татарском книжном издательстве книгу Ивана Данилова «Птица долгой зимы». Как же она пробивала себе путь? Так получилось, что этот замечательный поэт, подборка которого представлена в данном номере, был практически забыт. Как-то Эд сказал мне, что в антологии «Как время катится в Казани золотое» он наткнулся на стихи неизвестного ему автора, которые произвели на него огромное впечатление. Он сразу стал расспрашивать людей старшего поколения, но никто почти ничего не мог о нём сказать. Ни одной книги Данилова в библиотеках Казани не нашлось. Наконец, главный редактор журнала «Казань» Юрий Балашов дал адрес родственников Ивана, и те предоставили Эдуарду архив.

Но это было ещё половиной дела. Вырезки из потрёпанных газет, дневниковые записи и стихотворные рукописи находились в таком плачевном состоянии, что порой Эдуарду и Галине приходилось буквально по буквам расшифровывать размашистую скоропись автора. Квартира их в ту пору больше



походила на армейский штаб — по всему полу и на всех горизонтальных поверхностях лежали разрозненные материалы, которые необходимо было перевести в электронный вид, систематизировать и довести до «читабельного» состояния. Иные тексты казались явно черновыми набросками, другие требовали небольшой отшлифовки и окончательного редактирования. На это ушёл целый год. Стоит ли удивляться тому, что книга, изданная тиражом в тысячу экземпляров, разошлась почти мгновенно?

Не меньшим откровением для любителей отечественной литературы стала изданная Эдуардом и Галиной на коллективные пожертвования небольшая брошюра первого русского романтика Гавриила Каменева.

Приходится констатировать, что один из столпов российской поэзии, основоположник русского романтизма и балладного жанра, тонкий лирик, о котором весьма лестно отзывался Пушкин, до сих пор не удостоен полного собрания сочинений...

Эдуард и Галина создали инициативную группу, целью которой стало увековечивание памяти выдающегося поэта. Появился проект создания в сосновой роще Кизической слободы, где любил проводить своё время Каменев, посвящённой ему ротонды. Разных уровней чиновники, с которыми общались представители группы, как правило, встречают эту идею восторженно. Но, увы, вопрос, как обычно в таких случаях, упирается в отсутствие бюджетных средств. Прошлой зимой участники группы возложили на территории упомянутой рощи, где ныне находится парк Дворца химиков, символический камень — основание будущего памятника. По всей видимости, впереди ещё много трудов и борьбы, но почитатели таланта Гавриила Каменева всё же верят, что росток проклюнулся, и можно верить, что рано или поздно историческую справедливость удастся наконец восстановить — как написал в одном из своих стихотворений сам Эдуард: «...чтобы Каменев пал с души...».

Нельзя также не упомянуть концептуальный сборник «Казанский объектив» (автор идеи Эдуард Учаров), презентация которого прошла в декабре 2015-го года в музее Боратынского. В нём дан мгновенный, как бы запечатлённый внезапной фотовспышкой, срез поэтической жизни татарстанской столицы — тридцать шесть авторов предоставили по одному, самому свежему своему стихотворению. И все они сопровождаются блиц-комментариями екатеринбургского поэта и критика Сергея Ивкина и послесловием москвича Андрея Пермякова.

И тут тоже пришлось, что называется, по крохам собирать деньги. И, разумеется, крайне сложно было в короткие сроки сделать вёрстку (а многие авторы, как это водится, присылали свои тексты в последний момент), договариваться с типографией и т. д.

Но, возможно, самым ярким событием литературной жизни последних лет стало открытие в центральной городской библиотеке на улице Вишневского «Калитки» — казанского литературного кафе.

И неудивительно, что самой подходящей кандидатурой на роль «хозяина» оказался Эдуард. Вот уже почти год как он является бесменным ведущим всех проходящих в этом



уютном зале мероприятий. А их немало: каждую среду и пятницу там проводятся вечера из цикла встреч с казанскими поэтами и прозаиками, городскими лито, лекции, тематические «посиделки», нередко звучат песни.

Навещают «Калитку» и иногородние авторы. Так, осенью прошлого года в ней нашли самый тёплый приём челнинские поэты — Николай Алешков, Ольга Кузьмичева-Дробышевская, Светлана Летяга и Олег Лоншаков; состоялась встреча с проживающим ныне в Подмоскowie прозаиком Айдаром Сахибзадиновым, переехавшей в Кострому поэтессой Верой Арямновой. Запомнились лекции Айрата Галимзянова — на тему художественного перевода, а также философа Камиля Хайруллина — «Космизм в творчестве Александра Блока».

Разумеется, и тут не всё так просто. Интенсивность работы столь высокая, и желающих выступить так много, что график приходится порой по несколько раз переделывать. А ведь ещё надо обговаривать с авторами детали вечера, рисовать афиши, заблаговременно распространять информацию в социальных сетях, не забыть угостить посетителей бесплатными кофе и чаем...

В декабре родился первый коллективный сборник «Калитка-2016», и почти сразу прошла его презентация. Авторы читали свои стихи возле новогодней ёлки, украшенной афишками почти всех выступавших в ней в этом году казанских поэтов,

Культурная жизнь, — как птица долгой зимы, — возрождается, пробивая себе дорогу сквозь тернии, и «Калитка», оправдывая своё название, открыта всегда и для всех. Пожелаем же её организаторам, а вместе с ними — и любителям художественного слова, удачи и новых радостных встреч с прекрасным!

Филипп ПИРАЕВ

От редакции. Подборка стихотворени Ивана Данилова опубликова на стр. 176. Стихи Гавриила Каменева и статья о нём Эдуарда Учарова будут опубликованы в следующем номере «Аргамака».





От «Молодёжки» до «Комсомолки» ЧЕРЕЗ БРАЙТОН-БИЧ

К цветной вклейке работ казанского фоторепортёра Рамиля Гали.

Нашей с Рамилем дружбе ровно четверть века. А познакомились мы в начале девяностых, устроившись в еженедельную газету «Молодёжь Татарстана», которую тогда возглавила Римма Атласовна Ратникова — ныне председатель Союза журналистов Татарстана, заместитель председателя Государственного Совета РТ. Мы начинали в «Молодёжке» практически одновременно, мы были молоды и веселы. И с Рамилем быстро сошлись, потому что ровесники и оба не казанские. Но не зря говорится, что родина человека не там, где он родился, а там, где он нашёл себя!

Рамиль родился в Челябинске, вскоре родители увезли его в Сочи. Судьбе понадобилось сделать этот круг: и Гали снова родился в Челябине — тридцать лет спустя — как профессиональный фотограф! Туда, на малую родину, его послали от газеты «Татарстан яшьләре» на всероссийский семинар ответственных секретарей и фотокорреспондентов молодёжных изданий. И московские мэтры объявили Рамиля победителем конкурса домашних работ, его снимки вскоре напечатал престижный журнал «Советское фото»... Так его имя попало в общероссийскую обойму, начался его путь в профессии.

Я любил спускаться к нему в фотолaborаторию на первом этаже, чтобы отдохнуть от суеты секретариата, полистать альбомы и книги, перевести дух. При Ратниковой «Молодёжка» гремела, наша жизнь в газете была бурной, яркой, интересной, но с уходом Риммы Атласовны в политику вся наша дружная редакция потихоньку разбрелась. Чтобы собраться позже (далеко не в полном составе) в «Казанских ведомостях», которыми поныне руководит Венера Якупова — также начинавшая с «Молодёжки». Там мы снова пересеклись с Рамилем и даже немного сотрудничали на одном интернет-ресурсе. Там Гали и поведал мне свою «одиссею».

Кстати, на первом опубликованном им в «Комсомольской правде» снимке был запечатлён ваш покорный слуга, с кружкой пива в руке, с воблой на смятой «Вечёрке». Как вспоминал Рамиль, по совету Венеры Якуповой он заявился в московскую редакцию «Комсомолки» с рюкзаком волжской воблы — и фотокоры «КП» тут же послали сироту казанскую за пивом! Они же и посоветовали сделать такой «постановочный» кадр. Рамиль предложил мне сняться, раз имею актёрское образование.

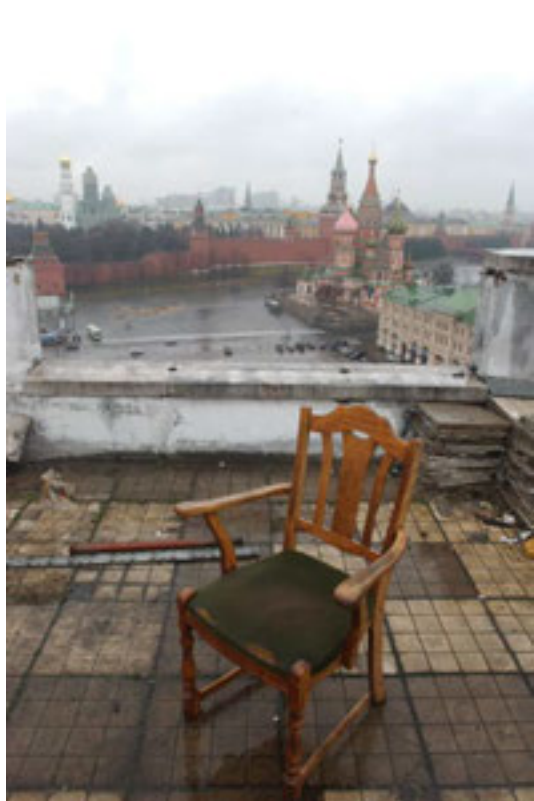
ОТ «МОЛОДЁЖКИ» ДО «КОМСОМОЛКИ» ЧЕРЕЗ БРАЙТОН-БИЧ





ОТ «МОЛОДЁЖКИ» ДО «КОМСОМОЛКИ» ЧЕРЕЗ БРАЙТОН-БИЧ





ОТ «МОЛОДЁЖКИ» ДО «КОМСОМОЛКИ» ЧЕРЕЗ БРАЙТОН-БИЧ





ОТ «МОЛОДЁЖКИ» ДО «КОМСОМОЛКИ» ЧЕРЕЗ БРАЙТОН-БИЧ



ФОТОРЕПОРТЁР РАМИЛЬ ГАЛИ



В моём архиве хранится тот старый, ещё черно-белый номер с моим портретом работы Гали.

Поначалу Рамиль попал в «кремлёвский пул». И первую же съёмку первого лица (дело было в первые годы президентства Путина) новоиспечённый фотокор «Комсомолки»... завалил! Дело в том, что он не привык толкаться локтями с операторами и фоторепортёрами других изданий. В Казани была своя этика профессиональных взаимоотношений.

На вторую протокольную съёмку, в загородную резиденцию президента, Рамиль Гали явился загодя, два часа мыкался у парадного подъезда, пока на него не обратили внимание охранники. Позвали сотрудников пресс-службы, те поинтересовались, зачем приехал так рано... Рамиль признался, мол, росточком не вышел, из-за спин своих коллег снять ничего не сможет, а толкаться воспитание провинциальное не позволяет. Вот и решил приехать заранее, чтобы попасть внутрь первым, как только дадут команду журналистам... Над «комсомольцем с приветом» посмеялись, но с тех пор всегда подпускали ближе к «самому», кстати, тоже росточком не очень.

И только всё стало налаживаться, а в подмосковном Долгопрудном квартира строиться, как главный редактор Владимир Сунгоркин объявил, что намерен сделать «Комсомолку» таблоидом. Срочно понадобились фотографии звёзд и дельцов шоу-бизнеса, скандальные снимки и прочее. Гали кинули на проблемное направление.

— Политиков снимать было очень комфортно, — признался Рамиль. — Работа дневная, заранее известно, в какое время тебя «допустят к телу». Отснял за пять минут — и свободен. Спишь спокойно. А светская жизнь Москвы проходит ночью, на пьяных тусовках, и приходится долго охотиться за нужными кадрами.

Полгода он не мог снять ничего скандально интересного. Суровые секьюрити отгоняли папарацци от популярных певцов, не давая снимать узнаваемых лиц, напившихся до неузнаваемости. Но и тут судьба повернулась к Рамилю нужным ракурсом.

Из охранного агентства «Карат» позвонили и спросили, нет ли у фотографа Гали снимков их ребят. Тех самых, что не давали Рамилю снимать светскую хронику. Само собой, двухметровые парни всегда попадали в кадр, Рамиль Гали напечатал около сотни снимков и привёз им солидное портфолио. Руководство «Карата» кадры одобрило и приобрело для своей книги. Но Рамиль денег не взял, а попросил, чтоб их секьюрити не оттирали больше его от персонажей светской хроники. Так в «Комсомолке» стали появляться самые эксклюзивные снимки с закрытых тусовок самых знаменитых звёзд — от Аллы Пугачёвой до Серёжи Зверева! Двухметровые парни, как своего, подпускали его всё ближе к звёздам. Постепенно в той тусовке и Гали сошёл за своего, певцы и актёры стали ему доверять. А руководство «КП» поручило Рамилю фоторепортажи с фестиваля «Кинотавр», который ежегодно проводился в Сочи. Так он снова оказался в городе своего детства. Сочинские съёмки проходили в основном на закрытых пляжах. Потом Рамиль Гали снимал загорающих под солнцем людей и в Серебряном бору, и на пляже в Долгопрудном, где долевое строительство жилого дома, наконец, закончилось. И он стал обладателем подмосковной жилплощади.



Рамиль Гали

Можно было теперь подумать и о том, чтобы перевезти семью в Москву... Но супруга с дочкой отказались уезжать из Казани. А жить на «два дома» за десять лет Рамилю надоело. Да и Москва, честно говоря, стала казаться тесной. И хотя в звёздной тусовке Гали примелькался и даже стал немного знаменит (благодаря конфликту с Дмитрием Певцовым, закончившимся судебным разбирательством и многими публикациями), но всё равно Рамилю хотелось попробовать себя в новом качестве. Или в новых условиях.

Он долго выбирал между Австралией и Америкой. Пока Венера Якупова не подписала ходатайство, дескать, фотокорреспондент Рамиль Гали едет снимать татар в Нью-Йорке. По редакционной бумажке «Казанских ведомостей» в посольстве США без лишних вопросов выдали визу. Так Рамиль оказался на Брайтон-Бич.

Он решил попробовать всё сначала. Объявление о вакансии журналиста нашёл в русскоязычной газетке, позвонил туда, спросил, может, им фотокорреспондент «Комсомолки» на что сгодится... На том конце провода ответили: ты сам откуда, друг?

— Из Казани, — ответил Гали.

— Так ты Женю Канаева знаешь! — обрадовались на другом конце.

Оказалось, что Женя, наш зеленодольский парень, давно живёт в Нью-Йорке, выпускает глянцевый журнал по туризму. Он с удовольствием взял Рамиля, правда, не в штат, а на гонорары, поскольку с гостевой визой за границей трудоустраивать запрещено. Зеленодольский американец свёл Гали и с сотрудниками казахского представительства. Давно замечено, за границей Казань и Казахстан часто путают, и казахи приняли Рамиля за земляка, благо похож. Даже предлагали перейти к ним на постоянную работу, персональной выставкой сманивали, обещая устроить «Гали-галерею» прямо в помещении их представительства. Вписывали его в списки сотрудников на официальные мероприятия. А Рамиль из России взял только джинсы и свитера, спасибо хозяину брайтоновской гостиницы, с которым Гали свёл дружбу, тот снабдил Рамиля парой приличных костюмов с чужого плеча.

В них Рамиль и фланировал по Манхеттену. Там, в давно заброшенной промзоне, образовался Сохо — престижный богемный мир галерей современного искусства, рай для фотографов всего мира. Гали представил галеристам свои работы, эксперты забраковали снимки всех российских звёзд и топ-моделей (наших там никого не знают, у них своего добра полно), однако сразу отобрали цикл работ «Люди под солнцем». Предложили напечатать (за 5 тысяч долларов) или ждать своей очереди три месяца... Пяти тысяч и трёх месяцев у Рамиля в запасе не оказалось. Остаться в Америке с просроченной визой (так многие, конечно, поступают) юрист отсоветовал:

— Вы лучше вернитесь в Москву, а потом снова оформите визу — и тогда приезжайте. Иначе Америка для вас будет закрыта навсегда.

Рамиль вернулся в Россию. Из Москвы отправился в Казань. И понял, что нашёл то, что искал. Дочь родила внучку. На работу пригласили в «Комсомольскую правду». А цикл «Люди под солнцем» дополнили казанские пляжи. В прошлом году персональная выставка с таким названием успешно прошла в казанском музее художника А. Мазитова.

Можно было бы закончить свой рассказ нестареющей фразой, мол, всё возвращается на круги своя. Впрочем, подозреваю, для Рамиля Гали это возвращение — лишь начало нового цикла. Он задумал новый проект — и снова сманивает меня принять в нём участие, написать для него что-то вроде сценария. Поэтому не будем писать этого грустного слова — конец...



ПО ТРОПАМ СИХОТЭ-АЛИНЯ

КАМИЛЬ ЗИГАНШИН



ЩЕДРЫЙ БУГЕ

*Повесть о необыкновенных и удивительных приключениях охотника-промысловика
в глухой дальневосточной тайге.*

*Здесь у костра не хвастают, не лгут,
не берегут добро на всякий случай...*

Юра Сотников

О КАМИЛЕ ЗИГАНШИНЕ И ЕГО ПРОЗЕ

Проза Камиля Зиганшина подробна, натуральна и вместе с тем высокодуховна. Звери, птицы, деревья, скалы, реки присутствуют в ней не в качестве фона, на котором разворачиваются действия, а, наполненные добротой и талантом художника, живут, дышат и разговаривают, пытаются донести до читателя простую мысль: человек не царь Природы, а лишь её часть и, если честно, не лучшая.

Его повести об обитателях тайги «Щедрый Буге», «Маха, или История жизни кунички», «Боцман», «Возвращение росوماхи» сразу покоряют и очаровывают сочностью, красочностью языка, живописными картинками природы, прекрасным знанием повадок зверей и, что немаловажно, увлекательным сюжетом. Их с удовольствием читают люди любого возраста. И в его романах о старообрядцах «Скитники», «Золото Алдана», выдержавших не одно издание, также много глав посвящено диким животным.

Прожив несколько лет в дебрях Уссурийского края, Камиль научился думать и чувствовать по-звериному. Смотреть на всё глазами своих героев. Благодаря такому взгляду изнутри и мы — читатели — проникаемся любовью, уважением к ним, нашим «братьям меньшим», как говорил Сергей Есенин.

К повести «Возвращение росوماхи» писатель использовал для эпиграфа слова Дерсу Узала из одноимённой книги В.К. Арсеньева: «Звери тоже люди, только говорят на своём языке и ходят на четырёх ногах!». Это кредо и самого Камиля Зиганшина.

К сожалению, в обществе бытует упрощённое представление о жизни животных. Их поведение упорно и эгоистично трактуется как совокупность рефлексов и инстинктов. Мол, нет у них рассудочной деятельности, что она присуща только человеку! Но, если приглядеться, действия и поступки многих животных, как домашних, так и диких, каждодневно доказывают: не всё в их поведении объясняется инстинктами. Они... мыслят! У каждого из них, как и у людей, свой характер, свои привычки, свои цели. А жизнь

иных сообществ организована до того гармонично и целесообразно, что впору и людям поучиться.

Повесть Камиля Зиганшина «Щедрый Буге» как раз об этом.

Приглашаю читателей погрузиться в необычный, первозданный и волнующий мир Сихотэ-Алинской тайги.

*Николай Николаевич Дроздов,
профессор Географического факультета МГУ им. М.В. Ломоносова,
автор и ведущий телепередачи «В мире животных»*

ЧАСТЬ I

*Человек за всё должен платить, а за удачу особенно.
Лукса*

ВЛАДЕНИЯ ЛУКСЫ

15 октября 1974 года.

Под нами величественная панорама безлюдной, дикой местности: хребты, межгорные впадины, быстрые пенистые речки. В той стороне, куда мы летим, особняком возвышается плотная группа скалистых гольцов.

Пассажиров в вертолёте двое. Я и мой наставник Лукса, удэгеец лет пятидесяти.

Опытный промысловик расположил меня к себе с первого взгляда. Невысокий, худощавый, подвижный. Сильные руки, словно кора старого дерева, испещрены глубокими трещинками морщин и перевиты набухшими венами. Мороз, ветер, солнце, дым костров продубили его скуластое лицо с реденькой растительностью над верхней губой и на подбородке. В чёрных прямых волосах несмелый проблеск седины. Живые тёмно-карие глаза, словно магниты, невольно притягивают взор. Впечатление такое, что они всё время смеются, радуясь жизни. Глядя в них, и самому хочется улыбнуться и сделать что-то хорошее, доброе.

Он сидит напротив и успокаивающе поглаживает собак. Я же с волнением всматриваюсь в проплывающие под нами кряжи древнего Сихотэ-Алиня и никак не могу поверить в то, что моя заветная юношеская мечта исполнилась: я принят на работу в Лазовский госпромхоз Хабаровского края штатным охотником и скоро окажусь на промысловом участке, охватывающем бассейн ключа Буге — левого притока реки Хор...

Вертолёт вошёл в крутой вираж и, сделав два круга, мягко опустился на заснеженную косу, отделяющую устье ключа от реки. Наши собаки, Пират и Индус, ошалевшие от грохота двигателя, прыгнули на снег, едва открылась дверь. Мы же, прежде чем выйти, сбросили на косу нехитрый багаж. МИ-4 прощально взревел и, обдав нас колючим вихрем, взмыл в небесную синеву.

Мы огляделись. Над нами торжественно и необъятно голубело небо. На снегу ни единого следочка. Мне представилось, что это чистый лист бумаги, на котором нам предстоит записать историю охоты длиной в сто двадцать дней.

Вокруг громоздились типичные для этих мест крутобокие сопки, щетинящиеся, словно встревоженные ежи, островерхими, тёмными елями и более светлыми разлапистыми корейскими кедрами. На противоположном берегу, над Хором отрог, обрывающийся в речную гладь неприступной двухсотметровой стеной. Его гребень украшали огромные, источенные временем каменные иглы и зубчатые башни, напоминающие развалины старинной крепости.

Хор ещё не встал и тянулся холодной, чёрной лентой, разрезая белое покрывало. Сквозь прозрачную воду были видны лежащие на дне пёстрые, обезображенные брачным нарядом и трудной дорогой к нерестилищу кетины. Уровень воды в реке упал, и часть рыбин оказалась на галечном берегу. Наши собаки тут же воспользовались возможностью полакомиться. В их довольном урчании слышалось: «Райское место! Тут голодать не придётся!»

* * *

Так получилось, что Лукса в преддверии сезона остался без напарника. Его товарищ Митчена, деливший с ним радости и невзгоды промысловой жизни в течение многих лет, совсем потерял зрение и перебрался к дочери в райцентр — Переяславку. Это обстоятельство меня и выручило. Лукса, правда не без колебаний, согласился взять меня — городского, неопытного очкарика на свой участок.

Хотя день только начинался, удэгеец поторапливал: предстояла большая работа по обустройству становища.

Взбираясь на берег, слышали задорный посвист. Его невозможно спутать ни с каким другим лесным звуком — рябчик! Судя по мелодии, петушок. Лукса движением руки остановил меня, а сам спрятался за ствол ели и, достав самодельный манок, ответил более глухим переливом курочки. По треску крыльев было件нятно, что рябчик перепорхнул ближе. Он опять подсвистел. Хлопки слышались совсем рядом. Тут и я разглядел петушка. Вытянув шею и нетерпеливо переступая по ветке берёзы, он высматривал подружку.

— Живой, — радостно прошептал охотник. — Четвёртый сезон так встречает. Со всем свой стал.

Луксин «свояк» подлетел ещё ближе и с явным интересом разглядывал нас. Вынырнувший из кустов Пират, не разделяя чувств хозяина, с лаем запрыгал под деревом. Петушок встрепенулся и, спланировав, растворился в буреломной чаще.

Надо сказать, наши четвероногие помощники резко отличались друг от друга. Пират — рослый, нахрапистый, с хорошо развитой мускулатурой, быстрой реакцией и нахальными глазами. Индус, напротив, — вялый, тщедушный. При появлении Пирата он поджимал хвост и отходил в сторону. Столь же резко собаки различались и по окрасу. Пират белый, только кончики подвижных ушей и хвоста чёрные, а Индус серо-бурый. Попал он в нашу компанию случайно. Когда мы загружали в удачно подвернувшийся вертолёт мешки со снаряжением и продуктами, на краю поляны сидел и наблюдал за нашей беготнёй одинокий пёс. Я на ходу кинул ему кусок хлеба. Тот, не жуя, проглотил его и бочком, не сводя с меня грустных глаз, подошёл к трапу.

— Быстрее поднимайся, летим, — крикнул мне Лукса.

Оказавшись в салоне, я оглянулся. Собака молча, одними глазами, просилась к нам.

— Может, возьмём? Вдруг у неё талант к охоте?

— Бери, бери. Пиратке веселей будет, — согласился наставник.

* * *

Перетаскав вещи к становищу, занялись дровами. Двуручной пилой кое-как свалили сухостойный кедр. Отпилили и раскололи несколько смолистых чурок. Комель был настолько насыщен смолой, что полено, брошенное в воду, тонуло, как камень. Отвалившиеся от ствола куски красноватой ребристой коры изнутри были усыпаны личинками, куколками — что-то недоглядели дятлы за лесным патриархом. На ночь кедр не годился — быстро сторает. Поэтому напилили ещё и сырого ясеня. Он горит долго и даёт много жарких углей.

Очистив на небольшом пяточке, свободном от кустов, землю от снега, поставили удэгейскую палатку с матерчатыми сениями, вроде половинки небольшого чума. (В них удобно хранить дрова и капканы). Главной особенностью удэгейской палатки является то, что она устанавливается не с помощью стоек и колышков, а крепится внутри каркаса из жердей. Очень удобная конструкция для зимы, когда колышки в промёрзшую землю забить практически невозможно.

Посреди палатки поставили жестяную печурку. По обе стороны от неё накидали лапника, расстелили кабаньи шкуры, поверх них — спальные мешки. Отпиленную от ясеня низенькую, но увесистую чурку-столлик пристроили в головах между спальниками. Слева и справа от печурки уложили сырые ольховые брёвнышки: чтобы спальники и одежда не подгорали. Под коньком закрепили перекладину с крючьями для сушки одежды. Закончив обустройство жилища, смастерили между тремя пихтами на высоте около двух метров настил для хранения продуктов — лабаз, а под ним шалашики для собак из мягких ветвей пихты.

Индус тщательно обследовал обе «конуры» и лёг в ту, что счёл удобней. Заслышав приближение убежавшего было Пирата, он притворился спящим. Но тот не проявил ни малейшего интереса к пихтовым гнёздам, а усевшись возле груды дров, принялся выкусывать кусочки льда, намёрзшие между подушечками пальцев.

Завершив «строительные» работы, мы уселись на поваленную сушину и, наконец, расслабились. Довольные проделанной работой, с наслаждением наблюдали заход светила.

Золотистый свет плавно скользил по снегу, стволам деревьев. Поднимаясь всё выше и выше, он выманивал из глухих распадков и ложбин таившуюся там серую мглу. Ряд за рядом темнели деревья, сопки. Вот потемнела и макушка самой высокой. Лёгкие облачка ещё некоторое время отражали прощальный свет солнца, скрывшегося за обгорелыми зубцами сопки, но и они вскоре потускнели, погасли. Нарождающаяся ночь осмелела, выползла из мрачного ущелья, укрывая всё окрест чёрным покрывалом. Тайга и небо слились. Неясные силуэты деревьев проступали только вблизи, принимая самые фантастические очертания.

Проводив день, забрались в палатку, зажгли свечу. Лукса набил чрево печурки поленьями и запалил смолистую щепу. Железные бока вскоре порозовели и стали щедро возвращать накопленное кедром за добрую сотню лет солнечное тепло.

Приятно запахло хвоей. Палатка постепенно наполнялась жилым духом. Заварив чай, устроились пить живительный напиток вприкуску с прихваченной с собой олениной.

— Лукса, а почему вы зимовье не постройте? — задал я давно вертевшийся на языке вопрос.

Бросив исподлбья сердитый взгляд, охотник пробурчал:

— Было зимовье... Вместе с Митченой рубили. Летом на рыбалку приплыл — одна зола. Туристы сожгли, ёлка-моталка. После охоты, как вода спадёт, новое рубить буду. Место присмотрел. Вверх по ключу, километра два отсюда. Там никто не найдёт...

Сам я — заядлый турист, и мне стало не по себе от услышанного. К сожалению, в походы ходят не только неугомонные романтики, любящие природу, но и те, для кого она — объект для безрассудных и безответственных развлечений.

Перекусив, разморённые теплом и горячим чаем, повалились на ватные спальные. По брезентовым скатам палатки уютно плескались блики света, пробивавшегося сквозь щели печурки.

— Что-то потно стало. Подними полог, — попросил Лукса.

Пахнуло прохладной свежестью. Спать расхотелось. Меня распирало любопытство, и мне показалось, что настал подходящий момент расспросить удэгейца о его самобытном лесном племени, кочевавшем прежде в глуши сихотэ-алинской тайги. Трудно поверить, но из-за оторванности от внешнего мира эти люди ещё совсем недавно жили по законам родового племени.

Лукса в ответ на мою просьбу вынул изо рта короткую трубку, с минуту помолчал, собираясь с мыслями, и стал неспешно вспоминать.

Я слушал и живо представлял картины недавнего и, в то же время, такого далёкого прошлого.

...С десяток островерхих, крытых корой чумов, прилепившихся к подножью крутобокой сопки на берегу порожистой реки Сукпай. Над кострами дымятся котлы. Вдоль косы, между навесов с юколой, бегают черноволосая ребятня. Женщины отминают, коптят шкуры зверей, тайменей. У одной из них в удобной заплечной люльке сладко спит младенец. В чумах, в женской половине, старухи шьют улы* и одежду, ладят берестяную посуду. Тут же, на кабаньих и медвежьих шкурах, копошится мелюзга — будущие охотники. В тени деревьев старики, ловко орудуя топориками, мастерят — кто лёгкие нарты, кто ходкую оморочку**. Молодые, сильные мужчины ушли с собаками на охоту. Мало кто из них вернётся с добычей. Тайга хоть и богата, копьём много не добудешь, а для нескольких ружей, купленных у торговых людей на Амуре, давно нет боеприпасов.

Время от времени племя потрясали опустошающие эпидемии, разбойничьи нашествия жестоких хунхузов*** межродовая вражда...

Меж тем негромкий голос Луксы продолжал:

— Как дошла Советская власть, стало легче. Бесплатно дома строили, карабины, патроны, продукты, посуду, инструмент давали. Перед войной хозяйства на Саях и Джанго были. Я в «Красный охотник» на Саях записался. Теперь там никто не живёт — всех в одно хозяйство согнали, ёлка-моталка. Ниже Джанго Гвасюги построили. Зачем так делали? До участков совсем далеко стало.

— Погоди, ты же говорил, что ваш род по Сукпаю кочевал?

— Оттуда я ушёл ещё мальчишкой, сразу как отца с матерью после большой болезни потерял. Мать шибко любил. Её украшения с ней в могилу положил. Осенью двуногий шатун могилу рыл и всё унёс! Как лёд сошёл, в Тигровой протоке кое-что нашли в карманах утопленника. У меня сохранилось только вот это.

Лукса расстегнул ворот рубашки и показал висевшую на шее небольшую серебряную фигурку улыбающегося человечка с узкими щёлочками глаз и пухлыми щеками. Судя по размеру живота и халату с замысловатыми узорами, человек этот был не бедный. На поясе, в углублении, таинственно мерцал какой-то камешек, а на спине четыре иероглифа.

— Что здесь написано?

* Улы — кожаная обувь с суконным голенищем.

** Оморочка — маленькая долблёная лодка.

*** Хунхузы — китайские разбойники, грабители.

— Не знаю. Спрашивал у экспедиции, тоже не знают. Просили дать «китайца» показать учёному. Но как дашь? Память! Главный знаки срисовал. Обещал написать, да забыл, пожалуй.

Бесспорно, многое изменилось в жизни удэгейцев, но основные занятия остались прежними. Летом охотники заготавливают панты*, женьшень, элеутерококк, кору бархата амурского, ягоды лимонника, брусники, клюквы. Осенью ловят рыбу. Зимой на закреплённых за каждым штатным охотником участках промышляют пушнину, заготавливают мясо диких зверей.

Бывалый промысловик, взволнованный воспоминаниями, курил трубку за трубкой. В палатке слоился сизый дым.

Я вышел подышать свежим воздухом и застыл, потрясённый увиденным.

Полная луна заливала тайгу невообразимо ярким светом. Небо не чёрное, а прозрачно-сиреневое, и на нём не сыскать ни единой звёздочки. Кедров вокруг — словно былинные богатыри. В просветах между ними мерцают бриллиантовыми искорками крупные снежинки. Река перламутром выливается из-за поворота и, тускнея, убегает под хребет, заглатывавший её огромной каменной пастью. Боже, я попал в сказку!

Кликнул Луксу. Он тоже потрясён, и что-то шепчет на своём языке. Притихшие, вернулись в палатку, однако, не выдержав, я вновь вышел и долго стоял среди этой неземной красоты. От избытка чувств вонзил в тишину этой необычной ночи полурёв-полустон. Эхо, недовольно откликнувшись, заметалось по распадкам и стихло в сопках.

ТАЁЖНАЯ АЗБУКА

Утром, пока в печке разгорались дрова, Лукса успел одеться, умыться. Подогрев завтрак, он растормошил меня:

— Вставай, охоту проспипшь.

Я вылез из спальника, размял затёкшие ноги и налил в эмалированную кружку чай.

— Чего не умываешься? — удивился Лукса.

— Холодно, — поёжился я.

— «Холодно, холодно», — передразнил он. — Как со вчерашним лицом ходить будешь? Тайга пугается. Соболь уйдёт, ёлка-моталка.

Поневоле пришлось натягивать улы и выходить на мороз. Зачерпнул ключевой воды и обдал лицо. От первой пригоршни сжался, как пружина, — ох и жжёт! Вторую уже не почувствовал, а третья даже вызвала прилив бодрости. Настроение поднялось, захотелось поскорее приняться за дела. На дне ключа заметил золотистые чешуйки, вымытые водой из кладовых сопок. Интересно, что это за минерал? Подцепил на лезвие ножа одну пластинку и понёс показать Луксе.

— Я не понимаю в них, — простодушно признался тот.

— На золото смахивает.

— Может... Раньше китайцы мыли здесь. Такие чешуйки и в соседних ключах встречаются.

После недолгих сборов Лукса повёл меня учить премудростям промысла пушнины.

Мягко ступая, он ловко лавировал в густых зарослях: только суконная шапка-накидка мелькала в просветах между стволов. Мне приходилось то и дело ускорять шаг, чтобы не отстать. Большое преимущество в росте не выручало. Умение Луксы

* Панты — не окостеневшие рога изюбря, пятнистого оленя, марала. Народная медицина считает, что панты возвращают молодость, изгоняют хворь.

безошибочно выбирать самый удобный путь в густой чаще поражало. И если я пытался самостоятельно найти более короткий и удобный проход, то отставал ещё больше.

При ходьбе охотник не расставался со специальным ясеновым посохом — первой принадлежностью каждого удэгейца-промысловика. Выглядит он так: верхний конец широкий в виде лопаточки (она используется для маскировки капканов снегом), в нижний врезан кривой и острый клык кабарги. Им тормозят и рулят при спуске с крутых склонов на лыжах.

С остановками миновав пойменный лес, полезли в сопки. Лукса учил читать встречавшиеся следы, определять их свежесть.

Гладкий, округлый след, по его словам, бывает у здорового, упитанного соболя; узкий, неровный — у слабого, худого. У такого и шкурка плохая. мех редкий, ту-склый. У сильного соболя мах прыжков широкий, почерк стёжки спокойный, уверенный. В тёплую снежную погоду ходят только молодые соболя, да и те крутятся возле гнёзда.

Соболь шагом не ходит, а скачет, становясь на обе лапки одновременно. Бежит обычно двухчёткой: задние лапы точно попадают в след передних, получая уже утрамбованную опору для прыжка. Бывает, что соболя «троят», очень редко «четверят». Это когда одна или обе задние лапы не попадают в след передних. Случается такое во время гона и при скрадывании добычи.

После «лекции» Лукса перешёл к практическим занятиям. Показывал, как ставить капканы на норку, соболя, колонка. Я старательно впитывал и запоминал всё, чему учил наставник. Главный вывод из всего услышанного: успех охоты зависит, прежде всего, от того, насколько удачно выбрано место для ловушки и насколько искусно ты сумел её замаскировать.

На излучине реки вспугнули стайку рябчиков. Лукса влёт сбил одного. Птицы с шумом разлетелись в разные стороны. Одна из них спланировала на ель неподалёку от меня. Прячась за стволами, выстрелил в неясный силуэт. Рябчик камнем упал вниз. Но, подбежав, я ничего, кроме перьев, на снегу не обнаружил.

Обойдя впустую вокруг дерева несколько раз, покричал собак, но тех и след про-стыл. Удручённый, пустился догонять наставника. Узнав про оставленную дичь, он нахмурился.

— Уф, манга*, уф, манга! Нельзя птице без пользы пропадать. Показывай, где стрелял.

Осмотрев разнесённые ветром перья, Лукса облизнул палец, поднял его вверх и юркнул в кусты. Покопавшись в снегу, вынул убитого рябчика.

— Никогда не бросай — фарт уйдёт.

На протоке пересекли свежий след белки.

— На жировку пошла, — отметил Лукса.

— А может с жировки? — предположил я.

Охотник глянул удивлённо.

— Ты своей башкой думай. Смотри — прыжки большие, лапки прямо ставит — лёгкая пока. Поест — потяжелеет, прыжок короткий будет, лапки ёлочкой станут.

Я смущённо молчал. Сколько же нужно наблюдательности, чтобы подметить все это!

Под елями виднелись смолистые чешуйки шишек, выдавая места её кормёжки.

— Видишь, белка кормилась?

Я кивнул.

— А где шишку грызла?

— Как где? На ели.

* Манга — плохо (удэг).

Лукса покачал головой:

— На снегу. Чешуйки плотной кучкой лежат. Когда на дереве грызёт, чешуйки широко разбросаны. Чем выше, тем шире.

В этот момент раздался быстро удаляющийся треск сучьев. Мы побежали посмотреть, кто так проворно ретировался. Вскоре увидели на снегу рваные ямы от громадных прыжков. Тут же лёжка, промятая до земли.

— Как думаешь, кто был? — ещё раз решил проэкзаменовать меня наставник.

— Олень, — уклончиво ответил я и стал лихорадочно искать глазами помёт, чтобы по форме шариков определить — лось или изюбрь.

— Ты мне голову не морочь. Какой олень? — напирал Лукса.

— Лось.

— Сам ты лось... горбатый! Говорил тебе вчера: сохатый рысью уходит. Этот прыжками ушёл. Изюбрь был. Смотри сюда и запоминай. Видишь, снег копытами исчеркан. Изюбрь так чиркает, лось высоко ноги поднимает — снег не чиркает.

Видя, что я совсем скис, ободряюще добавил:

— Ничего, бата^{*}! Поживёшь в тайге, всему научишься. Даже по-звериному думать.

На пологой седловине пересекли след бурого медведя, тянущийся в сторону господствующей над окрестностями горы Лысый Дед. Его округлая макушка в белых прожилках снега и серых мазках каменистых осыпей была совершенно безлесой. Эта особенность, похоже, и определила название.

— Миша чего-то припозднился. Они обычно под первый снег залегают.

На обратном пути вышли на крутобережье широкого, но не глубокого залива — излюбленного места нереста кеты. От Хора он отделён полосой земли, заросшей густым пойменным лесом, сплошь перевитым лианами китайского лимонника и актинидий.

На мгновение взгляд почему-то задержался на группе деревьев. Не поняв сразу, что именно привлекло моё внимание, пригляделся. Пять могучих ильмов стояли как бы полукругом, обращённым



^{*} Бата — сын, сынок (удэг.)

открытой стороной в залив. Перед ними — проплешина, в центре которой три потемневших деревянных столбика, заострённых кверху. Когда подошли поближе, увидел, что это идолы. Грубо вытесанные, длинные потрескавшиеся и потемневшие лица равнодушно взирали на водную гладь. Я вопросительно взглянул на Луксу.

— Наши лесные духи. Большой — Хозяин, а эти двое — жена и слуга. Хозяин помогает в охоте и рыбалке, — вполголоса пояснил он.

Достав из кармана сухарь, охотник подошёл к столбикам, почтительно положил его у ног Хозяина и спустился к воде. Я задержался, чтобы сделать снимки.

— Ничего не трогал? — не сводя с меня глаз, спросил Лукса, когда я догнал его.

— Нет. Сфотографировал только.

— Тогда ладно. Давай рыбу собирать. Рыбы беда как много надо. Собак кормить и на приманку.

Переступая по валунам, мы вытащили сучковатой жердью с мелководья десятка четыре кетин и сложили в кучу. В этих рыбах трудно было признать красавца океанского лосося. Серебристый наряд сменился на буро-красный. Челюсти хищно изогнулись и устрашающе поблёскивали серповидными зубами, выросшими за время хода на нерест. Некоторые самцы ещё вяло шевелили плавниками, изо всех сил стараясь не завалиться на бок. До последней минуты своей жизни они охраняли нерестилище — тёрку — от прожорливых ленков и хариусов.

Во время нереста в августе и сентябре сквозь чистую воду хорошо видно, как самка с силой трётся о дно, покрытое мелкими камешками. Припав к образовавшемуся углублению, она сжимает и разжимает брюшные мускулы до тех пор, пока лавина лучистых, янтарных икринок не вырвется наружу и не осядет в лунке. Плавающий рядом возбуждённый самец изливает на них молоки и присыпает оплодотворённую икру галькой. Весной из неё выведутся крохотные мальки. Окрепнув в горной речке с холодной, богатой кислородом водой, они скатятся в море. А через несколько лет уже взрослыми возвратятся на родное нерестилище. Ничто не может остановить их на пути к нему. Настойчивость и сила рыб, поднимающихся даже по двухметровым сливам, восхищает. Отметав икру, они также погибнут, чтобы дать жизнь новому поколению.

— Мало нынче кеты. Раньше, бывало, в два слоя лежали. Тысячи на зиму готовили.

— Солили?

— Как солить? Где столько соли взять?... Брюхо и спину вдоль хребта резали и сушили под навесами на ветру.

— А мясо летом как хранили?

— Чуть варили, чтобы кровь свернулась. Потом резали на пластины и, как рыбу, вешали.

Пока мы собирали кету, Пират с Индусом, бегая наперегонки по берегу, обнаружили затаившуюся под выворотнем енотовидную собаку и с лаем выгнали её оттуда.

Она напоминала заурядную дворняжку с короткими ногами. Неуклюжа, приземиста, ужасно лохмата. мех густой и пышный, серо-бурый с желтоватым оттенком. Мордочка короткая, глаза смотрят покорно, как бы прося пощады. Это, пожалуй, самое безропотное и беззащитное существо в Сихотэ-Алинской тайге.

Когда мы приблизились, енотовидная собака припала к земле и закрыла глаза, с поразительной апатией ожидая решения своей участи. С трудом оттащив возбуждённых псов, направились к стану, обсуждая увиденное за день. Радовало, что участок богатый. На пойме немало копытных, по берегам бегают норки, в сопках встречаются соболя. И, что важно, много мышей и рябчиков — их основной пищи.

— Рябчик есть — соболю хорошо. Мышь съел — опять ловить надо. А рябца ему надолго хватает, — объяснял опытный промысловик.

— Лукса, как будем участок делить? — наконец-то решился спросить я.

Напарник недоумённо посмотрел:

— Зачем делить? Где хочешь ходи, где хочешь лови. Только на соседние участки не ходи. Пудзя* сердиться будет. Выше по Хору — сосед Аки. Ты его знаешь. А ниже — Гирдо. Гирдо уже два года не охотится. Колено выпадает.

Честно говоря, я был обескуражен таким ответом. Мне хотелось, чтобы Лукса закрепил за мной определённую часть угодий, но со временем понял, насколько мудрым было его решение. Никто не был стеснён и не считал себя обделённым. Наши тропы иногда пересекались, но при этом каждый шёл своей дорогой.

Весь следующий день по сопкам с диким посвистом метался шальной ветер. Правда, нам он не мешал — мы были заняты подготовкой капканов.

Чтобы удалить заводскую смазку, отжигали их на углях. После чего напильниками сглаживали заусенцы, подгоняли сторожки. Из стальной проволоки делали на каждый капкан цепочку для крепления «потаска» — обрубка ветки, не позволяющего зверьку далеко уйти.

Наскоблив с затёсов кедровой и еловой смолы, бросили её в ведро с кипящей водой. В этом бульоне поочерёдно проварили все уже подготовленные капканы. Когда их вынимали, они покрывались тоненькой янтарной рубашкой.

После такой обработки соболя, обладающие тонким нюхом, не учуют запах железа.

— Камиль, перед установкой капкана руки хвоей пихты обязательно натирай. Она пахнет сильнее и дольше, чем еловая, — продолжал просвещать Лукса.

К полуночи ветер стих. Непроницаемый войлок туч скрыл все звёзды. Мягко повалил снег. Промысловик заметно оживился:

— В снег звери глохнут — близко подойти можно. Сначала мяса запасём, потом соболя ловить начнём.

Говорит, а сам мой пятизарядный гладкоствольный винчестер всё поглаживает, да на руках покачивает.

— Какой лёгкий, ёлка-моталка! Как моя одностволка. Камиль, тут цифры 1912. Что они значат?

— Год выпуска.

— Вот это да тебе! — Лукса аж присвистнул. — Мой отец тогда только родился. Откуда у тебя такое старое ружьё?

— Друг купил во Владивостоке у одного геолога-пенсионера. В тайге, когда мы путешествовали, ему за этот винчестер огромные деньги предлагали.

— Как же тебе дал?

— Он погиб в Якутии. Ружьё — память о нём. Большой, светлой души был человек. Я ему многим обязан.

— Да, бата, молния всегда бьёт самый высокий кедр. Пудзе плохие не нужны.

...Легли далеко за полночь.

БЛУЖДЕНИЯ

С рассветом снег перешёл в дождь. Тайга потонула в промозглой сырости. Без настроения разошлись искать свежие следы копытных: хоть и непогода, а мясо добыть надо. Лукса ушёл в горы. Я же, поставив несколько капканов под обрывистым берегом на норку, побрёл по пойме ключа, надеясь отыскать кабанов. Поначалу попадались лишь волчьи следы. Гора кеты, сложенная вчера нами на берегу залива,

* Пудзя — главное божество (бог) у удэгейцев.

исчезла. На её месте лишь утрамбованный серыми круг. Съеден был даже снег, пропитанный кровью.

Миновав небольшую марь, увидел гайно*. От него вверх уходили свежие следы. Решил тропить.

Табун долго двигался прямо. Наконец, кабаны разбрелись, появились глубокие порои. Я пошёл предельно осторожно. Переходя от дерева к дереву, всматривался в каждый куст, едва дыша, прислушивался к малейшему звуку. И тут, совершенно некстати, взбrehнул Индус. Раздалось испуганное «чув-чув». Мелькнув чёрными молниями, звери исчезли, оставив на мокром снегу лишь парящие клубки помёта.

В сердцах отругал пса, но он так и не понял, что совершил ошибку. Пожалуй, наоборот, даже гордился тем, что вовремя предупредил хозяина об опасности и громким лаем обратил в бегство стадо свирепых секачей.

Перейдя на пойму Буге, зашагал по сужающейся долине вверх. Тяжёлые непроглядные тучи утюжили макушки сопков. Всё вокруг в мутной пелене мороси. Уныло. Зябко. Несколько лет назад здесь пронёсся небывалой силы смерч, и долина оказалась заваленной деревьями в несколько ярусов. Сучкастые гиганты перегораживали путь всему живому, вдобавок между ними уже густо поднималась молодая поросль.

Приходилось буквально карабкаться через эти завалы, прыгать с одного скользкого ствола на другой, рискуя напороться на острый смолистый сук. Попытался протиснуться пониже, но и там не легче. Под ногами снежная слякоть, по бокам колючие кустарники и перевившие всё вокруг лианы. Колени и ладони скользят по обледенелым камням и валежинам. Каждый сучок старается выдрать клочок одежды. Одна упругая ветвь наградила меня такой пощёчиной, что свет померк от боли, а из рассечённой скулы брызнула кровь.

Неожиданно долина полезла круто вверх, и я запоздало сообразил, что поднимаюсь не вдоль Буге, а по его боковому распадку. Возвращаться назад через лесные «баррикады» не было ни сил, ни желания. Решил перевалить гриву и спуститься к Буге по соседнему распадку.

Там меня встретили труднопроходимые заросли кедрового стланика, чередовавшегося с можжевельником. Лишь по самому гребню росли берёзы, но не те нежные, стройные создания, прославленные народом в песнях, а кряжистые, скрюченные карлики с толстыми култышками ветвей. Их трудно даже назвать берёзами. Постоянные пронизывающие ветра совершенно изменили их привычный облик. Угрюмый вид этих уродцев навевал нехорошие предчувствия.

Через час мы с Индусом всё же прорвались к ложу ключа, к привычным кедром и елям, а так как уже пора было возвращаться, я повернул к стану. Иду и чувствую, что не проходил здесь. Вроде те же сопки, тот же ключ, но пойма много шире. Чтобы проверить себя, пересёк долину поперёк и остановился в растерянности — моих утренних следов на размякшем снегу не было. Очевидно, я спустился не к Буге, а в долину соседнего ключа — Джанго, на участок Гирдо.

В замешательстве огляделся. Вокруг стоял сразу ставший враждебным лес. Сверху безостановочно сыпал нудный дождь. На мне ни одной сухой нитки. Слякотно, холодно, голодно. Еды, кроме трёх размокших сухарей, никакой. Спички, первейшая необходимость, отсырели и не зажигались. Компас остался в палатке. Стало жутко.

Мокрый Индус жался рядом и преданно смотрел на меня.

— Индус, домой! Веди дружок! Выручай... — уговаривал я его в надежде, что пёс найдёт верную дорогу.

* Гайно — зимнее кабанье гнездо, на котором звери спят, прижавшись друг к другу. Представляет собой слой срезанных клыками веток.

Тот же виновато отворачивал морду. Он догадывался, что от него чего-то ждут, возможно, даже понимал, что именно, но помочь был не способен.

Поразмыслив, я решил, что в данной ситуации мне не остаётся ничего другого, как спуститься по долине Джанго к Хору и по его берегу подниматься к становищу.

Ближе к устью Джанго пошли, чередуясь, то сплошные изнуряющие заросли колючего элеутерококка, то топкие зыбуны с вертлявыми, покрытыми копной жёсткой травы, кочками. По зыбунам ступал, замирая от ужаса. Сделаешь неверный шаг — провалишься в «окно» с ледяной жижей. Казалось, будто идёшь по слабо натянутой резиновой плёнке: при каждом шаге верхний слой упруго прогибался, и далеко вокруг расходились тяжёлые волны, покачивающие «копёнки». Бестолковый Индус плёлся сзади.

Передохнуть негде. Попытался прислониться измученным телом к худосочному стволу ели, но та с треском повалилась — слабый грунт не держит.

Вспомнились глухие завалы на реке Чуе, по которой мы с Юрой сплавлялись несколько лет назад. Огромные лесины, лохматые выворотни, нагромождённые осенним наводком, перекрыли обширную долину реки от хребта до хребта. Полноводный поток, будучи не в силах разнести, разорвать нагромождения лесных великанов, с рокотом разливался по широкой пойме.

Приближаться к завалам на лодке по руслу речки было опасно — мощное течение затянет под стволы и истреплет там в клочья. Поэтому шли по лесной пойме пешком с рюкзаками на спине, лодкой на голове, по колено, а нередко и по пояс в воде.

Разбой тянулись всего шесть километров, но они отняли у нас двое суток.

О! что это был за переход! Суций ад! Кругом вода. Море воды, но плыть невозможно — лодке не протиснуться между деревьями. Почва от воды раскисла, и ноги глубоко вязли в ней. То и дело проваливались в коварные ямы. В этих случаях герметичные рюкзаки выполняли роль заплечных поплавков. Из свинцовых туч безостановочно сеял мелкий дождь. Вокруг полчища мошки. Её так много, что трудно дышать. Похоже, все окрестные вампиры караулили нас на этом переходе.

Они роями набрасывались и облепляли серым пеплом все доступные участки тела. Проведёшь рукой по лицу — с пальцев кровавая кашица комочками отваливается. Шли голодные, грязные, мокрые и опухшие от бесчисленных укусов. Шаг вперёд — лодку на себя — рукой по искусанному, в серой маске лицу. Шаг вперёд — лодку на себя — рукой по лицу... И так двое суток! А как «спали» посреди этой топи — лучше и не вспоминать!!

Так что без паники. И не в таких переделках бывал!

Собравшись с силами, выбрался на островок и буквально ткнулся в длинную кисть с пятью огненно-красными рубинами ягод, свисавшую с коричневого гибкого побега с шелушащейся корой. Это были ягоды лимонника. Съев их, почти сразу почувствовал прилив сил, но, к сожалению, недолгий. Уже через километр опять захотелось прилечь. Эх, найти бы несколько таких кисточек! (Лукса говорил, что горсть ягод лимонника даёт силы весь день гнать зверя). Дальше гибкие лианы стали попадаться чаще, но ягод на них уже не было: птицы склевали все до единой.

С тоской шаря в пустых карманах, невольно вспомнил таёжную мудрость: «Идёшь на день, бери на три». К вечеру стало подмораживать. Холодный ветер обжигал лицо и руки. Мокрые штаны и куртка превратились в ледяной панцирь, и каждый шаг сопровождался их хрустом. Оказавшись, наконец, на коренном берегу Хора, с облегчением вздохнул и даже несколько раз с силой притопнул ногой, убеждаясь, что топь действительно кончилась.

Последние километры брёл как во сне. Чувства притупились, мысли путались. Их неясные обрывки хаотично блуждали в голове, и только одна, точно зубная боль, не давала покоя: не ушёл ли Лукса искать меня?

Я не сомневался, что при встрече он упрекнёт: «Тебе по тайге только с проводником ходить». Но ошибся. Наставник или был уверен во мне, или просто привык за долгую жизнь в тайге к подобным задержкам. Когда я ввалился в палатку и в полном изнеможении упал на спальник, он только пробурчал, пыхнув дымом из трубки:

— Шибко долго ходишь, всё давно остыло.

В тепле невероятная усталость сразу дала о себе знать. Мной овладело единственное желание: лежать и ни о чём не думать. Было обидно, что столько сил истрачено впустую! После этого урока взял за правило брать с собой запас еды, а спички тщательно заворачивать в полиэтиленовый мешочек. (Со временем я научусь и свободно определяться на местности. Видимо, проснётся инстинкт ориентировки).

Выпив шесть кружек чая, но так и не утолив жажду, ожил. Оглядевшись, заметил висевшие на перекладине шкурки белок.

— У тебя, Лукса, вижу, удачный день. Поздравляю!

— Не больно удачный, только трёх белок подстрелил. Смотри, уже выходные — мездра спелая. Белка линяет последней, значит, соболя тоже вызрели, — ответил промысловик и продолжил прерванное занятие — надувать очищенный зуб рябчика. В результате получился лёгкий полупрозрачный шарик, который он повесил сушить рядом со шкурками.

— Внукам игрушка. Побольше готовить надо. Внуков беда как много. Всегда на Новый год полную банку приношу.

ОТЧЕГО КАМЕНЕЮТ РОГА

Разбудил ритмичный стук. Выглянул из палатки и обомлел: прямо у входа сойка остервенело терзала беличьё тушку. На моё появление никак не прореагировала. Насытившись, высокомерно глянула на меня чёрным глазом и по-хозяйски поскакала дальше.

Судя по тому, что чай был чуть тёплый, Лукса ушёл давно. Я оделся и выбрался наружу. День — чудо! Всё пропитано солнцем. В лесу кипела хлопотливая жизнь. Вовсю тарабанили труженики-дятлы, в пух и прах разбивая старуху-ель. Звонкими, чистыми голосками перекликались синицы. Весело посвистывали рябчики. Пронзительно и хрипло вскрикивали таёжные сплетницы — кедровки.

И Хор нынче необычайно красив. Сплошной лентой, чуть шурша друг о друга хрустальными выступами, плывут льдины, припорошенные белой пудрой. В промежутках между ними вода лучится приятным нежно-изумрудным светом.

После вчерашних блужданий чувствовал себя совершенно разбитым, да идти топить путики поздновато. Поэтому спустился к реке и прямо под берегом насторожил несколько ловушек. Проверил старые. В две из них попались мыши. Лукса считает, что я слишком чутко настраиваю сторожок: капкан срабатывает даже от веса таких крохотных грызунов.

Сам он завалился в палатку довольный. Ещё бы! Убил чушку метрах в трёхстах от стана! Гордо извлёк из рюкзака большой кусок окорока и печень. Задабривая покровителя охоты, отрезал ломтик и бросил в огонь:

— Спасибо, Пудзя! Добрая чушка!

Сумерки сгустились, и мы, даже не перекусив, пошли за добычей. Жирненькая! Слой сала в два пальца.

— Кабаньим жиром хорошо улы смазывать. Не промокают. Одно плохо — после смазки подошва сильней скользит.

В этот вечер у нас был первый настоящий охотничий ужин. Сварив полную кастрюлю мяса, пировали, оживлённо беседуя на самые разные темы. Намолчавшись за день, Лукса донимал меня вопросами. Во всём он пытался докопаться до самой сути и нередко ставил меня в тупик:

— Камиль, солнце у нас одно, но почему утром оно холодное, а днём горячее, и светит так сильно, что смотреть больно?

Или же спрашивал:

— Отчего каменеют рога? Они же вырастают мягкими, и траву олень ест мягкую, а к гону рога каменеют.

Я, используя книжные познания, как мог, разъяснял:

— Верно, молодые рога мягкие и пронизаны массой кровеносных сосудов, сверху покрыты кожей с густой бархатистой шерсткой.

— От мошки защищает, — вставил Лукса.

— Когда панты вырастают в полную величину, в них происходит отложение солей. Проще говоря — окостенение. Начинается оно с кончиков рогов и постепенно опускается всё ниже. Не случайно в это время быки особенно часто посещают солонцы — организм требует соли. Когда этот процесс завершается, покрывающая рога шкурка отмирает и, как ты сам рассказывал, олени трутся рогами о деревья, чтобы очистить её.

— Понятно. А вот скажи — кто из зверей самый крепкий на рану?

— Лукса, это не честно. Ты мне об этом ещё не рассказывал.

— Ишь, как вывернулся! Тогда слушай. Самый крепкий лось будет. Самый слабый — изюбрь. Медведь и кабан между ними. Раненый лось силы бережёт, от охотника уходит не больно быстро. В сопку идёт не прямо, а как река петляет. Изюбр — дурак. Горяч. Раненый, прыжками уходит и всегда вверх. На рану совсем слабый — даже с мелкашки завалить можно. У меня раз так было: собака загнала изюбра на отстой. Смотрю, ничего не вижу — ветки мешают. Стрельнул, да в спешке не переключил с «мелкашки» на «жакан». Слышу: копыта по камням защёлкали. Обида взяла — уходит рогач, ёлка-моталка. Бросился за ним, а изюбр сам навстречу. Не успел второй раз стрельнуть, как он грохнулся на камни мёртвый. Совсем слабый на рану.

— Лукса, расскажи ещё что-нибудь.

— Это можно, — оживился промысловик и, прихлёбывая чай, допоздна рассказывал не только о случаях из охотничьей жизни, но и о повадках зверей, особенностях их промысла. Под конец я не утерпел и задал давно беспокоивший меня вопрос:

— Лукса, а ты не боишься, что тигр или волки могут напасть?

— Чего бояться? Зверь не глупый. Он человека уважает.

— Но случается же, что хищные звери нападают на человека.

— Сказки это. Если зверя не трогать, он не нападёт. Что, колонок или норка опасные звери? Но и они, если бежать некуда, могут наброситься на тебя. Однако один хуза* в тайге всё же есть — шатун. Очень ненадёжный зверь, ёлка-моталка. Он может напасть.

* * *

В лесу после ночного снегопада следов нет. Только снежные «бомбы», сорвавшиеся с ветвей, успели кое-где продырявить пухлое одеяло.

Разошлись рано, хотя можно было и не ходить — капканы лучше ставить на второй-третий день после снегопада. За это время зверьки наследят, и сразу видно, где их излюбленные проходы, а где случайный след.

* Хуза — бандит.

В ловушках привычная добыча — мыши. У одного шалашика с приманкой норка пробежала прямо возле входа, но в него даже не заглянула — сытая. В тайге нынче все благоденствуют. Бедствуют одни охотники.

Лукса весь день гонял косуль. Дважды удавалось приблизиться на выстрел, но оба раза пуля рикошетила о промёрзший подлесок.

— На косулю хорошо с собакой ходить, — оправдывался промысловик, — она под собакой круг делает и на то же место выбегает. Тут её и бей.

— Что ж ты Пирата с собой не берёшь?

— В этом деле он не помощник. Как встретит новый след, отвлекается и уходит по нему до следующего.

УРАГАН

Ну вот, уже и седьмое ноября! Двадцать третий день, как я на промысле. Расставлены почти все капканы, но добычи пока нет. Сегодня по всей стране торжества, демонстрации, а у нас с Луксой обычный трудовой день. Нарубив приманки, я отправился бить очередной путик по пойме Хора, но вскоре вернулся чтобы надеть окамусованные* лыжи: снега навалило так много, что пешком ходить стало невозможно.

Если бы таёжники знали имя человека, первым догадавшегося оклеить лыжи камусом, они поставили бы ему памятник. Короткие, жёсткие волосы с голени оленей надёжно держат охотника на самых крутых склонах. При хорошем камусе скорее снег сойдёт с сопки, чем лыжи поедут назад. Правда, ходить на таких лыжах без привычки неудобно, надо приноровиться. Я тоже сначала шёл тяжело, неуклюже.

Порой в книгах читаешь описание того, как охотник, лихо скатившись с сопки, помчался к зимовью. Хочется верить, что это где-то и возможно, но только не в дебрях Сихотэ-Алиня. Попробуй полихачить, когда выстроились один за другим кедры, ели, пихты, ясени, а небольшие промежутки между ними затянуты густым подлеском, переплетённым лианами.

За ключом, на вытянувшемся к востоку плоскогорье, появились миниатюрные следочки кабарги — самого крошечного и самого древнего оленя нашей страны. Изящные отпечатки маленьких копытёв чётко вырисовывались на снегу. Кабарга испетляла всю пойму в поисках любимого лакомства — длинного косматого лишайника, сизыми прядями свисающего с ветвей пихт и елей.

Лукса рассказывал, что охотники даже специально валят такие деревья и устанавливают самострелы с волосяными растяжками на высоте локтя. Слух у кабарги настолько острый, что услышав шум упавшего дерева, она бежит к нему кормиться. Неравнодушны к этому лишайнику и другие звери, в том числе соболя, белки. Но последние не едят его, а используют для утепления гнёзд.

Среди оленей кабарга примечательна отсутствием рогов. Этот существенный недостаток возмещается острыми саблевидными клыками, растущими из верхней челюсти. И хотя по величине они не могут соперничать с клыками секачей, при необходимости кабарожка может постоять за себя, ведь длина её клыков достигает восьми сантиметров.

Охотиться на кабаргу без хорошей собаки — дело бесполезное. Благодаря чрезвычайно тонкому слуху она не подпустит охотника на верный выстрел. Поэтому я зашагал дальше, сооружая в приглянувшихся местах амбарчики на соболей и норок. Чтобы привлечь их внимание, вокруг щедро разбрасывал накроху: перья и внутренности рябчиков.

* Окамусованные — оклеенные камусом. Камус — шкура с голени лося или изюбря. Можно использовать и лошадиный камус. Он тяжелее, зато лучше скользит по снегу.

На становище вернулся, когда над ним уже витали соблазнительные запахи жареного мяса. Лукса колдовал над праздничным угощением — запекал на углях завернутые в фольгу жирные куски кабанятины, сдобренные чесноком.

После сытного ужина мы с особым удовольствием слушали по транзистору концерт. Но перед сном приподнятое настроение было испорчено — хлынул дождь.

— Когда таймень хочет проглотить ленка, он сдирает с него чешую, — в мрачной задумчивости произнёс удэгеец и, тут же спохватившись, добавил: — Ничего. Терпеть надо. Жаловаться нельзя, ёлка-моталка. Поправится ещё погода.

После дождя подморозило, и снег покрылся ледяной коркой. Невольно вспомнил рябчиков. Смогут ли бедолаги пробить наст и выбраться из плена — ведь они ночуют под снегом.

Идти на охоту было бессмысленно, и я занялся накопившимися хозяйственными делами. Колол дрова, ремонтировал одежду. К полудню небо затянуло, начался обильный снегопад. Мохнатые снежинки кружились в воздухе, как бабочки: то взлетали, то опускались, гоняясь друг за дружкой. Часом позже с горных вершин донёсся нарастающий гул. Деревья спокойно зашевелились, зашумелись, и вскоре налетел, понёсся вглубь тайги мощный ураган. По высоким кронам елей и кедров побежали, сметая снежные шапки, зелёные волны. Воздух на глазах мутнел, становился плотным, тяжёлым. Шквал за шквалом ветер набирал силу и, наконец, достиг резиновой упругости. Тайга напряжённо стонала, металась, утратив своё обычное величие и покой. Деревья шатались, скрипя суставами, как больные. По уже замёрзшему заливу потянулись длинные космы позёмки. Недалеко от палатки с хлестким, как удар бича, треском повалилась ель. Два громадных ясеня угрожающе склонились над нашим жилищем.

Залив водой нещадно дымящую печь и захватив спальный мешок, я с опаской выбрался наружу. Ураган, видимо, достиг наивысшего напряжения. Вокруг творилось что-то невообразимое. Всё потонуло в снежных вихрях, перемешанных с обломками веток, коры и невесть откуда взявшимися листьями. Было темно, почти как ночью. Постоянно — то в одном, то в другом месте — рушились деревья. На фоне несусветного рёва казалось, что они падают бесшумно.

Забравшись в выемку под обрывистым берегом, я закурился в мешке, как рябец в тесной снежной норе. В голову лезли беспокойные мысли: «Как Лукса? Что с ним? Тоже, наверное, отсиживается, пережидая непогоду. А каково сейчас зверью?!»

К вечеру ветер ослаб, но, даже отбушевав, ураган иногда давал о себе знать сильными порывами ветра. Вскоре снег опять повалил густыми, крупными хлопьями. Наступила тишина, особенно гнетущая после оглушительного буйства стихии.

Лукса пришёл поздно, изнурённый и потрясённый.

— Чего Пудзя так сердился? — сокрушался он. — Беда как много тайги поломало. Обходить завалы устал. Ладно, до конца не ходил — на развилке путиков отсиделся.

Ночью ветер вновь многоголосо завыл, заметался голодным зверем по реке и сопкам в поисках поживы. Врываясь в печную трубу, наполнял палатку таким густым дымом, что становилось невозможно дышать. Чтобы не задохнуться, пришлось наглухо закупориться в мешках.

Проснувшись от криков Луксы, яростно поносившего всех подряд: и дрова, и печку, и погоду. Высунув голову, я закашлялся от едкого чада. Оказывается, у него от искры, вылетевшей из печи с порывом ветра, загорелся, точнее, затлел спальный. Когда он почувствовал, что горит, возле колена уже образовалась такая дыра, что в неё без труда можно было пролезть. Так что легко понять несдержанность следопыта и простить

ему крепкие выражения. Ведь в январе в этих краях спиртовой столбик порой опускается до отметки минус сорок градусов.

Выбравшись из занесённой снегом и обломками веток палатки, мы не признали окрестностей.

Мне не раз приходилось видеть ветровалы, но в свежем виде они ошеломляют. Местами деревья повалены сплошь. Уцелела лишь гибкая поросль. Поверженные исполины лежали, крепко обнявшись зелёными лапами, стыдливо прячась за громадами вывороченной земли. У тех, чьи корни выдержали бешеный напор стихии, стволы переломлены, а места разлома поблёскивают лучистой, как липовый мёд, смолой, свисающей янтарными серёжками.

Обрывки узловатых, мускулистых корней кричали о боли, протестовали против такой нелепой смерти. Невольно проникаешься уважением к тем крепышам, которые выстояли.

День, между тем, выдался погожий. Изголодавшиеся за время ненастья звери забегали в поисках пищи.

Тщательно осматривают свои участки и соболя — они никогда не пробегут мимо дупла, не обследовав его. Побывают на всех бугорках, заглянут под все валежины и завалы. Уходя под них, соболь может невидимкой пройти под снегом десятки метров. Очень любят они и наклонённые и упавшие деревья, особенно если те лежат поперёк ключа или распадка.

Душа радуется при виде всех этих замысловатых строчек. Необыкновенно интересное всё же занятие — охота. При этом наибольшее удовольствие доставляет возможность побывать в глухих, укромных уголках, где есть возможность понаблюдать жизнь обитателей тайги...

Хорошо помню то далёкое февральское утро. Мне исполнилось четырнадцать лет. Первое, что я увидел, открыв глаза, — улыбающиеся лица моих родителей и одностволку «Иж-1», пахнущую заводской смазкой. С тех пор охота на долгое время стала моей главной страстью*. И не беда, что не всегда удачен выстрел и возвращаешься без трофеев. Разве не стоит испытать усталость ради того незабываемого наслаждения, которое получаешь при виде дикого зверя, стаи птиц, взмывающих с тихой заводи в заоблачную высь!

Сегодня пошёл в обход со сладостным предвкушением удачи: был уверен, что в одном из капканов в Маристом распадке меня обязательно будет дожидаться соболёк. Всё же, как-никак, четыре дня не проверял. Но... опять одни мыши. И что обидно — некоторые «амбарчики» соболя сверху вдоль и поперёк истоптали, в лаз заглядывали, но приманку так и не тронули. Как же, станут они грызть мёрзлое мясо, когда повсюду живая и тёплая добыча шныряет. Один из соболей прямо на макушке домика оставил выразительные знаки своего «презрения» к моим жалким подачкам.

В следующем амбарчике билась голубая сорока, обитающая в нашей стране лишь здесь, на юге Дальнего Востока. На её счастье пружина не перебила лапку. Попалась она совсем недавно — даже снежный покров вокруг хатки не потревожен. Я разжал дужки и освободил птицу. Сорока, покачав головой в тёмной шапочке, взлетела на дерево. Расправила взъерошенные перья и, громко прокричав мне что-то, улетела.

Тогда же я впервые увидел колонка, привлечённого, видимо, криком сороки. Его рыжевато-охристая шубка на белом фоне снега смотрелась весьма эффектно. Тело длинное, гибкое, с круто изогнутой спиной. Колонок несколько мельче соболя, но

* В 1982 году я дал зарок и с тех пор не сделал ни одного выстрела.

кровожаден и злобен необычайно: сила в сочетании с проворством позволяют ему побеждать зверей и птиц, которые значительно крупнее его.

Пока я снимал ружьё, рыжий разбойник юркнул в снег под кучу веток, оставшихся после паводка. Дождаться его следующего появления можно весь сезон: мышей в таких местах великое множество — до лета хватит.

От этих крохотных пакостников и в нашем жилище нет спасения. Ничего съедобного нельзя оставить — сгрызут. Продукты держим на лабазе. Но они и туда наловчились взбираться. Спаслись тем, что облили стойки несколько раз водой.

По ночам от бегающей по тугим скатам палатки мышинной армии только «топот» стоит. Однажды одна, самая нахальная, даже забралась ко мне в спальник. Прогулялась до ступней ног и бодренько назад по шее прямо к уху — сообразила после разведки, что это самая удобная и доступная добыча. Я прямо оцепенел от ужаса. Не столько страха от тигра натерпишься, как от этих тварей. Из палатки выйдешь — веером рассыпаются. К стану набиты настоящие тропы — со всех окрестностей к нам на кормёжку ходят. Жирные, лоснящиеся, ужасно наглые и любопытные.

Как-то вечером сидим, ужинаем. Одна высунула острую мордочку из-под чурки-стола, огляделась и деловито взобралась на неё — решила моим сухарём полакомиться. Я руку протянул, чтобы щелчком согнать, так она, окаянная, не испугалась. Носик вытянула и старательно обнюхивает палец — нельзя ли чем и тут поживиться. Ставим на них капканы, бьём поленьями, а грызунам по-прежнему нет числа. Того и гляди за нас примутся.

Но я отвлёкся от событий дня. Так вот, там, где путик пересекает межгорную седловину, появилась волнистая борозда, сглаженная посередине широким хвостом. Выдра?! Откуда она здесь? Ведь, как известно, речные разбойницы держатся рек, ключей, а тут глухая высокогорная тайга. Что побудило этого «рыболова» предпринять сухопутное путешествие через перевал? Быть может, выдра покинула свой ключ потому, что замёрзли полыньи? Или он оскудел рыбой? А может, просто проснулась тяга к странствиям?

Потрогал след. Не смёрзшийся, стенки рассыпались от лёгкого прикосновения. У выволока* нежные, воздушные снежинки. Сомнений не было — выдра прошла буквально передо мной. Лапы у неё короткие. По снегу бежит медленно. Возможность догнать сразу соблазнила меня.

Сначала шёл не спеша — устал за день, но разглядев вдали мелькающее пятно, ринулся напролом, как секач, не разбирая дороги, подминая лыжами густой подлесок, не замечая ничего, кроме волнистой борозды перед собой.

Выдра, похоже, услышала погоню — длина прыжков резко увеличилась, и она свернула влево, безошибочно определив кратчайший путь к воде. Я тоже прибавил ходу. Откуда только силы взялись! Стало жарко. Сердце, бухая, разрывало грудь. Сбросил рюкзак, потом телогрейку. Вот уже тёмная искристая спина приземистого зверя замелькала среди деревьев.

Прыгала выдра тяжело, глубоко проваливаясь в снег плотным телом. Расстояние между нами сокращалось. Притормозив, я вскинул ружьё и выстрелил в изгибающееся волной туловище. Выдра мгновенно исчезла в снегу. Подбежав, по чёрточкам дробинок увидел, что промахнулся — сноп дрови прошёл выше.

Скинув лыжи, я принялся лихорадочно разгребать снег ногами. Нижний слой был зернистым, сыпучим и скатывался обратно. Переводя дух, огляделся и понял, что выдра обхитрила меня — метрах в двадцати появилась цепочка следов, терявшаяся в глубине леса. Пока возился с лыжами и вновь пустился в погоню, обманщица успела уйти далеко.

* Выволок — передняя часть следа.

Чем ближе к ключу, тем круче становился склон. Вскоре, чтобы погасить скорость и не врезаться в дерево, мне пришлось хвататься за проносившиеся мимо стволы. Когда я почти настиг выдру и резко затормозил для выстрела, она вновь нырнула в снег. Не тратя времени, принялся ходить на лыжах кругами, останавливаясь и подолгу прощупывая глазами окрестности. Но, сколько ни вглядывался, ни выдры, ни её следов нигде не было. В растерянности попробовал разгрести снег под поваленными стволами и в местах, где, по моему разумению, она могла затаиться. Выдра же словно сквозь землю провалилась.

Прочесав тайгу внутри небольшого круга, расширил границу поиска, однако выходного следа так и не обнаружил. Дело близилось к вечеру. Пора было возвращаться, тем более что в одном свитере, без телогрейки, я уже основательно продрог. Прощупав глазами снежный покров в последний раз, повернул обратно, злясь на себя за промах и восхищаясь сообразительностью выдры. Дважды провела меня, да так ловко!

Подобрав телогрейку, с трудом втиснулся в неё — на морозе она застыла коробом. К палатке подъехал уже в темноте.

Лукса доедал свой ужин, а на печке монотонно сипел чайник. Выслушав мой рассказ, бывалый охотник успокоил:

— Шибко не расстраивайся. Выдра — самый умный зверь в тайге. Как говорит наш охотовед, промысел выдры — это высший пилотаж. Однако не последняя зима у тебя. Придёт время — добудешь. Однажды я тоже, как и ты, выдру на переходе гнал. Мне тогда собака помогла. Под завал загнала. В другой сезон три собаки выдру под корягой причуали, но взять боятся. Одна сунулась. Выдра так лапой саданула, что кожу с носа содрала. Я стрельнул. Хитрюга с другой стороны выскочила — и к полынье. Собаки за ней. В клубок сплелись. Визжат, рычат и к воде колесом катятся. Стрельнуть боюсь — собак зацеплю. Так и ушла, ёлка-моталка.

Наставник ещё долго делился своими охотничьими историями. А я, как всегда, старательно всё записывал.

— Лукса, судя по следам ты вчера заходил на мой путик. «Амбарчики» видел? Правильно ставлю?

— Видел, видел. Молодец. Как учишь делаешь, и места подходящие.

— Почему же тогда соболь не идёт? Может, пахучие приманки попробовать?

— Ерунда это. Если соболь идёт на приманку, то идёт на любую. А если не идёт — что хочешь клади, не тронет. Надо ждать, когда соболя тропить начнут.

— Так уже больше трёх недель прошло, а я до сих пор ничего не поймал.

— Ходи больше, «амбарчики» ставь. Увидит Пудзя, что не ленишься, пошлёт удачу. Человек за всё должен платить, а за удачу особенно.

Наставник прав. Я настраиваю себя на длительный экзамен. Уверенность в успехе не покидает меня и поддерживает силы.

ЛЮБОПЫТНЫЙ «ХОЗЯИН»

Морозы с каждым днём крепче, снег глубже, а дни короче. Хор, наконец, встал. Всё русло в торосах. Колотые грани льда, пронзённые лучами солнца, сверкают и переливаются россыпью драгоценных камней. Ближе к воде лёд тускнеет, становясь почти чёрным.

При ледоставе уровень воды в реке повысился, и прибрежный лёд выперло прямо к яру. Из-за этого четыре моих капкана оказались безнадежно погребёнными. Скоро вода спадёт, и подо льдом образуются обширные пустоты. В них тепло и всегда есть

свободный доступ к воде — идеальные условия для безопасной и сытой жизни норкам и выдрам. С этой поры они становятся почти недостижимыми для охотников.

Лукса ушёл в стойбище за продуктами, а заодно и «погулять маленько».

К обеду, после обхода пустых ловушек, настроение самое мерзкое. Чтобы как-то взбодриться, решил продлить путик вниз до Разбитой. Это место получило такое название от того, что Хор там разбивается на несколько протоков, которые, упираясь в отвесные скалы, сливаются и возвращаются в основное русло глубоким длинным рукавом.

Лукса считает, что глубина в рукаве достигает девяти метров, и в нём с незапамятных времён живёт громадный таймень: сети пробивает, как пуля бумагу, леску рвёт, как паутину. Все попытки поймать его завершались неудачей. Я не очень доверяю такого рода рассказам, тем не менее, интересно было взглянуть на это легендарное место и попутно расставить ловушки.

Километров пять прошёл легко. Потом начался перестойный, глухой лес, да такой частый, что приходилось в буквальном смысле протискиваться между стволов. Вымотавшись вконец, повернул обратно, так и не дойдя до цели. Иду себе, иду и вдруг рядом с моей лыжнёй вижу следы тигра. Я остоленел. Взбитая мощными лапами глубокая траншея резко сворачивала в сторону. Очевидно, властелин северных джунглей какое-то время шёл за мной и скрылся в чаще, услышав или увидев, что я возвращаюсь.

Панический страх сдавил меня стальным обручем. По телу игольчатым наждаком пробежал мороз, руки непроизвольно стиснули ружьё. Я боялся шевельнуться: любое моё неверное движение могло спровоцировать нападение. Озираясь, стал до рези в глазах всматриваться в окружающий лес. За каждым кустом и каждым выворотнем чудился готовый к прыжку тигр. Не видя его, а лишь зная о его присутствии, хотел было взобраться на дерево, но рассудок вовремя подсказал, что без движения я быстро замёрзну.

Пересиливая сковавший страх, медленно двинулся к становищу...

Через несколько дней опять пришлось идти по этой лыжне. Страх ослаб. Он рассеялся вовсе, когда прочитал следы.

Полосатый брёл за мной около километра. Аккуратно обходя каждую снежную хатку, он заглядывал в неё, не тронув, к счастью, приманки. Трудно предсказать, как повёл бы он себя, защеми капкан ему нос или лапу. Когда я повернул обратно, громадный кот свернул и ушёл в горы. Похоже, ему было просто любопытно, чем это худосочный двуногий занимается в его владениях.

ОДИНОЧЕСТВО

Прошла неделя, а Луксы всё нет. Хорошо хоть Индус со мной. Всё же живая душа: подъезжаешь к лагерю, а навстречу, повизгивая, всем своим видом выражая бурную радость и неумное желание поласкаться, рвётся с привязи преданный пёс. Собака, надо сказать, оригинальная. Покорная и вялая в обычной обстановке, бестолковая на охоте, она неузнаваемо меняется, когда кто-то, по её разумению, угрожает мне или моим вещам.

Вспоминается такой случай. Вернувшись как-то с путика, я бросил рюкзак с рьячками на кучу дров и спустился к ключу за водой. Вдруг слышу злобное рычание, визг. Взбежал на берег, и что же? Индус стоит у перевёрнутого рюкзака в боевой стойке. Шерсть на загривке торчком, пасть оскалена, в груди перекачивается рык,

а ошеломлённый Пират сконфуженно бежит за палатку. Я прямо глаза вытаращил — Индус, всегда робеющий перед Пиратом, обратил того в позорное бегство.

Вечером, пока гладкое серое небо не сползло на землю бесцветными сумерками, то и дело выходил на берег. Почему-то был уверен, что Лукса придёт именно сегодня. Русло Хора довольно извилистое, но от нашего становища просматривается вниз почти на километр. Однако наставник так и не появился. Зато я подсмотрел, как на противоположном берегу развлекается норка. В три прыжка взлетает на обрыв и на животе съезжает по снежному жёлобу. Отряхнётся и опять наверх. Да так увлечённо, азартно! Со стороны — словно шаловливый ребёнок.

Продукты между тем подошли к концу. (Поскольку вертолёт подвернулся неожиданно, часть провианта так и осталась в Гвасюгах). Крупы — на два дня. Сахара — на один. Вдоволь лишь воды — целый ключ студёной и прозрачной. Последнюю щепотку чая израсходовал накануне. Поэтому сбил с берёзы, мимо которой хожу каждый день, ноздреватый чёрный нарост — гриб чагу. Чай из него, хоть и не сравнить с индийским, довольно приятен, а недостаток вкусовых качеств с лихвой компенсируется его лечебными свойствами.

В щедрой тайге знающий человек может найти лекарства от любой болезни, но нет, пожалуй, таёжного растения, пользующегося более громкой славой всеисцеляющего средства, чем женьшень — посланник древней флоры. В переводе с китайского слово «жень-шень» означает «человек-корень». И действительно, он нередко напоминает фигуру человека. О том, насколько ценился этот корень в прошлом, можно судить по тому, что в восемнадцатом веке он стоил в пятнадцать раз дороже золота!

В зависимости от возраста женьшень бывает «тройкой», «четвёркой», «пятёркой». Эти цифры указывают на число боковых отростков. Очень редко встречаются «шестёрки» — старики, которым за сто лет. Если основной корень внизу раздваивается, его называют «мужиком». Он ценится дороже остальных. Живёт жень-шень долго. Некоторые достигают четырёхсотлетнего возраста и весят четыреста граммов!

Осенью стебель женьшеня увенчан плотным шаром ярко-красных ягод. Они хорошо видны издалека. Между ягодами и кроной бывают стрелки: одна-две. Корневищники верят, что они указывают на соседние растения. На поиски одного корня уходят недели, но его целебные свойства и плата за труд с лихвой компенсируют таёжнику перенесённые лишения.

С того дня, как Хор встал, я чаще стал ходить по нему — самой удобной зимней дороге в буреломной тайге. Особенно приятно идти по ровным речным плёсам, сияющим мириадами крошечных звёздочек. Кажется, будто идёшь по опрокинутому на землю небу, на котором узор созвездий меняется с каждым шагом.

Вернулся с путика пораньше, так как знал, что оставшихся дров едва хватит вскипятить чай. Снял с сучка поперечную пилу «тебе-мне», для которой в данном случае больше подходило название «мне-мне», и пошёл на поиски сушины.

Пилить толстые кедры одному несподручно, и я выбрал сухую, выбеленную солнцем, унизанную смолистыми сучками, ель. Обтоптал вокруг неё снег и вонзил стальные зубья в звенящий ствол. Дружными струйками полились опилки. Когда оставалось допилить несколько сантиметров, стал раскачивать дерево, пытаясь повалить его в нужном направлении. Макушка ели заходила, как маятник. Наконец дерево оглушительно треснуло и стало медленно валиться... на меня. Я в ужасе рванул в противоположную сторону вверх по склону, утопая в снегу, ломая кусты.

Ель в этот момент с шумом легла на пружинистые лапы кедра. Те, низко прогнувшись, срикошетили сучкастый ствол мне вдогонку. Тупой удар в спину впрессовал

меня в снег. Какое-то время лежал неподвижно, ничего не чувствуя и не сознавая. К действительности вернула нарастающая боль в позвоночнике. Неужели перелом? В моём положении — это верная смерть. Так глупо! Но, пошевелив сначала руками, потом ногами, понял: не пришло ещё время «великой перекочёвки».

Ствол стеснял движения, но руки были свободны, и я принялся разгребать снег. Сначала вокруг головы, потом, с трудом протискивая руки, из-под груди и живота. Колющие кристаллы сыпались в рукава, за воротник, таяли и растекались по телу ледяными струйками. Лезли в лицо, набивались в рот, но я только радовался этому — понимал, что именно снег мой спаситель.

Руки выгребали снежную крупу уже из-под бёдер. Тело проседало с каждой минутой всё ниже. Давление ствола ослабло, и я попытался выбраться из плена. К моему неопишуемому восторгу это удалось с первой попытки. И вот я, мокрый, но счастливый, восседаю на едва не погубившей меня лесине: упали ель чуть выше, острый сучок пробил бы спину насквозь.

Отдышавшись, отпилил несколько чурок, перетаскал их к становищу. Наколов дров, забрался в палатку. Набил топку, поджёг щепу. Обсыхая у жаркой печки, не переставал радоваться невероятному везению и содрогался, представляя иной исход. А вот моему другу Юре Сотникову два года назад не повезло. Стечение целого ряда обстоятельств привело к трагедии...

ЛУКСА ВЕРНУЛСЯ

Целый месяц прошёл впустую, а сегодня, когда мог, наконец, открыть счёт трофеям — такой удар! И от кого? От мышей! Проклинаю их последними словами — съели угодившие в капкан две норки! Оставили лишь обглоданные скелеты да хвостик одной из них. По нему-то и определил, что это были именно норки.

Вконец расстроенный, побрёл дальше. Досада от потери обострялась мыслью о напрасной гибели красивых зверьков.

Погружённый в эти невесёлые думы, не сразу заметил изюбра, глодавшего ольху на краю протоки. Услышав скрип лыж, он повернул увенчанную огромными ветвистыми рогами голову и, словно давая понять, что я значу для него не больше, чем любое рядом стоящее дерево, скользнул по мне равнодушным взглядом. Постояв пару секунд в некотором раздумье, нехотя потрусил, перейдя вскоре на бег и изумительные прыжки, легко перемахивая через завалы и ямы.

В такие моменты сожалеешь, что в руках ружьё, а не фотоаппарат. Изюбрь, пожалуй, одно из самых совершённых творений природы. Даже убегает так, словно специально даёт возможность полюбоваться изяществом своих форм.

Его грация вызывала восхищение и будила в сердце желание сберечь эту красоту для потомков.

Подобные встречи всегда очищают. Они своего рода парная баня для души: смытая всё наносное и ненужное, делают нас добрее и чище.

Возвращаясь к стану, услышал со стороны устья Буге два выстрела. Лукса? Неужели Лукса?! Я помчался к «дому» так, будто у меня выросли крылья. Наставник сидел на корточках в куртке из солдатского сукна и деловито разбирал содержимое рюкзака. Я глядел на него так, будто не видел целую вечность. Подбежав, стиснул в объятиях.

— Пусти, задавишь, — проворчал он, — опять один жить будешь.

Но по лицу было видно, что тоже рад встрече.

— Чего так долго не приходил?

— Мал-мало гулял, — широко улыбнулся охотник. — Потом старые нарты ремонтировал. Однако всё равно сломались — продукты только до Джанго довёз.

Сразу были забыты съеденные мышами норки, сучкастая ель. А когда на нашем столе появились гущёнка, свежий хлеб и плиточный индийский чай, то и все прочие неприятности, случившиеся со мной за время отсутствия Луксы, и вовсе отодвинулись куда-то далеко.

Насладившись чаем вприкуску с хрустящим ломтём хлеба, щедро залитым гущённым молоком, я плюхнулся на спальник и блаженно вытянулся. Лукса набил трубку махоркой, закурил.

— Чего поймал? — с возможно большей небрежностью в голосе спросил, наконец, он.

Я, не стесняясь в выражениях, излил душу. Особенно досталось ненавистным грызунам. Промысловик сочувственно кивал головой:

— Сколько живу, а столько мышей не помню. Вывод простой — чаще ловушки проверяй.

Перед сном, как обычно, вышел из палатки. Остывший воздух был упруг и жгуч. Чёрная бездна манила жемчужинами звёзд. Изящный ковш Большой Медведицы, опершись дном о скалу, подливал густых чернил в и без того непроглядную тьму. Из трубы, как из пасти дракона, вырывался столб пламени, обстреливающий созвездия недолговечными светлячками искр. Я готов был созерцать эту картину бесконечно, но чувствительные пощипывания мороза побудили вернуться в наше тесное брезентовое жилище. Тепло ласково обняло, согрело; приветливо закивал язычок пламени оплывшей свечи, даже поленья, словно обрадованные тем, что все в сборе, с новой силой возобновили трескучую перебранку.

ПАМЯТИ ДРУГА

Проснулся от сильного озноба. «Снежная процедура», полученная накануне, не прошла даром. Несмотря на недомогание, я всё же отправился на обход очередного путика.

На обратном ходе чувствую, что силы с каждым шагом тают, ноги наливаются свинцом, отказываются идти. Я остановился посреди заснеженного русла реки передохнуть. И нет бы просто постоять, отдышаться, а, прельстившись солнечным теплом, уложил лыжи камусом вверх и прилёг на них. Глаза закрылись сами собой. Навалившаяся дремота быстро понесла в мир блаженства и покоя...

Не знаю, сколько прошло времени, но в какой-то момент сквозь сон, словно удар электрического тока, пронзила мысль: замерзаю! С трудом разомкнул склеенные инеем веки. Ветер, дувший в голову, уже успел наместить в ногах приличный сугроб. По реке тянулись хвосты снежной позёмки. Как ни странно, холода не ощущал. Только мелкая дрожь во всём теле. Но ни руки, ни ноги не слушались. После нескольких попыток я сумел-таки перевернуться на живот и встать на четвереньки. Раскачиваясь взад-вперёд, размял бесчувственные конечности. С трудом выпрямился и стал приседать, размахивать руками. Немного ожив, надел рюкзак и поплёлся дальше. Как добрался до палатки, не помню...

Три дня пролежал в спальном мешке в полузабытьи. Спасибо Луксе: каждый день, перед уходом, заносил в палатку несколько охапок дров и вливал в меня какие-то отвары.

За время болезни сильно ослаб, зато на всю жизнь усвоил два правила. Первое: заболел — отлежись (организм с зарождающейся хворью быстрее справится). Второе: зимой, как бы ни устал, никогда не ложись отдыхать на снег.

Пока болел, часто вспоминал своего друга — Юру Сотникова. Мои недомогания, по сравнению с теми страданиями, что выпали на его долю, сразу представлялись пустяжными.

Познакомился я с ним в 1968 году во Владивостоке в один из тех чудесных сентябрьских дней, которыми славится Южное Приморье. Он сразу привлёк моё внимание своей некоторой старомодностью. Коротко стриженные волосы, защитного цвета рубашка с короткими рукавами, заправленная в чёрные брюки с тщательно отутюженными стрелками. На простом русском лице серые, глубоко посаженные, но, в то же время как бы распахнутые глаза. Где-то в их глубине всегда таилась лёгкая, непроходящая грусть. Даже когда он смеялся, а посмеяться он любил, она не исчезала. Вздёрнутый кончик носа начисто лишал его лицо мужественности. На самом же деле он был волевым человеком с сильным характером. Меня восхищала его постоянная готовность к бескорыстной помощи.

Юра, как и я, любил ходить по тайге по сложным маршрутам. Учились мы оба в Дальневосточном политехническом институте, только на разных факультетах. Я — на факультете радиоэлектроники, а он — на электротехническом, но жили в одном общежитии. Благодаря этому, быстро подружились. За три года вдвоём четырежды пересекли Сихотэ-Алинь с побережья Японского моря до реки Уссури. Совершили несколько небольших, но памятных походов по горам Южного Приморья.

Весной 1972 года судьба разлучила нас (я женился и переехал в г. Горький). Из Юриных писем знал, что он с нашим общим знакомым, русским богатырём и красавцем Сашей Тимашовым планирует совершить сплав пятой категории сложности по якутским рекам Гонам и Учур до Алдана.

А в конце ноября отец Юры, Василий Иванович, сообщил, что ребята с маршрута не вернулись. Поиски, организованные Алданским авиаотрядом и геологами, пришлось прекратить из-за низкой облачности и рано выпавшего снега.

С наступлением весны по инициативе комитета комсомола Дальневосточного политехнического института, при активной помощи Приморского отделения Русского географического общества была организована поисковая группа из шести человек под руководством одного из самых титулованных туристов Дальнего Востока Бориса Останина.

Я и дядя Юры — Илья Иванович, живший в Новосибирске, — присоединились к ним. За неделю добрались до верховьев Гонама и начали сплав. Возле устья ключа Нинган, в шестистах километрах от последнего жилого посёлка, нашли в брошенной избушке геологов записку. Вот её полный текст:

«Тем, кто, возможно, будет разыскивать нас.

Вышли на Гонам 1 августа. В ночь с 23 на 24 августа пятиметровым паводком унесло лодку и снаряжение. Сюда добрались на лёгком плоту 2 сентября в крайне истощённом состоянии, т. е. голодали. Здесь держались частично (очень мало) на грибах и ягодах. В этом состоянии разобрали склад, чтобы построить плот. Сегодня, 15 сентября, мы отправляемся вниз по Гонаму. Надеемся встретить на Учуре людей. Ноги опухли, передвигаемся с трудом.

15.09.72 г.

Сотников. Тимашов.

Р. С. Существенно обижены на геологов, улетевших отсюда в этом году с нарушением закона тайги. Немного муки и крупы очень облегчили бы наши страдания».

Позже на метеостанции Чюльбю (от ключа Нинган до неё 240 км) метеоролог Шатковский подтвердил, что в двадцатых числах августа 1972 года шли проливные дожди, и уровень воды в реке Учур у Чюльбю за сутки поднялся на восемь метров! Это соответствует подъёму воды в среднем течении Гонама на пять-шесть метров. Такой быстрый и мощный подъём характерен для районов вечной мерзлоты. Оттаявший за лето верхний слой почвы перенасыщен влагой, и во время дождей вода сразу скатывается в реки. (Мы сами после непродолжительного ненастья в верховьях Гонама были застигнуты двухметровым паводком).

Ниже Нингана река прорезает высокие гранитные хребты. Каскады надсадно ревущих порогов следуют один за другим. Я до сих пор не могу понять, как обессиленные ребята на неповоротливом плоту из брёвен сумели пройти Солокитский каскад, протяжённость которого 46 километров! В нём даже наши шестиместные надувные плоты временами исчезали между кипящих валов воды.

За плечами Юры с Сашей остались многие сотни километров дикого, безлюдного пространства, но последний, самый мощный порог им пройти не удалось — плот разбилось, остатки снаряжения унесло. Что особенно обидно — дальше река успокаивается, и даже неуправляемый плот вынесло бы к людям.

В устье речки Холболоох группой челябинских туристов, шедшей за нами, на высоком берегу была найдена разрытая медведем могила глубиной 30–40 сантиметров и лежащий на земле крест с нацарапанной надписью: «Сотников Ю. В. 23.09.72 г.» Вокруг кости, обрывки одежды. Челябинцы всё это собрали и, выкопав яму поглубже, перезахоронили. На могиле поставили далеко заметный с реки массивный крест.

А на следующий год корабелы из Николаевска-на-Амуре — родины Юры Сотникова — закрепили на кресте пластину из нержавеющей стали. На ней выгравированы строки Юриного стихотворения:

*Тайга, тайга, мне скоро уезжать.
И тут не нужно слов высоких.
Мне хочется в объятьях крепких сжать,
Как плечи друга, склоны хмурых сопок.
Узнав тайгу, нельзя забыть её.
Она своим простым законам учит.
Здесь у костра не хвастают, не лгут,
Не берегут добро на всякий случай.
Здесь все свои и, верно, в этом суть.
Строга, добра, сурова, необъятна.
И где бы не лежал мой путь, —
Я знаю, что вернусь к тебе обратно.*

**Юра Сотников.
Хабаровский край,
г. Николаевск-на-Амуре.
Трагически погиб 23.09.72 г.**

Я прикрываю глаза и пытаюсь представить последний день моего друга...

Два измученных человека скрючились у чадающего костра. Сырость, холод до предела измотали их, а ночью выпал глубокий, почти по колено, снег. У Юры уже нет сил даже сидеть. Он прилёг на снежную перину. Больное сердце бьётся с перебоями. Саша же упорно поддерживает огонь — если потухнет, разжечь будет нечем. Слабое пламя хоть как-то согревает, а дым должны заметить с воздуха...

Юре чудится, что к нему по летнему лугу среди цветов идёт молодая мама. Она уже совсем близко. Юра явственно ощущает запах её волос. Тёплые ладони ласково коснулись плеч, и ему сразу стало легко и покойно. Мама загадочно улыбалась.

Только теперь он увидел, что её щёки покрыты нежным золотистым пушком. «Как же я прежде не замечал этого?» Юра протянул руку, чтобы погладить маму по щеке, но родной образ растаял...

Саше приходится прилагать невероятные усилия, чтобы заставить себя подняться и вновь идти за ветками и сучьями. Всё, что могло гореть, вблизи собрано, и поддерживать огонь становится всё труднее...

Послышался гул самолёта. Он нарастал. Глаза загорелись надеждой — их ищут! АН-2 уже прямо над головами, но... проклятые небесам!!! В низких облаках ни единого просвета!..

Опять повалил снег. Юра с трудом разомкнул воспалённые веки. Ввалившиеся глаза утратили прежний блеск и не оживляли измождённого лица. В голове едва шевелились отрывочные мысли: «Нас ищут... Снежинки похожи на парашютики... Куда делась мама, она замёрзнет... Как красива сегодня тайга... Нас обязательно найдут...»

Снег, падая на его лицо, больше не таял.

Юра не представлял себе жизнь без тайги, и судьба распорядилась так, что он навеки остался лежать в земле мудрого Улукиткана — проводника Григория Федосеева, книги которого Юра любил и перечитывал.

Где настигла смерть Сашу Тимахова, неизвестно. Умер ли он там же от холода, голода? Или нашёл силы идти дальше? Вряд ли тайга когда-нибудь ответит на эти вопросы.

Юры больше нет, но в моей памяти живут его слова: «Лучшие качества человеку даёт природа. Она делает его добрее, очищает от шелухи и оставляет главное — здоровый стержень».

Через несколько месяцев я получил из Николаевска-на-Амуре посылку — продолговатый фанерный ящик с завернутым в ватин винчестером и письмо, из которого узнал, что Юра взял с собой на Гонам лёгкую малокалиберную винтовку, а пятизарядный винчестер оставил дома. В конце письма была приписка: «Ружьё — наш дар тебе от Юры. Береги. С уважением, Сотниковы».

ДЖАНГО

На четвёртый день хворобы почувствовал себя заметно лучше. Выбравшись на свежий воздух, занялся ремонтом лыжных креплений. Занятие это не требовало особых усилий, но, оказывается, я так ослаб, что вынужден был то и дело отдыхать.

— Эх, мне бы здоровье Луксы, — вздыхал я. — Ему всё нипочём. Умывается снегом, воду пьёт прямо из полыньи, спит в дырявом, свалявшемся спальнике, но никогда не мёрзнет и не болеет. Чем не снежный человек? Правда, временами жалуется на боли в желудке, но и то как-то мимоходом.

Завершив ремонт, принялся шататься по стану взад-вперёд, как неприкаянный. Не отпустило какое-то тревожное предчувствие. Видимо, не давали покоя съеденные мышами норки. Не выдержав, решил проверить хотя бы ближние ловушки.

Первые две не заинтересовали привередливых зверьков. «Квэк-квэк-пии-и, квэк-пии-пииуу», — тревожно кричал дятел над следующей хаткой. Я невольно прибавил

шаг и, сгорая от нетерпения, заглянул в неё. Но, увы, норки оставили без внимания даже жирные кетовые плавники.

Над головой повторилось «квэк-квэк-пии, квэк-пии-пииуу». Подняв голову, разглядел дятла, сидящего на берёзе метрах в десяти. Его гнусавый крик никак не вязался с суровым обликом самого крупного представителя семейства дятловых — желны. Гроза вредителей леса имел и соответствующий наряд: весь чёрный, с красной шапочкой на голове. Прямо как кардинал у Дюма.

Бойко перемещаясь по стволу, он простукивал его крепким клювом подобно врачу, то с одной, то с другой стороны, то выше, то ниже. Наконец, что-то нашёл. Вероятно, зимовочную камеру личинки короеда, и приступил к «операции». Во все стороны полетели щепки, следом древесная труха. Временами желна, комично наклоняя голову то влево, то вправо, осматривал конусовидный канал. И вот спящая личинка наколота на острые щетинки шилообразного языка и отправлена в желудок. И так целый день! Как у него сотрясение мозга не случается от такой долбёжки.

* * *

На следующее утро отправились с Луксой на Джанго за оставленными там продуктами.

Мороз приятно пощипывал уши. Снег под лучами восходящего солнца сиял девственной чистотой и свежестью. Собаки, весело рыская по сторонам, то забегали вперёд, то отставали. Вдоль берега, выстроившись в несколько рядов, застыли высокие, в два обхвата тополя.

— Лукса, из такого ствола, наверное, выйдет не один грузовой бат*.

— Да, тополя хорошие. На Тивяку один учёный-охотовед даже зимовал в дупле большого тополя. Три сезона зимовал. Дверь повесил, окошко вырубил, потолок сделал. Печку поставил. Нары. Потом кто-то сжёг, ёлка-моталка. Чего жгут? Кому мешает?

Перед Разбитой Пират неожиданно остановился. По его напряжённой стойке мы догадались — причуял зверя. Действительно, на острове, окаймлённом ржавым тальником, сквозь морозную дымку угадывался силуэт оленя. Заметив нас, изюбрь бросился наутёк. Пират напористо, с азартным лаем, ринулся следом. Индус же, как ни в чём не бывало, продолжал крутиться вокруг нас.

«Убегает — значит, для хозяина не опасен», — так, должно быть, истолковал он ситуацию.

Изюбр, казалось, не бежал, а летел, откинув голову назад, лишь изредка касаясь копытами снега. Вскоре он скрылся за излучиной реки. Характер лая Пирата изменился.

— Остановил, — прокомментировал Лукса.

Я вопросительно посмотрел на него.

— Когда гонит — лает с визгом, остановит — как на человека лает и подвывает.

Торопливо обогнув излучину, сразу увидели оленя. Он стоял у длинной промоины, под обрывистым берегом. Пират, отвлекая внимание на себя, волчком вертелся на безопасном расстоянии. В такой ситуации не составляло труда приблизиться к изюбру на верный выстрел, но стрелять мы не могли — зверь запретный, а лицензии на него у нас нет. Отозвав озадаченного пса, двинулись дальше.

Широкий коридор реки открывал поворот за поворотом. Кое-где на стремнинах чернели полыньи. От них, словно от чаш с кипятком, поднимался пар.

* Бат — грузовая долблёная лодка, как правило, из ствола тополя.

За Разбитой на скалистом утёсе высилась, как на постаменте, двадцатиметровая каменная глыба. Её грубые, но точные контуры напоминали массивную голову ухмыляющегося великана. Особую прелесть этому творению природы придавали лишайники, покрывавшие её пёстрым ковром. Ярko-красные, почти кровавого цвета участки чередовались с нежно-зелёными, сиреневыми. Глядя на эту красоту, понимаешь, насколько природа щедра и разнообразна: её никак не упрекнёшь в недостатке фантазии. С помощью растений, ветровой эрозии, воды и солнца она творит неповторимые шедевры.

На подходе к Джанго я услышал глухой рокот. Сначала мне показалось, что летит вертолёт, но вскоре увидел, что это рокочет укрытый белой шапкой тумана мощный порог. В этом месте каменный мыс, вклиниваясь в русло, прижимает Хор к отвесной стене. Само русло завалено обломками базальтовых плит, и вода с рёвом пробивается между ними.

Мороз уже умирил буйство боковых сливов ледяной бронёй, но на самом стрёже не оставался незамёрзший участок. Зеленоватые буруны бесновались в ледяном кольце, пытаясь разрушить крепкие оковы. Но мириады брызг, намерзая капля за каплей на краях, постепенно сжимали это кольцо. Пройдёт ещё несколько дней, и порог заплывёт льдом и затихнет до весны.

Чуть ниже по течению темнел бугор, слегка припорошенный снегом. Подойдя ближе, поняли — лосиха. Надо льдом возвышались передние ноги, голова и половина туловища. Вокруг следы волков. В боку животного зияла дыра, через которую серые уже вытащили почти всё мясо.

— Волки часто так делают: гонят лося на слабый лёд, а как провалится, окружают и ждут, когда вмерзнет, — пояснил Лукса. — Не доели. Значит, придут ещё.

Ну вот, наконец, и Джанго. Можно отдышаться. После болезни я был ещё слаб, и отдых затянулся. Поев мяса и выпив душистого чая с поджаренным на костре хлебом, я долго лежал у огня в дремотной тишине. Лукса терпеливо ждал. День угасал. Пора было возвращаться.

Взвалив на плечи набитые продуктами рюкзаки, тронулись в путь. Сумерки быстро сгущались. Когда подошли к порогу, было совсем темно. Ревун, при свете дня сказочно красивый, в кромешной тьме показался угрюмым и злоеющим.

Дальше шли на ощупь, определяя край колеи плоскостью лыж. Когда выходили на припорошенные снегом наледы, чтобы не сбиться со своего следа, поджигали смоляк. Обратная дорога меня окончательно измотала — к становищу подходил чуть живой. В прореху туч запоздало выглянул ярко-жёлтый диск луны, напоминающий лицо радостно улыбающегося колобка, сумевшего вырваться на волю. Тайга осветилась мягким серебристым светом. Но сердитая хозяйка-ночь прогнала непослушного малыша за высокий конус сопки, а над нами раскинула чёрное, с крапинками звёзд, покрывало.

— Луна о сопку ударилась и на звёзды рассыпалась, — пошутил Лукса.

Плотно поужинав, сразу забрались в мешки, и я впервые, несмотря на крепкий мороз, проспал до утра, ни разу не проснувшись.

БОЛЬШИЕ РАДОСТИ

Ещё одна неделя впустую. В последнее время чувствую себя волком, безрезультатно рыщущим в поисках добычи. Несмотря на неудачи, вновь и вновь невесть откуда

черпаю силы и всё с большим ожесточением и упорством ищу тропки и расставляю капканы. Надежду на успех не теряю и духом не падаю. Иного пути у меня и нет: в Уфе из «Башнефти» уволился, а чтобы добраться сюда, закупить снаряжение, необходимое для промысла пушнины, пришлось занять крупную (равную полугодовой зарплате инженеру) сумму. Дома же осталась Танюша с нашим первенцем — двухлетним Маратом.

Когда становится совсем невмоготу, напоминаю сам себе весьма поучительную историю:

«Попали как-то в горшок со сметаной две квакуши. Бока у горшка крутые да высокие — никак не выбраться. Одна лягушка смирилась — всё равно помирать, — перестала барахтаться и утонула. Вторая барахталась, барахталась в надежде выбраться и лапками из сметаны ком масла сбила. Опёрлась на него и выпрыгнула из горшка».

Сегодня, когда настораживал капкан, боковым зрением уловил какое-то движение на краю промоины. Оглянулся — норка! Пробежав немного, она змейёй соскользнула в воду и поплыла. Только голова замелькала.

Обедать вернулся в «дом». Тут же прилетел и сел на лабаз в ожидании хлебных крошек луксин рябчик. Я обухом топора раздробил на чурке половинку сухаря и высыпал крошки на брезент. Рябчик долго разглядывал угощение и слетел к нему лишь тогда, когда я забрался в палатку.

Выпив чаю, отправился в сторону Разбитой. На ключе обратил внимание на рябь, пробежавшую по глади небольшой промоины. Она меня озадачила: ветра-то нет, откуда рябь? В этот момент из воды показалась голова норки. «Надо же, то за неделю ни одной, то весь день перед глазами мельтешат», — подивился я.

Держа в зубах рыбку, норка ловко забралась на противоположный берег. Я застыл в позе метателя диска. Зверёк оценивающе оглядел новую «корягу» и, сочтя, что угрозы нет, встал, как бобрёнок, на задние лапки. Завершив трапезу, принялся чистить, вылизывать коричневую шубку.

Я осторожно прицеливаюсь, но стрелять не решаюсь — ветки мешают. Жду, вдруг опять на лёд спустится. Прошло несколько томительных минут. Мышцы дрожат от напряжения, сердце колотится так, словно хочет выпрыгнуть из грудной клетки. Наконец норка закончила прихорашиваться и... побежала в лес.

Разочарованный и в тоже время довольный тем, что имел возможность понаблюдать за симпатичным зверьком, пошёл дальше. И тут навстречу выкатился Лукса. По весёлым лучикам, разбегавшимся от глаз, было видно, что он с богатым трофеем. Точно — поймал соболя! Наконец-то лёд тронулся!!!

— Камиль, не пойму, ты норку ловишь или медведя?

— А что? — оторопел я.

— Смотрел твои капканы на ключе. Зачем такой большой потаск делаешь?

— Как же? Кругом полыньи. С маленьким норка до воды доберётся, и ищи её тогда.

— Неправильно думаешь. Норка с капканом в воду не идёт — на берег идёт. А если потаск тяжёлый, лапу грызёт и уходит. Однако пора мне, путик длинный, а день короткий, — попрощался Лукса и размашисто заскользил дальше.

Подходя к последнему капкану, я боковым зрением уловил какое-то движение под берегом. Затеplилась надежда: вдруг тоже удача? Но, увы, попалась сойка. У самого обрыва остановилась, соображая, где лучше спуститься к ней. Как вдруг перед птицей, словно по волшебству, возник громадный филин. Окочнания его маховых перьев необыкновенно мягкие и нежные. Поэтому он летает совершенно бесшумно, словно призрак. Его размеры поразили меня: высота не менее шестидесяти сантиметров, а голова, как у трёхлетнего ребёнка.

Увидев над собой пернатого гиганта, сойка в ужасе заверещала, вскинула было крылья, но разбойник занёс лапу и вонзил в жертву когти. Резкий крик взметнулся в небо и тут же оборвался. Я свистнул. Филин поднял голову и уставился на меня не мигая. Исчез он так же бесшумно и незаметно, как появился. Вот бестия!

Спустившись вниз, вынул ещё тёплую сойку из ловушки и переложил в пещерку вместо приманки.

Солнце, весь день игравшее со мной в прятки, перед заходом, наконец, избавилось от назойливых туч. Ветер стих. Высокие перистые облака, бронзовые снизу, предвещали смену погоды.

Гип-гип, ура!!! Я добыл первую в своей жизни пушнину!

Утром, как обычно, пошёл по путику проверять ловушки. Валил густой снег. Ветер гонял по реке спирали снежных смерчей, мастерски заделывая неровности в торосах. В общем, погодка «весёлая». Даже осторожные косули не ожидали появления охотника в такое ненастье — подпустили почти вплотную. Испуганно вскочив с лёжек, умчались прочь гигантскими прыжками, взмывая так высоко, что казалось: ещё немного — и полетят.

Подходя к капкану, установленному у завала, где часто бегал колонок, увидел, что снежный домик пробит насквозь, приманка валяется в стороне, а в пещерке горит рыжий факел с хищной мордочкой в чёрной «маске». Колонок!

Я ликовал. Сгоряча протянул руку, чтобы ухватить его за шею, но зверёк, пронзительно заверещав, сделал молниеносный выпад и вцепился в рукавицу. Быстро перебирая острыми зубами, он захватывал её всё дальше и дальше. В нос ударил острый неприятный запах, выделяемый колонками в минуту опасности. Маленькие глазки сверкали такой лютой ненавистью, что я невольно отдернул руку, оставив рукавицу у колонка в зубах. Умертвив зверька, положил добычу в рюкзак.

Читателя, наверняка, покорабят эти строки, и он вправе думать: «Убийца!» Однако не стоит рубить сплеча. Мне тоже было жаль колонка, но для штатного охотника добыча пушнины — это работа. Без смерти здесь не обойтись. Всем нравится красиво одеваться, но звери не по своей воле превращаются в меховые шапки и воротники. Единственный способ остановить добычу пушнины — перейти на искусственные меха. К сожалению, пока не все готовы к этому.

Когда я, мерно поскрипывая лыжами, подъехал к палатке, из неё выглянул Лукса. По моему сияющему лицу он сразу догадался, что Пудзя сегодня вознаградил меня за упорство, и радовался моей удаче больше, чем своей. У него же самого сегодня редкостные трофеи: на перекладине висели две непальские куницы — харзы. Их головы были обёрнуты тряпочкой — «чтобы другие звери не узнали, что пропавшие куницы в наших руках». Делает это Лукса каждый раз, на всякий случай, ибо так поступали его отец, дед, прадед.

Харза внешне похожа на обычную куницу, только вдвое крупнее. Она одинаково хорошо чувствует себя как на земле, так и на деревьях. Хвост у неё длинный, поэтому харза, снующая по ветвям, напоминает мартышку.

Окраска у харзы своеобразная и довольно привлекательная, по богатству цветов может соперничать с обитателями тропиков. Бока и живот ярко-жёлтые, горло и грудь оранжевые, голова чёрная, затылок золотистый.

— Как это ты умудрился за один день пару взять? Мне даже их следы ни разу не встречались!

Лукса прищурился, пряча снисходительную улыбку:

— Эх ты, охотник! Харза одна не промышляет. Ей всегда напарник нужен. Бывает, собираются три, четыре. Кабаргу они шибко любят, а вместе легче добыть. Одна

вперёд гонит, другие сбоку к реке прижимают. На лёд выгонят и грызут. Весной по насту харзы даже изюбра загрызть могут.

После ужина я сел обдирать свою первую добычу. Ох, и муторное, оказывается, это дело. Пока очищал добела мездру, кожа на кончиках пальцев вздулась и горела огнём. Снятую шкурку надел на специальную деревянную правилку и повесил сушиться.

С утра занялись сооружением шалаша над палаткой. Дело в том, что во время снегопада с потолка каждый раз начинается весенняя капель. Усилили каркас, на рубили лапника и обложили им палатку. От этого в нашем жилище стало теплее, но сумрачнее.

Время близилось к обеду. Идти в тайгу уже не имело смысла, и мы занялись дровами. Выбрали сухой, без коры кедр. Он был так высок, что при падении перекинулся через Буге удобным мостиком.

Огромные, как колёса древних повозок, чурки взвалив на спину, несли к палатке, раскачиваясь из стороны в сторону, подобно маятникам. Пот заливал глаза, одежда липла к спине, ноги от напряжения гудели. Каждому пришлось прогуляться так раз по десять. Зато и дров заготовили надолго.

Последний день осени ознаменовал перелом в охоте. После снегопадов Пудзя сжалился — дал долгожданную «команду», и соболя начали тропить. Как любит приговаривать мой учитель — Пудзя всё видит, Пудзя не обидит трудолюбивого охотника.

Утром Лукса повёл меня к Разбитой — там появилось много тропок, — чтобы на месте показать, как ставить капканы на подрезку. Шли долго. Я всё время отставал.

— Хорошо иди. Такой большой, а ходишь медленно, — ворчал Лукса. Он был не в духе и в такие дни становился ехидным, а если я возражал, то распалялся ещё пуще.

— Ну-ка, охотничек, скажи, что это? — не замедлил он с вопросом, указав посохом на наклонный снежный тоннель.

— А то не знаешь!

— Не крути хвостом, как росوماха. Отвечай, если чему научился.

— Осмелюсь сообщить, что здесь белка выкапывала кедровую шишку.

— А по-моему, это работа кедровки, — пытался сбить меня с толку Лукса.

— Никак нет, дорогой учитель. Кедровка разбрасывает снег на обе стороны, мотая головой, а белка снег отбрасывает лапками назад. Так что это раскопка белки. Она чует запах кедрового ореха даже сквозь метровый слой снега.

— Молодец, ёлка-моталка, — повеселел охотник, одобрительно похлопав меня по рукаву, так как до моего плеча дотянуться ему было сложновато.

Лукса, как и всякий настоящий учитель, всегда радовался и гордился моими успехами.

Под Разбитой появились сначала одиночные следы соболя, а потом и тропки. Бывалый следопыт с одного взгляда оценивал: «Это двойка, это тройка». А я никак в толк не возьму, как он определяет, сколько раз тут пробежал соболя. Вроде, ничем тропки и не отличаются друг от друга. Да и тропки ли это? Заметив мою растерянность, Лукса начал объяснять:

— Смотри сюда. Одиночный след — широкий, глубокий, нечёткий, а на тропке мелкий, ясный. Чем чётче след, тем больше раз пробежал здесь соболя.

И сразу стал показывать, как устанавливать капкан на подрезку.

Понаблюдав с полчаса, я полез на сопку закреплять урок на практике. Продираясь сквозь белоразукрашенные пойменные крепи, перевитые тонкими, но прочными

лианами аргу́ты*, коломикты**, вконец умаялся. Взгляд, жадно шаривший в поисках парных следочков, натёкался только на многочисленные наброды изюбрей и кабанов. Зато на скосе длинного отрога меня ожидали прекрасные собо́льи тропки.

Солнце в своём вечном движении неумолимо клонилось к гребням тёмно-синих гор. В низине уже было сумрачно, и я успел поставить всего два капкана. Первый — на горбатом увале, в том месте, где собо́ль поймал и съел сразу двух мышей, а второй — в начале крутой ложбины. Выезжая из неё, врезался в самую гущу аралий и сильно поцарапал лицо об их острые шипы.

Я всегда старался держаться подальше от этих безжалостных, густорастущих деревьев. Высотой они метра три-четыре. Ствол голый, без ветвей, и сплошь утыкан длинными, прочными, как сталь, шипами, напоминающими собо́льи клыки. Если пройти сквозь заросли аралии сотню шагов, то от одежды останутся одни лохмотья.

Завтра выйду на охоту пораньше. Тропки, тропки искать надо. Охота! Настоящая охота начинается!

Ловля на приманку — всё же скучное занятие. Изюдня в день ходишь по проторённым, надоевшим до оскомины путикам. Всё привычно. Ничто не задерживает взгляд. То ли дело подрезка! Чтобы найти хорошую тропку, нужно ходить по новым местам, а это всегда свежие впечатления и неожиданные встречи.

Вчера было ясно и морозно. Углы палатки впервые обметало инеем. Сегодня же потеплело. По радио обещают снег, что совсем некстати: капканы на подрезку засыплет, а их у меня уже девять штук стоит. Вся работа пойдёт насмарку. Правда, хорские «синоптики» — вороны — каркают на мороз. Надеюсь, что чуткие птицы точнее радио.

Первое время я относился к вороньим прогнозам без особого доверия. Но точность предсказаний этих смышлёных пернатых быстро развеяла мой скептицизм. Например, если вороны каркают дружно — быть холоду, устроили в небе хоровод — поднимется ветер.

Весь день расставлял новые ловушки и, хотя сильно устал, всё же полез в сопки. Ничего с собой не могу поделаться. Так и тянет заглянуть за горизонт. Вскоре стали попадаться уже не тропки, а настоящие торные тропы, и принадлежали они не собо́лю, а владыке лесных дебрей — тигру. Его огромные следы перемежались с кабаньими. На вершине сопки все тигровые тропы сходились и тянулись вдоль гребня. (Судя по округлой форме отпечатка, тут ходил самец. У самок след более продолговатый.)

Пройдя метров двести, на каменистом утёсе под многовершинным кедром обнаружил его лёжку. Похоже, что правитель таёжного царства частенько отдыхает здесь, оглядывая свои владения, изрезанные сетью глубоких распадков. Обзор отсюда и в самом деле великолепный.

И в награду за смелость (признаюсь, было страшновато), я впервые имел возможность рассмотреть мощный горный узел на востоке, откуда берёт начало самая труднодоступная в этих местах река Чу́кен.

Заснеженные скалистые вершины, испещрённые безлесными шрамами осыпей, возвышались плотной группой. От них веером расходились более низкие отроги. Если в наше время ещё остались места, про которые можно сказать «тут не ступала нога

* Актинидия аргу́та — мощная лиана, длиной 10–20 м. Масса плодов, внешне напоминающих крыжовник, весом от 5 до 15 г.

** Актинидия коломикта — во многом сходна с аргу́той, но отличается неодновременным созреванием на протяжении августа мелких плодов, массой 3 г. Есть отличия и в листьях. У коломикты они шершавые, а у аргу́ты — гладкие.

человека», то оно в здешних краях более всего применимо к Чукену. Его покой охраняет частокол крутобоких гор, размыкающих свою цепь лишь в устье реки. Течение Чукуна настолько стремительно, что даже удэгейцы, привыкшие ходить на шестах, и те не могут подняться вверх более чем на десять километров. Для моторок он и вовсе непроходим из-за многометровых заломов, порогов и затяжных перекатов. Берегом идти и вовсе невозможно: отлогие участки чередуются с отвесными неприступными прижимами.

Даже мороз не может усмирить Чукуна — ледяной покров усеян частыми и обширными промоинами. Удэгейцы объясняют это тем, что река берёт начало от тёплого источника, бьющего из-под горы с кратким названием Ко. И тот лёд, что местами всё же покрывает реку, очень коварен. Сегодня он прочен, как гранит, а завтра расплывается, словно гнилое сукно.

Эх, на вертолёте бы туда! Построить на горном ключе, кишасщем рыбой и зверьём, зимовье и наслаждаться красотой нетронутого таёжного уголка.

Так я стоял, любовался и мечтал минут десять. Из-за островерхих гор крадучись выползли молочные клубы туч и стали обволакивать одну вершину за другой. И тут на противоположной стороне распадка отрывисто пролаял изюбр. Струхнув от мысли, что тигр где-то неподалёку, я съехал на пойменную террасу.

Перед моим взором предстала живописная картина: сплошь утрамбованный снежный круг, раскиданные вокруг гайна ветки и кусты, срезанные на высоте колена.

Чуть выше под кедром остатки чушки: челюсти и копыта. Всё остальное было перемолото крепкими, как жернова, зубами тигра и нашло приют в его желудке. После обильной трапезы царственный хищник, похоже, нежилась, барахтаясь в снегу, чистил когти — кора дерева в свежих царапинах.

По всей видимости, тигр напал на спящий табун. Позже Лукса подтвердил, что по ночам, когда усиливающийся мороз не располагает ко сну, тигры охотятся, а днём, выбрав удобное место, чутко дремлют на солнцепёке.

Тигр, или, как его здесь называют, «куты-мафа», по традиционным представлениям удэгейцев — их великий сородич, священный дух удэ. Относятся они к нему почтительно и убеждены, что человека, убившего тигра, обязательно постигнет несчастье, а того, кто хоть чем-то помог ему, ждёт удача.

День пролетел так незаметно, что когда между туч показался оранжевый шар солнца, уже задевший нижним краем сопку, я глазам не поверил и поспешно заскользил по накатанной лыжне к стану.

* * *

Тяжело, медленно встаёт рассвет над промёрзшими мышцами хребтов. Когда на востоке чуть затлела, разгораясь, полоска неба, я уже шагал в сторону Маристой пади, где расставлены капканы на приманку.

Как и прежде, во всех пусто, хотя к большинству хаток соболь подходил. «Любопытный, — раздражённо думал я. — Интересуется, видите ли... А нет, чтоб в хатку зайти». Поскольку все следы были трёх, четырёхдневной давности, я сделал вывод, что это наследил не местный, а проходной соболь. Поэтому, сняв капканы, новые настораживать не стал.

На выходе из пади кто-то метнулся через лыжню в чашу. Кабарга! Такая крошка, а прыгает словно кенгуру.

Лукса принёс двух соболошек. Одна тёмно-коричневая, другая почти бежевая. Оба зверька добыты на одном участке, а по цвету так резко отличаются. Что инте-

ресно, за тёмного он получит вдвое больше, чем за светлого, хотя тех и других ловить одинаково тяжело. Выходит, что охотник за один и тот же труд получает разную плату. Чем больше поймашь тёмных соболей, тем больше заработаешь. Такая ценовая политика способствует осветлению расы. Особенно в тех местах, где соболей промышляют с лайкой: промысловик костями ляжет, а возьмёт «казака» — чёрного соболя, ибо получит за него в три раза больше, чем за светлого.

* * *

Вот это день! Вот это удача! Пудзя с несказанной щедростью одарил меня за упорство и долготерпение. Как говорится, не было ни гроша, да вдруг алтын. Степень моей радости легко представить, если вспомнить, что за прошедшие сорок пять дней колонок — мой единственный трофей. Зато сегодня... Но всё по порядку.

Утро выдалось на редкость солнечным и тихим. Быстро собравшись, я зашагал проверять свои первые капканы на подрезку. Сгорая от нетерпения, поднялся на увал и приблизился к первому из них. И что же вижу? Посреди вытоптанного круга чернеет потаск, а капкана нет. Сердце ёкнуло: опять невезуха! Расстроенный, стал разбираться. Вижу, одиночный след пересёк лыжню и потерялся среди опрятных ёлочек. Пригляделся. Да вот же он! Свернулся клубочком, положил головку на вытянутые задние лапы, да так и застыл. На фоне белого снега шелковистая шубка казалась почти чёрной и переливалась морозной искоркой седых волос. Округлая большелобая голова с аккуратными, широко посаженными ушами треугольной формы, покрыта более короткой светлой шёрсткой. Добродушная мордочка напоминает миниатюрного медвежонка. Хвост чёрный, средней длины. Лапы густо опушены упругими жёсткими волосами, которые значительно увеличивают площадь опоры и облегчают бег по рыхлому снегу. След поразил меня несоразмерностью с величиной зверька. Он, пожалуй, крупнее следа лисицы.

Некоторое время я благоговейно созерцал предмет своих мечтаний и привыкал к мысли, что поймал соболя. Потом, так и не сумев до конца поверить в свою удачу, вынул зверька из капкана, погладил нежный мех и, счастливый, помчался дальше.

Три следующие ловушки были пусты. Пятая опять заставила поволноваться. Снег вытоптан, тут же валяется перегрызенный пополам потаск. Ни ловушки, ни соболя. С трудом нашёл его в соседнем распадке. Зверёк так глубоко втиснулся между обнажённых корней кедра, что я еле вытащил его оттуда. И вовремя — мышинный помёт посыпался прямо из шубки. К счастью, мех попортить грызуны не успели. В седьмом капкане опять соболя. Эту ловушку я привязал прямо к кусту, без потаска. Бегаючи вокруг него, зверёк перекрутил цепочку восьмёрками и оказался притянутым к стволу, как Карабас-Барабас бородой к сосне.

Оставались ещё две непроверенные ловушки, но невероятная удача опьянила меня, и я отдался неужённым мечтам, не замечая уже ни свежих следов, ни новых тропок. Ликование переполняло сердце. Тёплые волны счастья несли, качали, дурманили всё больше и больше. Я окончательно утратил чувство реальности и, наверняка, был бы разгневан, окажись восьмой капкан пустым. Однако перед моим взором вновь предстала отрадная для промысловика картина: на том месте, где стоял капкан, вытоптана круглая арена, и на её краю, уткнувшись мордочкой в снег, словно споткнувшись, лежал соболя-самец красивого кофейного цвета.

На обратном ходе проверил шесть капканов на приманку. Пусто. Пустяки! Рюкзак и без того полон! Если охотовед все четыре шкурки примет первым сортом, то денег хватит, чтобы рассчитаться со всеми долгами. Фантастика!

Всё, возвращаюсь с Фартового (так я назвал этот путик) и готовлю к приходу Луксы достойный такого удачного дня ужин.

Сварил мяса. Поджарил на сливочном масле четырёх рябчиков с луком.

Наставник, увидев богато накрытый стол, сразу всё понял.

— С чем поздравить?

Я молча показал четыре пальца.

Лукса от удивления аж присвистнул.

— Вот это да себе! Доставай, Камиль, фляжку! Теперь ты настоящий промысловик!

Когда подняли кружки, наставник с чувством произнёс:

— Пусть удача приходит чаще, ноги носят до старости, глаз не знает промаха!

Попробовав поджаренных мною рябчиков, похвалил: «В жизни не ел ничего вкуснее».

* * *

Какая-то странная погода стоит последние дни. Ночь звёздная, мороз 30–35°, а утром небо начинает заволакивать дымкой и время от времени сыплет пороша. К обеду становится так пасмурно, что кажется, вот-вот повалит настоящий снег, но к вечеру всё постепенно рассеивается, и ночью опять высыпают звёзды. Раньше при таком морозе я вряд ли снял бы рукавицы. А тут пообвык — капканы-то голыми руками приходится настораживать. Натрёшь руки хвоей пихты, чтобы отбить посторонние запахи, и работаешь. К вечеру пальцы от холода опухают и краснеют. В палатку возвращаешься насквозь промёрзший. Пока печь непослушными руками растопишь — не одну спичку сломаешь. При этом невольно вспоминаешь рассказ Джека Лондона «Костёр».

Но по мере того, как разгораются дрова, палатка оживает, наполняется теплом, и ты, только что всё и вся проклинавший, добреешь, становишься благодущней. Сидишь усталый, расслабленный и неторопливо выдёргиваешь из спутавшейся бороды и усов ледяные сосульки, намёрзшие за день. А уж когда выпьешь кружку горячего душистого чая, то уже готов любому доказывать, что лучше этой палатки и этого горного ключа нет места на земле.

Потом принимаешься за повседневные дела. Колешь дрова, приносишь с ключа воду, достаёшь с лабаза продукты, моешь посуду, варишь по очереди с Луксой ужин, завтрак и обед одновременно. Обдираешь тушки. Чуть ли не ежедневно при свете свечи латаешь изодранную одежду, ремонтируешь снаряжение, заряжаешь патроны, делаешь записи в дневнике. После ужина поговоришь немного с Луксой и ныряешь в спальник до утра.

Спать при таких морозах в ватном мешке, конечно, не то, что в тёплом доме на мягкой перине. Но тут главное — правильно настроить себя, принять неизбежность определённых неудобств. Тогда недостаток комфорта и тепла переносится значительно легче. Я, ещё два месяца назад не представлявший, как люди могут зимой жить в матерчатой палатке, теперь считаю это вполне нормальным, а те трудности таёжного быта, которые рисует воображение в городе, на самом деле преодолимы.

Имея жестяную печь, палатку, спальник, свечи и необходимые продукты, в тайге можно счастливо и безбедно жить не один месяц. А нужно так мало потому, что есть главное: древнее мужское занятие — промысловая охота — и природа, с которой тут невольно сливаешься и становишься её частицей.

Только живя в тайге, я понял, каким обилием излишеств окружила вас цивилизация. На самом деле, по-настоящему необходимых для жизни человека предметов не так уж много. Но, к сожалению, человек слаб. То, что ещё вчера было пределом

мечтаний, сегодня норма, а завтра и этого становится недостаточно. Часто в погоне за материальным благосостоянием всё остальное отходит на задний план.

ШАТУН

Ни свет ни заря начал обход Фартового, подарившего мне сразу четырёх соболей.

Поднимаясь по ключу, заметил под козырьком снежного надува хорошо натоптанную тропку норки. Недолго думая, поставил ловушку. На том участке, где я снял трёх соболей, свежих следов нет — отработанная зона. Зато на приманку попалась белка. То, что белка иногда идёт на мясо, я знал, но меня поразило, что эта милая симпатяга соблазнилась тушкой своей же соплеменницы.

Пообедавать устроился на валежине на краю небольшой мари. По небу плыли редкие облака, ярко светило солнце. Недалеко от меня на суку старой берёзы неподвижно сидела сова. Расстегнув футляр фотоаппарата, стал тихонечко подкрадываться. Сова подпустила метров на двадцать и перелетела через марь на макушку ясеня. Когда я вновь приблизился к ней, она спланировала на тот же сук, с которого я спугнул её до этого. Думаю, что общепринятое мнение о дневной слепоте «мудрой» птицы ошибочно. Возможно, днём она видит просто хуже, чем ночью.

Продлив Фартовый на четыре километра и насторожив там шесть капканов, спустился к ключу. Проходя на обратном ходе мимо снежного надува, увидел норку, уже беснующуюся в ловушке. При моём появлении она устрашающе ощерилась, зашипела, впилась злым взглядом прямо в глаза. Её мускулистое тело находилось в беспрестанном движении, отчего густая тёмно-коричневая шубка отливала серебром.

Когда я попытался прижать её к снегу, норка с такой яростью набросилась на меня, что почудилось — нет в тайге зверя страшнее. Признаюсь, я даже растерялся перед её безумной храбростью и неистовой решимостью драться с несоизмеримо более сильным противником.

По дороге к палатке стрелял по вылетающим из-под снега стайкам рябцов. Две замешкавшиеся птицы морозятся теперь на лабазе. Могло быть и больше, если б не очки: как вскинешь ружьё, так стёкла тут же от влажного дыхания покрываются налётом изморози. Порой хочется разбить их о первый попавшийся ствол.

За ужином рассказал Луксе о беличем каннибализме.

— Так бывает, когда зверь ум теряет, — подтвердил он. — Соболю соболя в капкане никогда не трогает. Но, помню, как-то один к изюбру прикормился. Я сразу капкан поставил. Пришёл проверять — в дужках одна лапа. Вроде, ушёл соболю, а по следам вижу, нет, не ушёл — другой съел. Снова капкан поставил. Другой опять съел. Я рассердился — не шутка, ёлка-моталка, два соболя потерял. Наставил много капканов. На другой день прихожу — никого нет. На второй — два рядом лежат. У одного лопатка выедена. И этого дурной начал есть, да не успел, сам попался. Рядом гора мяса, а он своих ест, ёлка-моталка. Совсем дурной!

Громкое карканье известило о наступлении утра. Чёрные дармоеды слетелись на лабаз поживиться за наш счёт. Пират и Индус, обычно разгонявшие их заливиным лаем, прятались от трескучего мороза в пихтовых гнёздах, занесённых снегом. Но как только из трубы потянулась голубая струйка дыма, вороны разлетелись.

Мороз нынче потрудился на славу, обметав ветви толстой искристой бахромой, сверкающей в лучах восходящего солнца. Над нашей долиной зябко ворочался густой и непроницаемый, как вата, туман.

Я весь день бил новый кольцевой путик по крутым бокам сопков, обрамляющим Буге. Так и назвал этот путик «Крутой».

Его дальний конец достигал зубчатого гребня водораздела Буге — Джанго. Оттуда хорошо было видно, как во всю ширь горизонта беспокойными волнами дыбятся горы, подпирающие белыми вершинами густо-синий небосвод. Воздух настолько чист и прозрачен, что, кажется, протяни руку — и достанешь до одной из них.

Мимо проплывали облака, лёгкие и зыбкие, как парусники. Следом по земле неоступно, как шакалы за добычей, крались их серые тени. Вдали синели мощные отроги главного хребта. Они властно притягивали взгляд, завораживали. Впоследствии, уже в городе, всякий раз, когда этот первобытный контур всплывал из глубин памяти, пробуждалась лавина воспоминаний и щемящее желание вновь оказаться в этих местах.

Ничто не пленяет меня так, как горы — самое потрясающее произведение Природы. Стоит мне попасть в мир этих бесстрастных великанов, как меня охватывает необыкновенное волнение. Мысли очищаются, взлетают над обыденностью, и кажется, что вся твоя предыдущая жизнь осталась где-то далеко, нет никаких проблем и ты переходишь в иное измерение. Что ещё немного — и постигнешь смысл быстротечной жизни, всеобщий закон мироздания. Верно подметил Владимир Высоцкий: «Лучше гор могут быть только горы, на которых ещё не бывал...»

Однако, понизывающий ветер поторапливал к спуску. Новый путик порадовал обилием тропок. Настоящее соболиное царство. Пожалуй, стоит снять большую часть капканов на приманку и переставить их сюда на подрезку.

Вернувшись к становищу, хотел посоветоваться с Луксой на этот счёт, но он ошарашил меня сообщением, что в четырёх километрах от палатки появился шатун — зверь-смертник. Косолапый настолько худ, что, пройдя по лыжне метров сто, провалил снег всего два раза. На следах — пятна крови.

Решили с утра идти за ним по следу с собаками, иначе спокойной охоты не будет. Он может разорить лабаз, залезть в палатку. Шатун ничего не боится. Встреча с ним грозит трагедией, поскольку терять ему нечего. Так и так финал у него один — смерть.

К охоте готовились обстоятельно. Перед сном Лукса вышел из палатки. Неожиданно раздался его громкий крик: «Хо-хо!» Я насторожённо прислушался: что происходит?

— Хо-о... — глухо отозвались сопки.

— Лукса, что случилось? Зачем кричал? — обеспокоенно спросил я, когда он вернулся.

— Ничего не случилось, — невозмутимо ответил охотник. — Прогноз радио проверял. Слышал, эхо голос потеряло? Снег будет. Обязательно медведя возьмём, — заключил он уверенно.

Легли поздно. Я никак не мог заснуть. Беспокойно ворочался. Сон был тревожный. Преследовал кошмар про исполинских мышей, загонявших разъярённого тигра к нам в палатку. Несколько раз вставал. Топил печь. Под утро, наконец, забылся.

Было ещё темно, когда Лукса тронул меня за плечо. Жидкий рассвет едва наметился. За ночь действительно выпал хоть и небольшой, но пушистый снег.

Я натягивал меховые носки, когда совсем рядом, за тонким брезентом палатки, раздался душераздирающий собачий визг. Тут же послышался злобный лай. Необутые, едва успев схватить ружья, мы выскочили наружу. Лукса первый, я за ним. Дальше всё произошло гораздо быстрее, чем об этом можно рассказать.

Не успев я оглядеться, как громыхнул выстрел. Бросившись за палатку, увидел метра в двадцати бурого медведя, отбивающегося от наседавшего с отчаянной смелостью Пирата. Собака ловко уворачивалась от когтистых лап. Рядом с медведем лежал окровавленный Индус.

Второй выстрел Луксы грянул одновременно с моим. По глухим шлёпкам поняли, что пули достигли цели. Шатун взревел и, сделав несколько шагов, повалился на бок.

Пират подскочил к нему и злобно рванул шкуру на загривке, но, увидев, что зверь не реагирует, успокоился. Вялые уши косолапого говорили о том, что он мёртв, но Лукса на всякий случай выстрелил ещё раз.

— Не сердись, Пудзя, совсем состарился медведь. Пошёл отдыхать в верхнее царство, — произнёс традиционное удэгейц.

Тут меня запоздало затрясла мелкая дрожь. В горячке мы выбежали в одних носках и раздетые. Мороз быстро напомнил об этом и погнал в палатку.

Одевшись, вышли осматривать добычу. Это был здоровенный, но чрезвычайно костлявый самец, истощённый до такой степени, что кожа свисала складками. Тёмно-бурая шерсть местами слиплась от смолы. Голые, неприспособленные к морозу ступни, потрескались и кровоточили.

По следам восстановили картину происшедшего. Шатун по лыжне вышел к палатке. Не слежавшийся, пухлый снег скрадывал звуки его шагов. Осторожно прокраившись к ничего не подозревавшим собакам, медведь ударом лапы разрушил пихтовую конуру и, размножив череп Индуса, бросился с ним в лес. Но уйти ему помешал ринувшийся вдогонку Пират.

— Молодчина! Не спасовал, — ласково потрепал Лукса собаку.

Он острым ножом «расстегнул» шубу медведя от подбородка до паха, и мы принялись свежевать тушу. Но вскоре бросили эту работу, так как мясо было сплошь поражено длинными узкими глистами. Так вот почему медведь не сумел нагулять жира.

— Чего такой куче мяса пропадать, давай используем на приманку, — предложил я.

— Соболь плохо на медвежье мясо идёт. Засыпай снегом, — не согласился бывалый промысловик.

Он вырезал у медведя только жёлчный пузырь. Удэгейцы используют его при кашле, расстройстве желудка. Пьют жёлчь свежей. Или, высушив в сухом тепле, растирают в порошок и употребляют по щепотке. Я же взял себе на память коготь длинной почти восемь сантиметров.

Успешное и быстрое избавление от шатуна несколько омрачилось гибелью Индуса. После всех треволнений на охоту решили не ходить. Похоронив собаку, перекололи остатки кедровых и ясеневых чурок. Получилась огромная гора дров. Иные поленья были испещрены узкими каналами, впадающими в просторные «комнаты», в которых чёрными комками лежали оцепеневшие муравьи. Трудно поверить, что весной в них проснётся жизнь, и шустрые работяги снова заснут по лесу.

Я положил одно полено возле печки, и весь вечер наблюдал, что произойдёт с муравьями. Увы, резкое тепло не вывело их из оцепенения.

После ужина обдирали соболей. Дело это для меня пока трудоёмкое и утомительное. Ещё отремонтировал несколько капканов. На одном не было язычка. Пришлось отковать его из раскалённого гвоздя на обухе топора.

Пока занимались всем этим, свечка успела прогореть. Я заметил, что в морозную погоду она горит медленнее и одной хватает на три дня. И это понятно — парафин на морозе плавится только в лунке у фитилька, и «сосулек» из расплавленного, не успевшего сгореть парафина, не образуется. Поэтому свечку лучше устанавливать подальше от печки, на небольшой высоте, но и не слишком низко, чтобы не ухудшать освещённость.

За ужином Лукса принялся хвалиться, что в молодости он с Митченой за осень по семь-восемь медведей с собаками брал. Некоторые достигали веса десяти косуль. Нетрудно подсчитать, что это порядка трёхсот килограммов. Особенно много косолапых тогда водилось в верховьях Хора и Чуёв. (Могу подтвердить, мы с Юрой

во время перехода Самарга-Чуи прямо на водораздельном хребте видели медвежьи тропы с глубокими, выбитыми до самых каменных плит вмятинами).

— Может, расскажешь про какой-нибудь интересный случай.

— Рассказать, бата, есть что...

Тут удэгеец замолчал и, искоса поглядывая в мою сторону, принялся подкладывать в печь кедровые поленья. Он явно ждал, когда я полезу в карман куртки за карандашом и блокнотом. Я заметил, что ему нравится, что я записываю его истории. Увидев блокнот на моём колене, удовлетворённо хмыкнул и, глядя в огненный зев печурки, начал вспоминать:

— Гнал как-то соболя. Долго он меня мотал. Наконец выдохся — под корни старого тополя залез. Я сгоряча палкой туда. Пока тыкал во все стороны, соболь вылез и по косогору ушёл. Ругнул себя и за ним. Тут сзади кто-то как рывкнет и по ногам — трах! Я упал лицом в снег. Слышу, вокруг топчется, пыхтит, обнюхивает. Лежу, не шевелюсь — сообразил, что медведь. Толстозадый походил-походил и назад, под тополь. Берлога у него там была, ёлка-моталка, а я его разбудил.

При этом Лукса так потешно изобразил, как он дырявил Топтыгина, что я, сотрясаясь в беззвучном смехе, едва вымолвил:

— Ох, и сочиняешь!

— Зачем сочиняю? Правду говорю. Всё так было, — обиделся охотник и, насупившись, принялся точить и без того острый нож.

— Не обижайся, Лукса. — примирительно сказал я. — Но уж больно история неправдоподобная.

— Ого! Не то ещё бывает. Сам иногда удивляюсь: думаешь одно, выходит другое. Зверь-то разный. Не всегда угадаешь, что у него в голове. Ты Джанси знаешь?

— Это тот, у которого указательный палец на правой руке не сгибается? Торчит, как дуло пистолета.

— Он, он! Его Пистолетом и зовут. С ним ещё хлеще случай был. Нашли они с Удзали берлогу бурого за Коломинкой. Джанси длинным шестом медведя будит. Тот выскочил — и на него. Удзали стрельнул, но промахнулся и удрал со страху. Я всегда говорил: Удзали — трусливый человек! Джанси карабин схватил и успел нажать крючок. Раненый медведь на него повалился. Джанси память потерял. Очнулся — медведь рядом лежит, стонет. Карабин в сугробе. Джанси потянулся за ним. Зверь заметил и лапой по башке огрел. Тот снова память потерял. Пришёл в себя и опять за карабином, а медведь не даёт — по башке всё бьёт. Но уже не так сильно — слабеет. Дотянулся Джанси до карабина и добил медведя. Вот так бывает, а ты говоришь, привираю. Однако шибко повезло Пистолету. С бурым шулки плохи. Лучше с гималайским дело иметь. Он спокойнее, и мясо вкуснее. Шатуном никогда не бывает. Всегда жир нагуляет. А бурый шибко злющий, когда разбудишь. Даже тигр ему не командир.

К сожалению, детям через сказки и книги даётся неправильное представление о многих животных: медведь — увалень неуклюжий, заяц — трус, а волк — кровожадный разбойник. На самом деле это не совсем так. Медведь ловок и силен необыкновенно, чему мы сегодня были свидетелями, а волк человека больше любого другого зверя боится. Даже лыжню другой раз обходит. Репутацию лютого и кровожадного литератора, тигр. Но, если обратиться к фактам, то оказывается, за последние десятилетия не было ни одного случая неспровоцированного нападения амурского тигра на человека. Что же касается кровожадности, то Лукса утверждает, что куты-мафа, когда сыт, не трогает зверей, даже если они проходят на расстоянии прыжка.

Позади половина сезона. Я подошёл к этому рубежу с весьма скромными результатами, но успехи последних дней обнадеживают. Вчера на Фартовом снял ещё одного соболя. Настоящий «казак»: чёрный, седина серебром отликает. Он так глубоко забился в узкую щель под валежиной, что пришлось тесаком расширять её. А сегодня утром перед выходом на путик загадал: «Если сниму ещё одного, то и сезон завершу удачно». Я же снял трёх! Правда, третьего мыши успели подпортить — на спине мех выстригли.

Мог бы записать на свой счёт и четвёртого, да подвёл вертлюг. Цепочка соскочила, и соболю ушёл вместе с капканом. Битый час пытался найти его, но безуспешно. Жаль зверька. Ведь капкан ему, всё равно, что пудовые кандалы для человека.

Видел следы кабана. Вдоль них пропитанные кровью комочки снега. Сейчас у них гон. В это время секачи очень агрессивны и безжалостны друг к другу. Видимо, этот как раз и пострадал в одном из турнирных боёв.

* * *

Резко похолодало. Выйдя утром из палатки, я чуть не задохнулся от мороза. Придавив толстым поленом вход, пошёл осматривать путик. Мимо, с быстротой молнии, пронёсся какой-то зверь. От неожиданности я вздрогнул, а разглядев, улыбнулся: из-за кедра, жизнерадостно виляя хвостом, победоносно взирал Пират. Отвязался-таки шельмец! Что же делать? Собака на капканном промысле только вредит — следы и тропки затаптывает.

Попытался подозвать — не идёт. Знает, что опять привяжу. Пришлось возвращаться обратно и топить печь. Минут через пятнадцать Пират, наконец, поверил, что я никуда не собираюсь, и подошёл к палатке. Я подманил его мясом и, крепко привязав, побежал навёрстывать упущенное время. Жалобный вой собаки ещё долго оглашал тайгу, действуя на нервы и распугивая зверей в округе.

В этот день ходил по Крутому, но Пудзя не пожелал делиться своими пушными богатствами. Зато подарил свежие тропки, а это надежда на успех в будущем. Выставил восемь капканов. Пока настораживаешь и маскируешь ловушку, коченеешь — мороз студит кровь, подбирается к сердцу. Невольно думаешь: «Пропади всё пропадом. Не вернуться ли лучше в палатку, к тёплой печурке?» Но встанешь на лыжи, разомнёшься, разогреешься и, при виде заманчивой сбежки, опять принимаешься за работу.

Взобрался на гребень кряжа, покрытый кедром. Иные старцы такие громадные, что втроем ствол не объять. Неожиданно справа кто-то закопошился. Я затаился: прямо из снега вылетали прелые листья, золотистые чешуйки, а вот и сама копуша-белка с кедровой шишкой в лапках показалась. Съела два орешка, подбежала к дереву, но, видимо, учуяла меня и замерла возле комля, распушив хвост. Я прицелился чуть выше головы. Выстрел оказался удачным. Положил добычу в рюкзак и пошёл дальше. Тотчас на другом кедре зацокала подруга. Вскоре и она легла рядом с первой.

Мне, можно сказать, подфартило — в этих местах белка малочисленна. Даже с хорошей собакой больше пяти-шести за день не добудешь.

Ближе к вечеру из небольшой ложбины донёсся истошный крик, похожий на верещание колонка. Во весь дух помчался туда, но ничего не обнаружил. Только филин бесшумно скользнул над головой. Будь потемней, я его и не заметил бы. Привидение, а не птица!

До стана оставалось более километра, а в морозном воздухе уже чувствовался запах дыма. Я не в первый раз замечаю, что стал чутяй его на значительных расстояниях. Вначале был склонён думать, что это самообман, подобный слуховым или

зрительным галлюцинациям, но каждый раз, приходя в палатку, обнаруживал, что Лукса действительно топит печь. Видимо, при длительном пребывании в тайге, на чистом воздухе обоняние обостряется.

После ужина, как всегда, сели обдирать добычу. Я — соболей, Лукса — пойманных сегодня норок. Одна из них уже побывала в капкане, но, пожертвовав лапкой, ушла. Насколько сильной должна быть тяга к свободе, чтобы пойти на такую жертву. С того дня прошло не более двух недель, култышка едва заросла, но зверёк уже успел потерять осторожность и повторно угодил в ловушку.

ОДО АКИ

Декабрь трудится изо всех сил. Третью неделю стоит небывалая стужа. Воздух лежит неподвижным тяжёлым пластом. Слабые лучи зимнего солнца не в силах согреть остекленевшую тайгу. Но, несмотря ни на что, к полудню всё-таки просыпаются, оживают её обитатели. Они хорошо приспособлены к жизни в студёную пору.

Особенно холодно сегодня. В лесу гремит настоящая канонада: это лопаются от мороза стволы деревьев.

Весь день ходил по целине. Бил ещё один путик к истокам Буге — надеялся найти более богатые уголья. Соболей там действительно есть, но всё же в среднем течении его куда больше.

Чем выше по Буге, тем чаще наледи. Наледь — явление характерное для горных ключей. Зимой, во время сильных морозов, большинство из них промерзает до дна, и грунтовая вода дымящимися родничками просачивается на поверхность льда. Растекаясь вокруг, она намерзает слой за слоем. Так со временем образуются обширные ледяные поля, заливающие порой всю долину на высоту до полутора метров. По краям образуются красивые ступенчатые ледопады. Иные наледи, не успевая растаять весной, белеют среди зелени чуть ли не до июля.

В верховьях уклон долины заметно круче. Сопки едва расступаются, пропуская ключ, сбегавший по каменным ступенькам обледеленных водопадов.

Обходя сошедшие со склонов снежные лавины, я вынужден был петлять в теснине от одной скальной «щеки» к другой.

Вокруг ни одного кедра. Только сумрачные ели и пихты. Тайга здесь сохранила девственный облик, но животный мир беден. Снежный покров не оживляли ни наброды изюбрей, ни кабанов, ни косуль. Одна лишь кабарга чувствует себя полновластной хозяйкой. Даже ветер тут редкий гость. Поэтому и снег как лёг с осени на деревья, так и лежит — толстый, слоистый, словно кабанье сало. Этот путик я нарёк «Глухим».

Если верить термометру, сегодня утром было минус сорок три градуса. Недаром про здешние места говорят: «широта крымская, долгота колымская». В морозные дни больше всего ногам достаётся. Пока ставишь капкан, они застывают до бесчувственности, и потом идёшь, будто на деревяшках, пока кровь вновь не достигнет пальцев и не оживит их.

Иду себе, иду и вдруг сверху вниз скользнула чья-то тень. В общем-то, явление привычное: комки снега часто срываются с ветвей даже в безветренную погоду, но меня привлекла странная траектория — тень двигалась наискосок. Обернувшись, увидел планирующую летягу.

Зимой этого необычного зверька я видел впервые, но его помёт у комлей деревьев попадался часто. Это и понятно: летяга ведёт ночной образ жизни. Вспомнились летние походы с Юрой, когда, сидя у костра, наблюдали, как летяга, прижавшись к стволу

дерева, замирает и подолгу неотрывно смотрит на пламя. Внешностью и повадками она похожа на белку, но отличается тем, что по бокам тела между передними и задними лапками имеются складки кожи, покрытые шёрсткой. На округлой головке этого тёмно-серого с серебристой остью зверька выделяются крупные выпуклые глаза.

Летяга не прыгает по деревьям, как её родственница, а, забравшись по стволу на вершину, бросается вниз. При этом кожаные складки расправляются наподобие крыльев. В полёте летяга может совершать крутые виражи, а снижаясь по прямой, пролетать до ста метров.

Из литературы мне было известно, что и соболь ведёт ночной образ жизни. Но как тогда объяснить сегодняшнее? Утром в нижнем течении ключа свежих следов не было, а к вечеру, когда я возвращался, появились зигзагообразные строчки мышковавшего соболя. В том, что он ходил после меня, не было сомнений — отпечатки были даже на лыжне. Видимо, звери более пластичны. Их активность зависит от погоды, наличия пищи и, возможно, ещё каких-то причин. Лукса, например, считает, что светлые соболя охотятся днём, а тёмные — ночью. В этом суждении тоже есть резон. Солнечные лучи действительно разрушают тёмный пигмент.

К утру выпала «печатная» пороша. Одна из тех, когда отпечатки следов, оставляемые на мелкой пылице, так чётки, что, кажется, приглядишься, и увидишь тень прошедшего животного.

Моя меховая копилка пополнилась половинкой самца шоколадного цвета — вторая, как нетрудно догадаться, досталась мышам. Одна беда от этих пакостниц. Но что делать, приходится мириться, без них тайга сильно оскудеет, ведь они — основная пища большинства её обитателей.

Впереди меня ожидал приятный и волнующий сюрприз. Было сравнительно тепло, и снег почти не скрипел. Моё внимание привлекло чёрное возвышение, резко выделявшееся на белом фоне. Кабан?.. Вертлявый хвостик развеял сомнения. Точно — кабан! Поодаль, посреди низкой террасы, виднелось ещё несколько тёмных спин. Табун пасся на хвое.

Горка зашевелилась, показалась длиннорылая морда с высоко торчащими ушами. Втянув воздух, кабан замер, вскоре голова опять исчезла. До моего слуха донеслось невнятное чавканье.

Тихонько снял ружьё, тщательно прицелился и, когда кабан вновь поднял голову, выстрелил. Табун переполошился и в неопикуемой панике, оглашая тайгу пронзительным визгом, рассыпался в разные стороны. А раненый зверь, волчком завертевшись на месте, поднял такой столб снежной пыли, что на некоторое время скрылся из виду.

Осторожно подойдя ближе, я выпустил ещё две пули. Жизнь не хотела покидать сильное тело. Клацая клыками, секач попытался приподняться, но упал и затих, когда я выстрелил в упор.

Поняв, что кабан убит, я издал дикий вопль и запрыгал от радости. Немного успокоившись, стал осматривать добычу. Это был довольно крупный, матёрый секач. Грозно поблёскивали две пары желтоватых клыков. Нижние трёхгранники, изогнутые как турецкие сабли, торчали из челюсти на все двадцать сантиметров. Более короткие, верхние, загибались настолько круто, что, соприкасаясь с нижними, заточились до остроты ножа. Большое клинообразное тело покрывала жёсткая чёрно-бурая щетина с густой подпушью особенно длинная на загривке.

Пока кабан не остыл, начал свежевать. Поскольку к началу гона у самцов под кожей на загривке образуется хрящ или, как говорят охотники, «броня», дело это оказалось непростым. Отмучившись, с трудом засунул в рюкзак голову секача и увесистый шмат ляжки. Всё остальное засыпал снегом. Охотничья удача сняла усталость. Шлось легко.

Лукса, узнав, что я принёс свеженины, закричал от удовольствия. По-быстрому нажарили мясо и, поставив вариться бульон, сели пировать. Сквозь поджаристую корочку, подогревая и без того волчий аппетит, соблазнительно сочились янтарные капли жира. Сковорода быстро пустела. Последний кусок Лукса бросил собаке:

— Держи, Пиратка. Может, твоего обидчика едим. — И, обращаясь ко мне, пояснил: — Прошлый год один секач ему брюхо распорол. Думал, пропал пёс, ёлка-молка. Хотел пристрелить. Ружьё поднял, а он смотрит так преданно... Верит, что не обижу. В котомке в зимовье принёс. Снял с лабаза полосу сухожилий. Наделал ниток. Пасть стянул верёвкой, чтоб не кусался, и заштопал брюхо. Ничего, заросло!

— Лукса, я вот всё думаю, сухожилия ведь толстые, как из них тонкие нитки получаются?

— Что непонятного? Высохшие жилы видел? Если их память, они на тонкие стрелки делятся. Бери их и скручивай нитку. Самые крепкие нитки с ног получаются. С хребта тоже неплохие, но слабже.

Было уже около десяти вечера, когда мы услышали приближающийся ритмичный скрип шагов. Возле палатки они замерли.

— Кто там? — спросил я.

— Своя, своя люди, — негромко и спокойно ответил голос. Было слышно, как подошедший отряхивается от снега.

— Нибида эмэкте*? — повторил на удэгейском вопрос Лукса.

Вместо ответа полог палатки распахнулся и в чёрном проёме показался охотник. Я сразу узнал его, хотя шапка-накидка, редкие усы и борода были покрыты густым инеем, белизна которого резко контрастировала со смуглой кожей и карими глазами. Это был одо Аки — дедушка Аки. Его губы, склеенные морозом, разошлись в приветливой улыбке.

— Багдыфи**! Би*** мал-мало гулай. Отдыхай ноги надо, — на смешанном языке тихо проговорил он.

— Багдыфи, багдыфи! — ответил Лукса.

Я, освобождая место гостю, пересел к выходу и подбросил дров в печку. Аки пробрался на освободившееся место и, украдкой поглядывая на меня, стал выдёргивать из бородёнки ледышки.

— Ноги туда-сюда мало ходи, — посетовал он.

Я про себя подумал: «Вот это «мало ходи» — в семьдесят восемь лет прошёл двадцать пять километров от своей зимовки до нас по труднопроходимым торосам Хора!»

Переведя дух, Аки разделся. Улы и верхнюю одежду закинул на перекладину сушиться. Лукса налил ему наваристого бульона, достал из кастрюли мяса и подал кружку с разведённым спиртом. Узенькие глазки деда сразу оживились:

— Айя! Асаса****! Однако не зря ходи к вам.

Приняв «разговорные капли», он совсем повеселел. Простодушный, доверчивый, никогда не унывающий старик с ясной и чистой, как ключевая вода, душой был одним из тех аборигенов Уссурийского края, которых описывали ещё первооткрыватели этих мест. В его суждениях, как в зеркале, отражалась история и мировоззрение маленького лесного народа. (Лукса был на двадцать два года моложе, и его поколение уже во многом утратило самобытность удэгейского племени.)

* Нибида эмэкте? (удэг.) — Кто пришёл?

** Багдыфи (удэг.) — Здравствуйте.

*** Би (удэг.) — Я.

**** Айя! Асаса! (удэг.) — Хорошо! Спасибо!

Познакомился я с одо Аки в Гвасюгах ещё до начала охотничьего сезона, когда пополнял свою этнографическую коллекцию. К тому времени у меня уже были интересные приобретения: копыа разных размеров, деревянный лук, стрелы с коваными наконечниками, женские стеклянные и медные украшения; охотничья шапка-накидка и ножны, расшитые разноцветными узорами. Прежде удэгейцы на своей одежде всегда вышивали орнаменты с тонким изящным рисунком. Глядя на них, не перестаёшь восхищаться мастерством и высоким художественным вкусом вышивальщиц. Колоритнейшие вещи! К сожалению, в Гвасюгах оставалось всего несколько старушек, владеющих этим искусством, но и те из-за слабого зрения вышиванием почти не занимаются. Находок было немало, но я лелеял надежду обогатить коллекцию настоящим шаманским бубном. Такой бубён в стойбище был только у Аки.

Идти к местному старейшине одному было неловко, и я уговорил Луксу пойти вместе со мной. Постучались. Дверь открыла дочь. Одо Аки сидел на низкой скамейке и укладывал сухую мягкую траву хайкту в улы. Маленький, с невесомым телом старичок смотрел прямо и открыто. На мою просьбу ответил категорическим отказом и даже убрал с полки сэвохи — деревянные изображения удэгейских духов. И только после долгих переговоров с Луксой согласился лишь показать бубён.

Достав берестяной чехол из-за шкафа, Аки осторожно вынул из него родовую реликвию. Любоვნю погладил тугую с заплатами шкуру и несколько раз с расстановкой ударил по ней подушечками пальцев, жадно вслушиваясь в вибрирующие звуки. Мы притихли.

Держа бубён на весу, с помощью двух скрещивающихся ремешков, сплетённых из сухожилий, старик погрел его над плитой. Взял в руку гёу — кривую колотушку, обтянутую шкурой с хвоста выдры, и, прикрыв глаза, начал священнодействовать — камланить *. От низких, мощных звуков мной овладело смятение и странная готовность повиноваться. Идти туда, куда позовёт этот потусторонний гул. Казалось, будто слышу зов предков, давным-давно ушедших в иные миры.

Поблагодарив старика, мы попрощались. На улице Лукса рассказал, что в Гвасюгах не раз бывали всевозможные экспедиции, но этот бубён Аки никому так и не отдал и продолжает потихоньку камланить.

Забегая вперёд, скажу, что весной в дом Луксы, у которого я жил после выхода из тайги, пришла дочь одо Аки и сказала, что отец зовёт меня. Когда я вошёл, он сидел с бубном в руках:

— Камиль, я старый, сына нет. Бубну нужен молодой хозяин, которого любит Пудзя. Я знаю и Лукса говорил — Пудзя тебя любит. Возьми.

Так последний бубён последнего удэгейского потомственного шамана оказался у меня. Через две недели одо Аки перекочевал к "верхний люди": вышел колоть дрова, взмахнул топором и упал — сердце остановилось. Может быть, и бубён отдал, предчувствуя скорую «перекочёвку».

Теперь он висит у меня в комнате под черепом медведя. Иногда я снимаю реликвию и, слушая глухие призывные звуки, вспоминаю Буге, Луксу, одо Аки.

Но всё это произойдёт весной, а сейчас мы сидим в тесной палатке вокруг печки.

Я заварил свежий чай и разлил в кружки. Подал сахар. Аки от него наотрез отказался:

— Чай вкус теряй, — заявил он.

Пили долго, не торопясь. Я расспрашивал гостя о его жизни. Великолепная память старика хранила много любопытного.

Он в мельчайших подробностях описывал события полувековой давности, помнил названия речушек и перевалов, по которым ходил ещё в начале века.

* Камланить — исполнять ритуал, сопровождающийся пением и ударами в бубён, во время которого шаман, приходящий в состояние экстаза, общается с духами.

Когда разговор коснулся тигров, пожаловался:

— Куты-мафа моя собака война объявил. Прошлый охота два ел. Теперь последний чуть не давил. Моя увидел — ушёл. Страх любит собака. Собака ест — пьяный ходи.

— Аки, тигр собак давит, домашний скот давит, а людей не трогает. Почему?

— Моя так думай: люди закон прими, не убивай куты-мафа. Куты-мафа умный — тоже свой закон прими: люди не убивай.

От такой наивности я улыбнулся. Аки пристально посмотрел на меня.

— Пошто смеёшься? Твоя не знай, как куты-мафа давно люди убивай. Много убивай. Теперь не трогай. Почему? Ты своя башка думай!.. Куты-мафа шибко умный, всё понимай...

Действительно, почему тигр изменил свои повадки? Ведь в прошлом веке амурский тигр (между прочим, самый крупный среди своих собратьев) нередко был «волен» по отношению к человеку и, хотя избегал его, не считал неприкосновенным. Иные хищники буквально терроризировали обширные районы, поражая дерзостью и хитростью. Спасаясь от них, переселенцы с Украины и центральных районов России бросали свои хозяйства, уезжали подальше от владений людоеда. Отчаянная смелость некоторых зверей доходила до того, что они врывались ночью в избы и нападали на спящих.

В результате активной охоты на тигров их осталось на всей огромной территории Дальнего Востока не более трёх десятков. Тогда, в конце сороковых годов двадцатого века, и был принят закон о полном запрете охоты на владык Уссурийской тайги. С тех пор могучий хищник как будто переродился. Исчезли людоеды, реже стал страдать и домашний скот.

В чём причина изменения отношения тигра к человеку? Можно предположить, что те немногие, оставшиеся в живых, потому и уцелели, что именно они из сотен своих сородичей чётко усвоили: человек опасен и, если хочешь жить, избегай встреч с ним. Эта черта поведения постепенно закреплялась и на генетическом уровне передавалась потомству, став теперь отличительной особенностью всего амурского подвиды. Похоже, рассуждения старого удэгейца не так уж и наивны.

После чая старик вкрадчиво спросил:

— Ай бё*?

Это выражение мне было знакомо и перевода не требовало.

— Анчи, анчи. Элэ!** — твёрдо ответил я, зная, что если не остановить, то старики будут бражничать до утра, а днём стонать от головной боли.

Покурив, охотники опять принялись за мясо. Аки ел, облизываясь, сочно причмокивая, облизывая пальцы. Ест, а сам бурчит:

— Не мог чушка убивай. Секач деревом пахни.

Мне не хотелось спорить. Я радовался замечательному трофею, тем более что клыки у него были, как настоящие бивни!

Но охотников терзали совсем иные чувства. Лукса, уже изучивший мой характер, начал издадека.

— Слыхал, на севере якуты огненный гриб жуют. Они его с собой носят в кожаном мешочке.

— Какой такой гриб? — изумился Аки.

— Мухомор сушёный. Не всякий. Серый, кажется, годится. Захотел веселиться — пожевал. Говорят, лучше водки — голова утром не болит.

— О, шибко хорош гриб!

* Ай бё? (удэг.) — водка есть?

** Анчи, анчи. Элэ! (удэг.) — Нет, нет. Хватит!

— Вот ты, Аки, — продолжал Лукса, — кабана ругаешь, а зря. Хороший кабан. Таких больших клыков я ещё не видел. Ты, Аки, наверно, тоже не видел?

— Чего так говори? — запальчиво возразил старик.

Но Лукса перебил его:

— Очень большой кабан. Давай, Камиль, выпьем за самого большого хорского кабана, — и с чувством поднял пустую кружку. Аки, так и не поняв хитрость сотоварища, наусупился:

— Чего большой? Много больше гляди.

— Ох, и хитрый шеф у меня, — засмеялся я.

— Хитрецы в стойбище спят, а дураки в лесу сидят, — довольно хмыкнул Лукса.

Аки, оценив, наконец, ситуацию, преобразился: нетерпеливо заёрзал и стал искать глазами свою кружку:

— Твоя молодец, Камиль! Асаса! — примиряюще сказал он, выпив свою долю. — Беда, как хорошо. Дай, однако, табачку, моя кончался.

Воспользовавшись переменой настроения старого промысловика, я, протягивая старику коробку «Золотого руна», спросил:

— Одо, вот вы все ищите жень-шень. А чем он так ценен?

Подобревший старик не замедлил с ответом:

— О-о-о!! Женьшень — корень учёный. Долго живи — много знай. Своя сила хороший люди дари. Плохой люди не дари.

Раскуривая трубку, Аки ненадолго примолк.

— Одна ночь, — продолжал он, — цветок гори яркий огонь. Эта ночь корень копай — любой болезнь лечи. Кто умер — живой делай. Однако эта ночь корень трудно копай. Дракон корень береги. Только смелый дракон победи.

— А вы верите в загробный мир?

— Чего такой? — заморгал старик.

Лукса, жестикулируя больше обычного, стал объяснять ему по-удэгейски. Вскоре тот понимающе закивал:

— Я так знай: умри — на небо ходи. Там все живи. Река, тайга, звери, верхний люди. Только обратно живи. Старика молодой делай. Моя тоже скоро туда ходи. Котомка готовил.

— А как вы попадёте туда?

— Вход найду — лыжня знай.

— Какую лыжню? — не понял я.

— На небе лыжню замечал? Это лыжня к верхним людям. Там, где она в горы упирается, есть вход, — объяснил Лукса.

— Я читал, что у вас умерших на деревья кладут.

— Зачем деревья? Земля ложи. Бедный ложи берестяную кору, богатый ложи оморочку. Деревья только детка ложи. Земля детка ложи — мамка больше детка нет. Мамка роди, маленький юрта ходи, — продолжал разговарившийся Аки, — Одна промышляй. Шибко трудно роди. Моя старший мамка умри, детка умри.

— Так у вас что, две жены было?

Аки внимательно посмотрел на меня сбоку.

— Мужика всегда два мамка бери. Самый худой мужика одна бери... Зачем так говори? Одна!

Поняв, что обидел старика, я сменил тему разговора.

— Аки, а вы к какому роду принадлежите?

— Киманко я. Лукса — Кялундзюга. На Хоре два рода. Больше нет. Раньше люди много живи. После худой болезнь умри. Кто один тайга живи — живой ходи.

— И зверя, наверно, прежде больше было?

— О! Беда как много было, — возбуждённо закивал старый охотник. — Кабан, олень, куты-мафа, медведь шибко много было. Только соболь мало. Ружьё не купи — дорогой, собака! Сангми* делай. На большой зверь — большой сангми — «пау» делай. Зверя много, ружья нет — кушай мало.

— А сколько вы в те времена соболей добывали?

— Говорю — мало соболь. Два-три лови. Больше не лови. Соболя перевал живи. Шибко трудный охота. Один год пять лови. Второй мамка бери. Думал — новый котёл, топор купи. Хуза всё брал. Что делай без ружья?!

Проговорив так допоздна, легли спать. А я ещё долго лежал, переживая заново события памятного дня.

ЧАСТЬ II

*...Узнав тайгу, нельзя забыть её.
Юра Сотников*

ХУДАЯ ВЕСТЬ

Старики ушли в стойбище встречать Новый год **. Пират увязался за ними — проведать гвасюгинских дружков. Мне же не до праздников. План горит. Но соболя почему-то перестали тропить. За два дня нашёл всего четыре новые тропки.

Предновогодний день посвятил Крутому. Там, на хороших сбежках, стояли две ловушки. По ним соболя прошли, но в одной пружина от мороза лопнула, а другая, хотя соболь и наступил на тарелочку, не сработала. Тут я сам сплеховал: положил под капкан влажные палочки. На морозе дужки к ним примёрзли и не сомкнулись.

Вечером превратил палатку в баню: загрузил в топку смолистых поленьев, поставил на печурку полную кастрюлю воды. Когда она нагрелась, помылся прямо у выхода. После такой, казалось бы, игрушечной помывки почувствовал себя заново рождённым. Кто бы мог подумать, что несколько литров горячей воды могут так освежить.

Примерно через два часа Новый год. Почему примерно? Да потому что время определяю по будильнику, который не проверялся более двух недель: транзисторный приёмник не работает — батарейки сели. Ну и ладно. Новый год на носу! Пора накрывать праздничную чурку...

Первое января. Где-то на западе нашей необъятной страны ещё только садятся за столы нарядные женщины и мужчины, а за тысячи километров от них в недрах глухой тайги просыпается одинокий охотник. Он продирает глаза, пялит бессмысленный взор на спящих кругом мышей, стряхивает иней, затапливает печь и снова ныряет в спальник, чтобы встать, когда прогреется палатка.

* Сангми (удэг.) — самострел.

** На Новый год промысловики возвращаются в Гвасюги, чтобы сдать добытую пушнину, закупить продукты, а главное гульнуть.

Как я встретил Новый год?

Нажарил полную сковородку рябцов, приготовил строганины. Ровно в двенадцать часов (опять же по-моему будильнику), поздравил себя и всех, кто ждёт меня дома, с Новым 1975 годом. Выпив спирту, стал вслух беседовать сам с собой. Жизнь в одиночестве уже начала вырабатывать привычку смотреть на себя со стороны. И мне представился весьма странный косматый оборванец, сидящий, скрестив мусульмански ноги, на засаленном спальнике среди висящих на правилках ободраных шкур и с блаженной улыбкой чокающийся с печной трубой, невнятно что-то бормочущий про удачу, Пудзю... А вокруг, по всему Хору, ни души. Со стороны, ей Богу, сумасшедший!

После третьего тоста на глаза попались ножницы, и я, недолго думая, обкромсал надоевшие из-за каждодневных «наледей» усы. Бороду пожалел — не тронул.

Разморённый жаркой печкой и «огненной водой», приподнял полог, чтобы проветрить палатку. Прилёг на спальник и незаметно уснул. Очнувшись от пробравшего до костей холода. Дрова прогорели. В серой золе лишь красные глазки дотлевавших углей. И таким неприветливым, мрачным показался мне народившийся год. С трудом настрогал смолистой щепы и растопил печурку заново. Согревшись, залез в спальник досыпать. Окончательно проснувшись, выпил несколько кружек крепкого чая и отправился, как уже упоминал, на Фартовый.

Дед Мороз не забыл-таки заброшенного в сихотэ-алинскую глушь промысловика и преподнёс ему новогодний подарок. На Фартовом стояло всего-то два капкана на подрезку. У первого, распластавшись во всю длину, лежал чёрный красавец. У второго снег тоже истоптан. Пружина из-под колдобины выглядывает. Ну, думаю, Дед даёт, совсем расщедрился: на два капкана — два соболя! Потянул за цепочку, а он пустой. Ушёл!!!

Капельки крови пунктиром обозначали след беглеца. Метров через сто он скрылся под полуистлевшим стволом кедра. Там соболь отлежался, и сегодня уже выходил мышковать. Довольно крупный самец. Троп у него в этом районе много, и расположены они достаточно кучно.

Только собрался попить чай на солнцепёке, как услышал треск сучьев, стук клыков, грубый визг. Кабаны! Причужав меня, драчуны коротко хрюкнули и бросились врассыпную.

* * *

Дни у промысловика похожи друг на друга, как близнецы. Встаёшь, растапливаешь печь, завтракаешь, идёшь на путик, проверяешь ловушки, ставишь новые, возвращаешься, опять затапливаешь печь, колешь дрова, ужинаешь, снимаешь шкурки (если вернулся с добычей), ремонтируешь одежду, заполняешь дневник и ложишься спать. На завтра всё то же самое.

Сегодня обошёл Крутой. Пока пусто, хотя в душе уж на одного-то рассчитывал. Следов опять маловато. Что-то никак не уловлю в поведении соболей хоть какую-нибудь закономерность. Одну и ту же сопку то истопчут вдоль и поперёк, то за целую неделю ни разу не освежат ни единым следом; то бегают как угорелые и в мороз, и в снег, то сутками в тёплых норах отлёживаются.

В лагерь вернулся засветло. Луксин петушок сидел на берёзе и склёвывал почки. Увидев меня, не улетел. Привык уже и ко мне. Я поколол дрова, промазал улы кабаньим жиром. Перед сном вышел из палатки. Над головой бесстрастно мерцали

россыпи мелкого жемчуга. Созвездия не приходилось искать. Они сами бросались в глаза. Небо в этот вечер выглядело громадным куполом, вершина которого высоко-высоко, а стенки сразу за деревьями. Вокруг насквозь промёрзшая тайга, на бескрайних пространствах которой лишь кое-где разбросаны комочки жизни: звери и птицы. Чувство потерянности и заброшенности охватило меня. В лицо вонзались обжигающие морозные иголки.

Чтобы избавиться от нахлынувшей тоски и оповестить мир о том, что я жив и силен, достал ружьё и шархнул в звёзды. Выстрел громом пронёсся по тайге и долине реки, отдаваясь многократным эхом. В ответ донёсся волчий вой, полный презрения ко всему окружающему. Выл серый не «у-у-у», как пишут в книгах, а «ыууу-ыу», хотя вряд ли можно передать все тончайшие оттенки волчьей песни.

Жутковато становится в такие минуты. Правда, чаще сам на себя страх нагоняешь. Как только начнёшь прислушиваться к каждому звуку — услышишь и скрип шагов, и хруст ветки, и хриплое дыхание зверя. Но стоит отвлечься, заняться делом — как все эти пугающие звуки исчезают. Я думаю, что и в темноте человек испытывает страх из-за недостатка информации: не видит, что происходит вокруг, вот и мерещится всякое.

Без радио вечерами в палатке тишина космическая. Только печка поухивает, да изредка то дерево в лесу, то лёд на реке стрельнет.

Самая неприятная процедура ожидает меня по утрам и никуда от неё не деться. В палатке в это время настоящий морозильник. Если под открытым небом, например, минус 36°, то в ней минус 34°C. Спальник от дыхания за ночь покрывается ломкой ледяной корочкой. Утром разогнёшь хрустящие края брезентового чехла, высунешься по пояс и, скрючившись над печуркой, как можно быстрее набиваешь её чрево дровами. Подожжёшь смоляк и немедленно ныряешь с головой обратно в спальник. Лежишь в нём до тех пор, пока живительное тепло не наполнит палатку. Случается, дрова с первой попытки не разгораются и тогда истязание повторяется. Чтобы уменьшить продолжительность морозотерапии, смоляк и мелкие щепки готовлю с вечера.

Прежде растопкой занимался Лукса, и только когда он ушёл в стойбище, я оценил его природную тактичность. Он ни разу не упрекнул меня за то, что встаю последним, когда в палатке уже тепло.

* * *

Возвращаюсь, по-прежнему без добычи. Что-то стали обходить соболя мои капканы. Не пойму, в чём дело. Может, неумело маскирую? Или зверьки запах рук чувят? Много бы я отдал, чтобы понять причину.

Верховья Буге совсем оскудели, даже следы кабарожки исчезли. Она теперь согревает удалого соболя. Он таки сумел загрызть столь крупную для него добычу.

По следам восстановил, как это произошло. Соболю, вжимаясь в снег, подкрался к пасущейся в ельнике кабарге и попытался в три прыжка настичь её. Шустрый оленёнок успел отпрыгнуть в сторону и помчался вниз по ущелью. Отважный хищник бросился вдогонку. Так они бежали, петляя по лесу, метров четырёста. На выходе из ущелья их следы скрестились в последний раз. Дальше на снегу был виден лишь след кабарги. Утопая в глубоком снегу, она отчаянно металась со страшным всадником на спине. Пытаясь сбросить его, прыгала из стороны в сторону, падала на спину — но освободиться всё никак не удавалось. Цепкий наездник, опьянённый кровью, тем временем всё глубже и глубже вгрызался в шею. Прыжки кабарожки стали короче. Изнемогая, она перешла на нетвёрдый шаг. На снегу появилась кровь, кое-где валялись клочья шерсти. Дважды она падала, но поднималась. Наконец завалилась на

бок... Долина в этом месте узкая, и шоколадное, со светлыми пятнами тело кабарожки было видно издалека.

Зимой тайга не может скрыть свои тайны. Росписи на снегу выдают их в мельчайших подробностях.

Соболь уже дважды приходил кормиться. Съел часть ляжки, язык. По отпечаткам лап — матёрый. Пожалуй, самый крупный среди тех, что обитают на Буге.

Я осторожно вырезал на брюхе кабарги мешочек с мускусной железой — «струю» размером с куриное яйцо. Охотники считают настойку из выделений этой железы тонизирующим средством.

Уходя, замаскировал на подходах две ловушки. Соболь обязательно придёт к своему трофею ещё не один раз.

* * *

Привычную для меня в последнее время вечернюю тишину нарушило мерное поскрипывание лыж. Неужто Лукса?! Как был раздетый, выскочил наружу. Маленький тёмный силуэт с небольшими, почти детскими нартами выплыл из-за деревьев. Это был одо Аки. Возвращаясь на свой участок, он завернул ко мне переночевать. Радость от встречи с одо была омрачена худой вестью: Луксу положили в больницу с обострившейся язвой желудка. Обидно. Неужели до конца сезона проболит?

Перекусив, старик достал из берестяного коробка листок бумаги. Макнул его несколько раз в кружку и, помешав чай ложкой, выпил приготовленный напиток маленькими глотками. Я с любопытством наблюдал за этими странными манипуляциями.

Перехватив мой взгляд, старик похвалился:

— Шибко хорош медикамент доктор давал, однако пора новый пиши. Много букв пропади.

— Какой медикамент? — ошарашено пробормотал я.

Старик осторожно протянул мокрый листок.

— Вот.

Это был обычный рецептурный бланк, на котором едва проступали размытые буквы и синеватая печать.

— Для чего вам этот медикамент? — пряча улыбку, поинтересовался я.

— Сон дари. Медикамент пей — сон иди. Доктор хорошо лечи.

Я деликатно промолчал. Прихлёбывая чай, Аки рассказывал деревенские новости.

Тихая речь старика, потрескивание дров ласкали слух, убаюкивали, настраивали на лирический лад. Я, как всегда, размечтался и унёсся мыслями к тому дню, когда с пухлыми связками шуток появлюсь в конторе и завалю ими стол охотоведа...

— Ыууу-уу, Ыууу-уу, — донеслось из-за Хора.

Жуткий волчий вой-стон медленно нарастал и неожиданно угас на длинной плачущей ноте. Дикая тоска по крови слышалась в нём.

— Мясо проси, — прокомментировал одо Аки, невозмутимо допивая свой «медикамент». Вдруг он встрепенулся, словно вспомнил что-то важное, и даже шлёпнул себя по беленькой головке.

— Совсем худой башка стал. Лукса говори: скоро не приди, ты его капкан сними. Однако шибко не сними. Лукса живот обмани — тайга ходи. Я его знай.

— Хорошо, если через две недели не придёт, часть капканов сниму.

Тут я не утерпел и задал вопрос, давно вертевшийся на языке:

— Аки, если не секрет, сколько вы нынче соболей взяли?

Старик нахмурился:

— Пошто соболь пугай? Моя говори — соболь новый место ходи, — и быстро перевёл разговор в другое русло:

— Пошто твоя стрелка? — спросил он, указывая на висящий над чуркой компас.

— Чтобы не заблудиться, когда солнце скрыто тучами.

— Знай, знай. Пошто стрелка ходи? Пошто сам дорога не смотри? — уточнил старик.

Ему было непонятно, как в тайге можно заблудиться.

Пока разговаривали, я разулся и повесил сушить улы на перекладину. Глянув на подошву, ахнул — она в нескольких местах треснула поперёк. И поделом мне. Сушу прямо над печкой. Сколько раз Лукса говорил, что кожа от жара становится ломкой. И почему человек никогда не слушает других? Обязательно надо на своей шкуре убедиться.

Охотника, как и волка, ноги кормят. Они предмет особой заботы, особенно зимой. А улы — самая подходящая для промысловика обувь: лёгкая, тёплая и удобная. Шьют их из шкур, снятых с шеи или спины лося, изюбря. Годится и со спины кабана. Лучше всего шкуры, добытые зимой, так как кожа в это время года плотнее и толще.

Выделка кожи для ул — процесс не сложный, но длительный. Обувь из правильно выделанной кожи получается мягкой и прочной. Внутри улы выкладывают травой хайкта, специально для этого заготавливаемой. Она хорошо сохраняет тепло и в то же время служит своеобразными портянками, предохраняющими ноги от мозолей. Помимо этого в сильный мороз на ноги ещё надевают меховые чулки.

* * *

Что-то стал быстро уставать в последние дни. Всё делаю через силу. Видимо, выдохся или, как говорят спортсмены, произошло «накопление остаточной усталости». Постараюсь завтра уменьшить нагрузку, хотя это и непросто. Когда за очередной волной сопки открываются новые голубеющие дали, чем дальше обращаешь взор, тем заманчивей и богаче представляется тамошняя тайга. Так и влечёт туда, а что именно — трудно понять. Неизвестность? Пожалуй. Она во все времена манила и мнит людей за горизонт.

Несмотря на усталость, аппетит прорезался такой, что хоть из палатки не выходи. Уже через пару часов начинает сосать под ложечкой со страшной силой. И это понятно. Ведь раньше ходил, в основном, по накатанной лыжне, а теперь, в поисках мест богатых соболем, всё больше по целине.

Прошло ровно двадцать дней, как Аки ушёл на свой участок, но за это время ни одна западня не порадовала меня вытоптанной «ареной». Что делать? Время летит. Неужели охотовед окажется прав, и я не вытяну план?

Сегодня на соседнем ключе Улантиково нашёл, наконец, прекрасные тропки. Выставив по склонам восемь ловушек, повеселел. Надежда оживила охотничье сердце.

Однако злой рок продолжает преследовать меня. Только я спустился к ключу, как монотонно-серое небо словно разверзлось: густо повалили белые хлопья. Все мои ловушки на подрезку засыплет, а на приманку соболь по-прежнему не идёт.

Прошло два пустых дня. Сегодня вечером, словно услышав мои молитвы, унылый облачный покров, наконец, распался на рваные куски, оголив синеву небесной сферы. Красный холодный шар озарил края серых туч, отчего те потемнели изнутри ещё сильнее. Вскоре солнце скрылось за сопкой, но тучи ещё долго продолжали полыхать прощальным огнём. Стало грустно. Закат для меня — это всегда печаль, ощущение некой потери.

НОВЫЕ ВСТРЕЧИ

Мороз нынче как по заказу. Заставляет резво ходить, и в то же время не настолько силён, чтобы замёрзнуть при установке ловушек.

Поднимаясь по ключу, я заметил на пологом склоне сопки с десятков ворон, вьющихся над разлапистыми кедрами. «Неспроста летающие волки собрались», — подумал я и направил лыжи в их сторону. Шагов через двести появились сначала следы спокойно кормившихся, а затем в панике разбежавшихся кабанов. Пытаюсь по следам восстановить, что здесь произошло, как вдруг с вершины утёса, у подножия которого я стоял, донёсся грозный, леденящий сердце рык. Поднял голову и обомлел — *тигр!* Из оскаленной пасти торчали, словно финки, острые клыки. Нижняя губа нервно вздрагивала. Кончик хвоста подёргивался.

Страх пронзил моё сердце, ноги противно заныли и как будто отнялись, по всему телу волнами забегали колющие мурашки. Подобную встречу я давно ожидал и даже, признаюсь, по-мальчишески мечтал о ней, рассчитывая сфотографировать тигра. Поэтому психологически был готов и в явную панику не впал, хотя от напряжения вибрировал каждый мускул, а о своём желании сфотографировать даже не вспомнил.

Стал медленно пятиться назад. Всё время, пока тигр был в поле зрения, он так и стоял в царственной позе, не сводя с меня глаз. Его тугой хвост напряжённо замер в воздухе. Как только тигр скрылся из вида, я развернулся и, то и дело оглядываясь, заскользил в долину. Разочарованные вороны криками осуждали моё бегство.

Весь день не покидало чувство, что могучая кошка продолжает следить за мной. Перед глазами стояла огромная рыже-чёрная голова с оскаленной пастью, закрывшей, как мне показалось в тот момент, полнеба (верно говорят — у страха глаза велики). Проходя очередной кедрч, услышал шелест. Замер. Шелест повторился. Боязливо оглянулся — никого нет, а шелест всё ближе. Ну, думаю, конец — от судьбы не уйдёшь! В этот момент вижу, как по стволу спускается вниз головой, громко шурша, небольшая пичуга с коротким хвостиком и длинным острым клювом — неумолимый поползень. Непонятно, как такая крохотная птица умудряется производить столько шума. Невольно подумалось: пуганая ворона и куста боится.



Умом я, конечно, понимал, что великий сородич удэ не собирался нападать, но тигр есть тигр. Даже размер следа пугает. Тем не менее, я был благодарен судьбе, давшей возможность увидеть так близко красу и гордость Уссурийской тайги.

Могучий, царственный зверь на фоне вековых кедров остался в памяти самым волнующим и ярким воспоминанием. Меня поразило его благородное поведение. Тигр всем своим видом как бы говорил: «Иди своей дорогой, и я тебя не трону».

К обеду следующего дня, добравшись до устья ущелья, завернул в ельник проверить ловушки возле кабарги. Но там уже ничего не было. Две непальские кунцы затащили остатки оленёнка под лесину и доели его. Надо признать, что эту операцию они провели виртуозно — обошли обе ловушки стороной.

Хожу по тайге, люблю её, радуюсь тому, что у нас есть снег, морозы. Становится даже обидно за тех, кто живёт в жарких странах. Ведь они лишены нашей белоснежной сказочной зимы. Никакого разнообразия: круглый год одно и то же — бесконечное лето.

Осмелюсь не согласиться с утверждением, что зимой в тайге скучно и жизнь в ней замирает. Бесспорно, летом она многообразнее, но зато недоступна взору. Это только на первый взгляд зимняя тайга сурова, безжизненна и ничего в ней не меняется. Наблюдательный же человек заметит немало перемен даже в течение одного дня. В это время вся жизнь тайги — как на ладони, ничего не утаит — следы на снегу поведают о каждом шаге. Да и мы тоже сколько наследили в окрестностях Буге. Если посмотреть сверху, так вся тайга, словно пирог, изрезана на мелкие ломтики колеями от наших лыж. Следы эти сейчас зримы, вещественны, но прогреет солнышко, и они исчезнут.

Порой так же происходит и в жизни. Доживёт человек до глубокой старости, а умрёт — никто и не заметит. Исчезнет — словно снег растает. Другой же и проживёт недолго, а люди с благодарностью вспоминают о нём долгие годы. Наверное, это и есть счастье, когда знаешь, что после тебя остаётся не снежный, а прочный, добрый след в памяти людей.

* * *

Необычно тёплый для января день. На корнях буреломного отвала наливаются солнечным светом и, созрев, падают первые капли. Потепление особых восторгов у меня не вызывает. Ночью подморозит, снег зачерствеет коркой, и соболя вообще перестанут тропить.

На путиках опять одни разочарования. Порой охватывает отчаяние, но я уговариваю себя, что время ещё есть и можно наверстать упущенное. Правда, с каждым днём эти уговоры всё больше похожи на самообман.

Единственная отрада для меня в последнее время — обед в ясный тихий день. Выберешь между деревьями солнечный пятачок. Положишь камусом вверх лыжи, на них меховые рукавицы. Под ногами умнёшь ямку. Достанешь из рюкзака сухарь, термос с чаем. Удобно усядешься — и млеешь под горячим потоком полуденных лучей* в окружении могучих кедров.

В сладкой дрёме стоят сопки. Редкое постукивание снующего по стволу дятла и невнятное бормотание ручья под снегом лишь подчёркивают сонную тишину. Солнышко ластится, прогревает. Кожа впитывает каждый его лучик, каждый зайчик. На душе становится легко и приятно. Забываешь о неудачах. Открываешь термос и наслаждаешься душистым сладким чаем, устремив мечтательный взор на горные дали, лёгкие облака, плывущие в прозрачной лазури...

* Выражение «горячий поток полуденных лучей» — не преувеличение. В конце января в этих широтах солнце в полдень так же высоко, как в Крыму.

Три дня провалялся с жестокой простудой — угодил в полынью на Разбитой. От избытка свободного времени так наточил ножи и топор, что руки теперь все изрезаны.

На четвёртый день рискнул поколоть дрова и сломал топорщице. Пришлось тесать новое. Через час удобная ясеневая ручка была готова. Расколов несколько чурок выдохся и стал прогуливаться по стану.

Над головой тонко зазвенели серебряные колокольчики. Это стайка клестов облепила соседнюю ель и, перезваниваясь, принялась шелушить еловые шишки, ловко вытаскивая сытные семена. Сейчас клёсты едят больше обычного — вывелись птенцы, и родители едва успевают кормить прожорливых деток кашицей из еловых семян. Трудный экзамен придумала для них природа. Январь, мягко говоря, не самое лучшее время для вскармливания потомства.

Удивительно хорошо в тайге. И дышится легко, и думается свободно. Прав был Новиков-Прибой, говоря, что «охота — лучший санаторий».

Вечером, затопив печь, вышел за водой. Оглянувшись, обратил внимание, как робко проклёвывается дым из трубы. Остановился и стал наблюдать. Первые секунды дым выползал вяло, как бы нехотя. Постепенно жиденькая струйка оживала, набирала силу, и через пару минут из трубы уже вылетал упругий белый столб. Донеслось энергичное поухивание печурки. Дым тем временем светлел. Вот показался язычок пламени — красный, трепещущий. И вскоре не язычок, а огнедышащий шпиль рвался ввысь, освещающая наше жилище. Печь же запела ровно, и чем сильнее становился жар в её чреве, тем чище и выше звучала её песня.

* * *

Ну, как снова не вспомнить поговорку: не было ни гроша, да вдруг алтын. Проверял Фартовый (опять он!). У первого же капкана кто-то метнулся за дерево. Соболь? Точно — он, голубчик! Зверёк изо всех сил рвался прочь, но железные челюсти держали крепко. Соболь яростно набрасывался на них, грыз, кроша зубы. Однако тщетно. Капкан не отпускал.

Я первый раз видел соболя живым. До чего грациозный, ловкий и невероятно красивый зверёк!

Прижав рогулькой к снегу, взял его в руки, чтобы получше разглядеть. Оказывается, глаза соболя при солнечном свете горят как изумруды. Взгляд бесстрашный, мордочка добродушная, даже не верится, что перед тобой отъявленный хищник.

Чтобы усыпить зверька, я использовал известный у промысловиков приём — «заглушку». В выразительных глазах соболя, потемневших от боли, появилось недоумение, как у человека, смертельно раненого другом. Не было в них ни злости, ни страха. Только удивление и укор. Сердце, устав биться, сокращалось всё медленней. Тело обмякло, голловка поникла, лапы вытянулись. Глаза потемнели, стали тусклыми, невыразительными.

Превращение красивого, полного жизни зверька в заурядный меховой трофей так потрясло меня, что я разжал пальцы. Через некоторое время соболь зашевелился и медленно поднял голову. Смотрел он по-прежнему убийственно спокойно. В такие минуты, наверно, и проявляется истинный характер. Его поведение резко отличалось от поведения норки и колонка в такой же ситуации. Те до последней секунды злобно шипели бы, пытаясь вцепиться в любое доступное место зубами и когтями. Соболь же понимал, что противник намного сильней и борьба никчёмна и унизительна.

Я почувствовал, что потеряю всякое уважение к себе, если убью его. Положил соболя на снег и разжал пальцы. Зверёк не заставил себя долго ждать: встрепенулся, замер на секунду и размеренными прыжками, не оглядываясь, побежал в глубь тайги. А мои руки ещё долго хранили тепло его шелковистой шубки.

Кто-то из великих знатоков человеческих душ писал: «Бойтесь первого порыва, ибо он бывает самым благородным». Это так: повинуясь первому движению души и отпустив великолепную добычу, я уже через несколько минут испытывал сожаление — за шкурку такого зверька я получил бы немалые деньги. Но, вернувшись домой, и много позже, вспоминая этот случай, я понял, что был прав, что всё это было не зря! Что стоило поймать такого редкого красавца, а потом отпустить только для того, чтобы ощутить внезапное очищающее просветление.

Летом, в городе, когда тоска по тайге особенно сильна, я закрываю глаза, запрокидываю голову к солнцу, и перед моим мысленным взором оживает одна и та же картина: тёмно-коричневый соболек спокойно, с сознанием собственного достоинства, убегающий от меня по искрящейся белой целине. На душе становится легко и радостно.

Спустившись с кручи на пойму, я буквально отпрянул от неожиданности. На слегка припушённой лыжне отчётливо виднелись внушительные отпечатки. Тигр! Крупная сердцевидная пятка, по форме напоминающая треугольник с прогнутым внутрь основанием и закруглёнными вершинами, окаймлена веером овальных вмятин от четырёх пальцев. Опять «священный дух удэ» напомнил о себе. Отметин от когтей не видно: они у тигра втяжные и оставляют следы лишь, когда зверь встревожен или готовится к нападению. Вскоре он сошёл с лыжни и побрёл по целине, вспахивая лапами снег. Тигриная борозда похожа на кабанью, но гораздо глубже, шире, с более крупными «стаканами» от лап. Сразу понятно, что прошёл хозяин тайги.

От тигриных траншей меня отвлекла пихта с ободранной на высоте двух метров корой. Сохатый? Нет, не станет он глотать кору старого дерева, да и содрано мало, всего сантиметров тридцать. Ниже задира разглядел пять глубоких борозд от когтей. Так это ж медвежья метка! С другой стороны дерева ещё один заدير, метром выше. Интересно, почему они на разной высоте? Ведь обычно медведь старается ставить их как можно выше, чтобы другие, видя какой здоровяк хозяйничает здесь, остерегались нарушать границу его участка. Скорее всего, это метки медведицы и её двухлетнего пестуна.

Я направился в боковую лощину к засыпанной снегом ловушке, чтобы освежить её. Гляжу, около неё четыре рябчика прохаживаются. Пошёл за одним, так он, чудак, вместо того, чтобы взлететь, долго бежал вперевалку впереди меня. Встал на крыло лишь, когда я, развеселившись, с гиканьем хлопнул в ладоши.

День завершился неожиданным подарком. Я даже присвистнул, увидев, что в два рядом стоящих капкана, поставленных просто так, на всякий случай, попались две норки.

* * *

И опять девственный лес трещит в объятиях жгучего мороза. Опять стынут, звонко лопаются деревья. Заиндевелые кусты в хрустальном сиянии. Кедровая хвоя поблёскивает, как соболя ость. Плотный воздух вливается в лёгкие густым жгучим настоем.

Скрипучая лыжня увела меня в верховья Буге дальше обычного. На межгорном плато сразу бросилось в глаза чёрно-бурое пятно на снегу. Кабан? Лось? Почему не двигается? Может, спит? Осторожно, держа ружьё наизготовку, приблизился и увидел, что это, правда, кабан, но мёртвый. Настигшая его смерть была мгновенной. Сильным порывом ветра от сухостины сорвало массивный отщеп, и он, падая с высоты, пронзил вепря насквозь, как копьё. Оказывается, и в тайге происходят несчастные случаи. Только виновника не накажешь — ищи ветра в поле.

Ходить в сравнении с началом сезона стало заметно легче. Толща снега надёжно укрыла все поваленные деревья, кустарники, камни, и они теперь не мешают. На обратном ходе, чтобы сократить дорогу, сошёл с лыжни и покатился с горы к речке напрямки, но на скорости угодил в засыпанную пушистым снегом яму. Лыжи изогнулись, предательски затрещали и... переломились пополам. Закинув обломки на плечо, попытался идти без них, но не тут-то было. Как только опираешься на ногу, она проваливается в снег по самый пах. С трудом вытащишь её, но при следующем шаге всё повторится.

Проковыляв так с десятков метров, взопрел. Горячий солёный пот заливал глаза. Ноги гудели от напряжения и отказывались идти дальше. Пораскинув мозгами, срубил ольху. Вытесал из неё две плоские полуметровые плашки и прибил их прямо на камус (коробочка с гвоздями, верёвочками, проволочками у меня всегда с собой). Получилось неплохо. С этими «заплатками» я так и проходил до конца сезона.

Довольный и гордый тем, что сумел устранить поломку, завернул на памятную протоку, где с месяц назад завалил секача. К оставленной мной части туши стекались собольи тропки: крупные следы самцов и миниатюрные самочек. Снег, которым я засыпал вепря, разрыт с трёх сторон.

Соболя по каким-то неуловимым для меня признакам отличают следы зверька, побывавшего у богатой добычи, и по ним выходят на место его кормёжки. Замаскировал на подходах к мясу все четыре капкана, что лежали в котомке.

На Разбитой по берегу залива на днях опять бродил тигр. Событие уже привычное, но эти следы интересны тем, что проходили сквозь заросли колючего кустарника. Похоже, могучая кошка таким образом расчёсывала свою шкуру.

После ужина допоздна ремонтировал снаряжение и одежду. Всё уже изрядно обтрёпано, изношено, но надо как-то дотянуть до пятнадцатого февраля — конца сезона. От того, что скоро домой — и радостно, и грустно. Очень хочется к родным и друзьям, но в городе, попав в сумасшедший водоворот дел и встреч, быстро отдаляешься от природы. Привыкаешь к заасфальтированным, дышащим выхлопными газами улицам, каменным домам-клеткам, к мысли, что живёшь нормально — как все. Но однажды вдруг попадётся на глаза одинокая старая ель, сохранившая в городском парке дикий, угрюмый вид, и сердце острой болью пронзит тоска по тайге, по звериным тропам, чуткой тишине зимнего леса. Однако пройдёт время, тоска опять утихнет, и городская суета затянет в свой неумолимый круговорот. Один раз заглушишь эту тоску, второй раз, третий, но, в конце концов, плюнешь на всё, соберёшь рюкзак и в лес...

Все мои родственники и друзья в один голос твердят: «Как можно в тайге одному? Столько опасностей! Случись беда — даже помочь некому». (Лишь моя жена Танюша с пониманием относится к моей страсти). Раньше, не имея достаточного представления о тяжёлой жизни, я, скорее всего, говорил бы то же, что и все, но теперь смею утверждать: в тайге опасностей не больше, чем в городе. Сами звери на обострение отношений не идут. Те же ЧП, что случились со мной, справедливей будет отнести на счёт моей неопытности. В тайге всё естественно. Жизнь проще, здоровей и спокойней.

БЕССОННАЯ НОЧЬ

На высоких парусах разлетелись и скрылись за зубцами гор облака. Когда я добрался до самой дальней точки Крутого, в небе царилослепящее солнце. Над бесконечными гребнями серо-зелёного моря, рассечённого белой извилистой лентой реки, изредка скрипуче гнусавил ворон.

Крутой, наконец, расщедрился и подарил крупного соболя приятного шоколадного цвета. Поднял добычу, чтобы освободить от капкана, а у него и на задней лапе капкан, только без цепочки. Тут я смекнул, что это тот самый самец, что ушёл в декабре. Здоров чертяка! Мне, когда ещё ставил капкан, показалось странным: отпечатки лап крупные, а прыжки короткие. Судя по его бравому виду, не похоже, чтобы он недоедал. А я-то расстраивался — думал, что погибнет.

В лагерь возвращался, напевая нескладные, сочинённые мной же, куплеты...

Ничто не предвещало того испытания, которое предстояло мне выдержать этой ночью...

Я уже готовился ко сну, как резкий порыв ветра наполнил палатку таким густым и едким дымом, что пришлось откинуть полог. Тут совсем рядом раздался жуткий волчий вой. Душераздирающее «ууу-уу» понеслось по долине, будоража тайгу. По спине пробежал озноб, руки сами нащупали и вынули из щели между спальником и брезентовой стенкой палатки ружьё и привычно вогнали патрон с картечью. Остальные патроны и нож легли рядом.

Вой доносился от подножья сопки, вплотную подступавшей к ключу. Чтобы отпугнуть зверей — волки зимой поодиночке не ходят — высунил наружу ствол ружья и полоснул ночь резким, как удар бича, выстрелом. Вой прекратился, но ненадолго. Вскоре раздался ещё ближе.

Страх сковал меня. Я понимал, что нужно немедленно что-то предпринять, однако оцепенело сидел, боясь пошевелиться. Воображение рисовало ужасную картину: волки окружили палатку и готовы ворваться, чтобы растерзать меня.

Время, будто заключив союз с волчьей стаей, тянулось невыносимо медленно. Мороз крепчал. Дров в палатке оставалось совсем немного — я не рассчитывал топить всю ночь. Приходилось экономить каждое полено. И всё же к трём часам положил в топку последнее. Когда оно прогорело, палатка стала быстро остывать. Холод проникал сквозь одежду всё глубже и глубже.

Чтобы окончательно не замёрзнуть, нужно было залезть в спальник, но сделать это мешал страх: в мешке я буду скован в движениях и не смогу обороняться.

Мысленно перебрал все вещи, находящиеся в палатке: чем ещё подкормить огонь? Но ничего не находил, а гора дров совсем рядом! Рядом и в то же время невероятно далеко — выйти из палатки и пройти пять метров до груды поленьев меня не могла заставить никакая сила. Брезентовое убежище представлялось неприступным бастионом, покинув который я стану беззащитным.

В печке дотлевали последние угольки. В конце концов, мороз победил страх, и я, с трудом распрямив затёкшие ноги, придавил вход в палатку спальником Луксы. После этого обутый, с ножом в руках забрался в мешок, где и провёл остаток ночи в тревожном забытии. Сквозь дрёму вздрагивал от каждого шороха. По мере того, как ночная мгла сменялась робким рассветом, во мне нарастала злоба на волчье племя. Восходящее солнце с каждой минутой вливало в моё сердце смелость, изгоняя вместе с темнотой страх.

Вой не прекращался. Я проверил ружьё, воткнул в чехол нож и, готовый к схватке, откинул край брезента. Солнце уже показалось в проёме между сопки. Земля чуть припудрена порошей. Держа ружьё наизготовку, крадучись пошёл мимо груды дров к месту, откуда волк выл в последний раз. Я должен был непременно убить его, и даже мысль о том, что волк не один, что там, быть может, целая стая, уже не могла остановить меня.

Приблизившись к сопке, огляделся, пытаясь понять, куда они могли так быстро и незаметно разбежаться. Как ни странно, вокруг ни единого следа. И тут прямо над моим ухом раздалось противное и тягостное завывание. Я вскинул ружьё, но...

стрелять было не в кого! Вой издавала старая ель, раскачиваемая ветром. Я захохотал, как сумасшедший. Какой позор! Надо же так опростоволоситься! А ещё пою: «Здесь друзья мои — добрые звери и хранитель зверей — дикий лес...» Умора!!

Страх отнял у меня способность трезво мыслить, иначе бы я сообразил, что волк не станет всю ночь сидеть на одном месте возле палатки и выть, не испугавшись даже выстрела.

Когда я вечером возвратился с очередного обхода, «вой» прекратился, и больше я его никогда не слышал.

ТАЙГА ЛЕЧИТ

На Фартовом ни один из двадцати капканов не сомкнул челюсти. Ну, ничего, цыпят по осени считают — хорохорился я.

Есть на этом путике одно приветливое место, которое не хочется покидать. Это обширная, заснеженная поляна в изумрудной раме патлатых кедров. На Буге всюду, куда ни пойдёшь — непролазная чащоба. И вдруг — чистое пространство, по которому слабый ветерок перекачивает жёлтые волны вейника*. Этот контраст будоражит воображение. Сразу представляются дымящиеся юрты, охотники, возвращающиеся с добычей. А совсем близко, в тёмном распадке, затаились воины враждебного племени...

Позже Лукса подтвердит, что на этой поляне действительно когда-то было становище его предков, кочевавших по всему Сихотэ-Алиню. Непонятно только, почему они облюбовали место на восемь километров отстоящее от Хора? Ведь река — главная дорога и кормилица для таёжных жителей.

На этой поляне я всегда останавливаюсь на отдых и почти всегда вспоминаю брошенный посёлок золотоискателей в Якутии у подножья перевала на Гонам. Там мы оказались во время поисков Юры и Саша. Картина, надо сказать, довольно удручающая: стоят крепкие, добротные дома. В каждом дворе баня, летняя кухня, сарай. В центре посёлка двухэтажный дом. Рядом с ним постройка с ржавым листом, на котором угадываются буквы «МА...». Улицы, дворы, огороды уже сплошь заросли молодыми деревьями.

Мы обследовали посёлок в надежде найти следы пребывания ребят. В одном из домов на некрашеном полу я увидел куклу в выцветшем платице. Горло невольно сдавило. Лет пятнадцать назад здесь было шумно, многолюдно. В каждом доме бурлила жизнь, а теперь тихо, как на погосте. Интересно, где сейчас хозяйка этой куклы?

И сегодня я, как обычно, остановился на краю любимой поляны. В этом оазисе, защищённом от ветров, всё млело и купалось в тёплых, ласковых объятьях февральского солнца. Расстегнул телогрейку, снял шапку. Ветерок приятно охлаждал разгорячённое ходьбой лицо.

Наблюдаю, как на кончике ветки повисает капля с бегающей искоркой солнца. Когда она налилась в полную меру, искорка испуганно забилась, словно не желая падать. Но, так и не сумев вырваться из тонкой оболочки, вместе с каплей исчезла в снегу.

В этот момент мне на голову уселась маленькая пичуга. Её острые коготки впились в кожу. Весело присвистнув, она дёрнула клювом волосок. От неожиданности я вздрогнул. А отважная шалунья, перепорхнув на дерево, что-то возмущённо пропищала.

Спускаясь с сопки, чуть не наехал на отдыхающих косуль. Они пружинисто вскочили и в ужасе рассыпались в разные стороны. Бег у косуль своеобразный: несколько

* Вейник — полевой злак с красивой густой метёлкой.

прыжков небольших и частых, затем один огромный, летящий, и опять череда коротких, как бы разгонных.

Буро-коричневая окраска делает их практически невидимыми среди деревьев, и только белые пятна на заду (охотники их называют «зеркалом») некоторое время мелькали между деревьями. Они копытили тут листья и траву. Рядом в снегу глубокие овальные ямки — лёжки. Эти олешки зимой деятельны только в утренние часы. После полудня они обычно отдыхают, пережёвывая жвачку.

Поднятые мной косули, судя по толстой шее и рогам, в два раза превышающим длину ушей, — четырёх-пятiletки. (У молодых шея тонкая и рожки вровень с ушами).

* * *

Под Разбитой прошла стая волков. На сей раз не мифическая, а самая что ни на есть настоящая. Вожак — матёрый волчище. Отпечатки лап — десять на шесть с половиной сантиметров. У остальных заметно мельче. По форме их след похож на собачий, но отличается расположением пальцев.

Шли гуськом, след в след. Только на крутом повороте у поваленного кедра появились разброды. Судя по ним, в стае, кроме матёрого, — волчица, два прибылых^{*} и три переярка^{**}. Эти лыжни не боятся. Даже немного прошли по ней.

Одиноким скиталец-тигр, делая очередной обход своих владений, вышел на след этой стаи и двинулся по нему. Теперь, надо полагать, серые не скоро появятся в этих местах. Тигр задаст им перца, поскольку с волками и собаками эти могучие кошки враждуют испокон веку.

По моим наблюдениям, в бассейне Буге живёт два тигра. У одного из них под ясенем, возле Разбитой, что-то вроде уборной. Уже не первый раз вижу там кое-как присыпанные снегом экскременты — верёвки, сплетённые из остевых волос кабаньей шерсти, — и, как ни странно, совершенно не имеющие запаха. Стало быть, КПД желудка тигра практически сто процентов.

На обратном ходе вышел на Хор посмотреть, не появились ли там норки. И не зря. По берегу петляли два свежих следа: самки и её кавалера. Они пересекли реку и скрылись в тальниках. Я пошёл было следом, но не успел сделать и пяти шагов, как почувствовал, что снег уходит из-под ног. Инстинкт самосохранения сработал мгновенно: я откинулся назад. На том месте, где я только что стоял, свинцовая вода жадно пожирала снежный пласт и, угрожающе бурля, требовала новой порции. Лёжа на краю полыни, упираясь в снег руками, отполз на безопасное расстояние. После чего встал и вернулся на берег. Только тогда облегчённо вздохнул.

По кромке провала было видно, что лёд, укрытый толстой снежной шубой, «съело» быстрым течением, и, стоило ступить на него, он рухнул. Если бы я не успел оттолкнуться назад, то меня с лыжами на ногах сразу затянуло бы под лёд.

Этот урок лучше многократных наставлений Луксы приучил выходить на реку только с посохом и перед каждым шагом проверять им прочность ледяного панциря.

Ура-а! Ура-а! Лукса вернулся! Изрядно исхудавший, побледневший, но весёлый и всё такой же неутомимый. По стану, прыгая от восторга, носился поджарый Пират. Тоже отощал на скудных гвасюгинских харчах. Я сбросил ему с лабаза кетину. Благодарно лобызнув меня, пёс набросился на любимое лакомство.

^{*} Прибылой — волк этого года рождения

^{**} Переярка — волк прошлогоднего помёта.

— Немного подшаманили и ладно. Хотели ещё неделю держать. Уговорил. Задышаться стал в каменном мешке. Каждую ночь Буге снился. Никак нельзя нашему брату без тайги. Панты вот принёс, — Лукса достал из кармана бутылочку с тёмно-коричневой жидкостью. — Панты и Буге быстро вылечат.

Истосковавшись по живому общению, я, не закрывая рта, рассказывал про свои охотничьи новости и происшествия. При этом невольно прислушивался к своему голосу. Поначалу мне даже казалось, что говорю не я, а кто-то другой. Настолько отвык от собственной речи.

Лукса, попыхивая трубкой, внимательно слушал. Узнав, что днём я чуть было не отправился кормить рыб, помрачнел:

— Чего так делал? Река — обманщица.

Помолчав, добавил:

— Однако, бата, со мной в молодости ещё хуже было. Думал, совсем конец.

Лукса раскопегарил потухшую трубку и продолжил:

— После Нового года все уже разошлись по участкам, а я, как всегда, загулял. Возвращался на Буге один. У второго прижима нартовый след шёл вдоль полыньи. Дело обычное. Вдруг слышу: «Трх, трх» — лёд ломается. Не успел опомниться, как закачался на отколовшейся льдине, будто в оморочке. Хотел по нартам перепрыгнуть на торос, но льдина маленькая, накренилась, и я в воду свалился. Одна лыжа слетела, а вторая, как парус, по течению тащит. Ладно, успел в край полыньи вцепиться и ногой вертануть так, что лыжа съехала. Лёд гладкий, руки скользят, не знаю, как выбрался. Спасибо Пудзе — пожалел. Долго потом болел, ёлка-моталка. С рекой, паря, не шути. Не ленись, всегда лёд проверяй... Говорим, говорим, однако живот есть просит. Копчёной рыбки принёс. Устал в больнице от каш. Давай пировать маленько будем.

Лукса извлёк из котомки завернутую в какую-то грязную бумагу рыбу. Вид обёртки совершенно не возбуждал аппетита. Мне даже показалось, что она покрыта плесенью. Но приятно пахнущая дымком и сочащаяся жиром кетина оказалась великолепна. Съели всю за один присест.

Лукса взял промасленную бумагу и покачал головой:

— Совсем грязная.

«Не то слово», — мысленно поддержал я его и несколько не удивился тому, что он бросил обёртку в печку. Но когда охотник, допив чай, извлёк её обратно и положил на наш стол, я потерял дар речи: бумага была не только целая, а стала чище и белее. Впрочем, зелёные пятна, которые я принял за плесень, сохранились.

Видя моё изумление, Лукса, кивнув на бумагу, произнёс:

— Горная шкурка. На горе Ко её много. Удобная: в огонь бросил — опять чистая. Охотовед говорил — это минерал. Трудное название, не помню.

Я, наконец, сообразил, что это даннеморит — минерал, встречающийся в нашей стране только на отрогах Сихотэ-Алиня.

НЕ СЕРДИСЬ, ПУДЗЯ

Ночью снилось, будто кто-то тянет меня за ноги в чёрную бездну. Я отчаянно цепляюсь за всё подряд, но погружаюсь в неё всё глубже и глубже. Проснулся весь в поту и долго не мог успокоиться.

В палатке тепло. Лукса уже позавтракал и ушёл откапывать капканы. Через полчаса я тоже был на лыжах и брёл по Глухому. Он оправдал своё название. На нём действительно всё глухо. Ни одного свежего следа.

Вернувшись к становищу, принялся готовить ужин. Вскоре подъехал шатающийся от усталости наставник — ослаб за время болезни. Я обратил внимание, что он сильно возбуждён.

— Что-то случилось?

— Отгадай загадку, — предложил он вместо ответа. — В липе сидит, скребётся, пыхтит, тронешь — рычит.

— Медведь?

— Верно. Потеплело, вот и проснулся. Со стенок труху соскребают. Постель мягче делает. Пойдёшь со мной?

— Ты ещё сомневался?! — обиделся я.

Весь вечер тщательно готовились. Отливая в колупе* пули, Лукса всё сокрушался, что тигр много ходил по одному из его путиков.

— Пока не буду туда ходить. Увидит, что следы топчу — всякое думать начнёт, сердиться будет.

— Лукса, ты же говорил, что тигр очень умный зверь. Всё понимает.

— Да, куты-мафа, что думаешь, даже знает. Подумаешь: не буду стрелять, — он понимает и тоже думает: не буду его трогать. Но когда куты-мафа далеко, он не знает, что я думаю. Не понимает, зачем по его следам хожу, и сердится.

Я не раз слышал, что некоторые промысловики до сих пор настолько боятся тигра, что стоит ему появиться на участке, бросают охоту и покидают это место, порой навсегда.

Лукса сегодня снял четырёх соболей и, хотя прошло больше месяца, ни один из них не попорчен мышами. Закончив приготовления к охоте, он раскурил трубку и задумался, глядя по обыкновению сквозь щёлку в дверце на переливы огня в печурке.

— О чём думаешь? — потревожил я его.

— Так, вспоминаю... Раньше ведь как было? Перед большой охотой к Аки с белым петухом шли. Он надевал шапку с рогами, маску — хамбабу. На пояс вешал кости медведя, рыси, железные погремушки. Под бой бубна в тайгу вёл. Там большой костёр жгли. Котёл с водой ставили. Шаман вокруг ходил, камланил, волшебные слова говорил, пахучим багульником дымил — злых духов отгонял. Как вода закипала, петуха в котёл бросал — Пудзе подарок делал. Только тогда на охоту шли. Сейчас так не делаем, а хороший охотник всё равно без добычи не остаётся...

Встали одновременно, как по команде. Не спеша собрались. Продули стволы ружей. Заткнули их комочками мха. Лукса набил печь сырым ясенем, закрыл поддувало: «Пока огонь в печке — удача с нами». И, взяв Пирата на поводок, скомандовал «Га!""». Долго шли по долине ключа. Свернув в один из боковых распадков, стали карабкаться на сопку.

Чем дальше, тем круче склон. Чтобы не скатиться вниз, всё чаще хвататаемся за кусты и подлесок. В закрытой со всех сторон ложбине Лукса встал.

— Передохнём? — спросил я.

Вместо ответа он показал на дерево в десяти метрах от нас. Я понял — пришли!

Липа была старая, с раздвоенным стволом и тёмным зевом у развилки.

Пират, почуяв запах зверя, вздыбил шерсть и взволнованно завертелся вокруг неё, шумно вынюхивая, откуда сочится медвежий дух. Найдя это место, принялся грызть ствол, повизгивая от возбуждения.

Лукса снял лыжи и, подойдя к липе, прижался к ней ухом — внутри тихо.

Я тем временем метрах в семи утрамбовывал небольшую площадку, обламывал закрывающие обзор ветки. Тот, кто бывал на медвежьей охоте, представляет, с какой тщательностью всё это выполняется.

* Колуп — форма для литья пуль.

"" Га (удэг.) — пошли.

Лукса поручил мне держать под прицелом лаз, а сам обухом топора принялся бить по стволу — будить лежебоку. Стукнув раз десять, замер. Стая снежинок закружилась в воздухе. В томительной тишине, казалось, был слышен шелест их падения. Лукса ударил ещё раз четыре, но косолапый либо крепко спал, либо затаился. У меня стали мёрзнуть руки. Указательный палец уже не чувал спускового крючка. Нервный озноб усиливал ощущение холода.

Видя моё состояние, наставник подошёл, чтобы дать мне возможность отогреть руки в меховых рукавицах и обмозговать, как выманить засною.

— Будем стрелять по стволу. Заденем — вылезет, — решил он.

Поочерёдно всадили четыре пули, стреляя каждый раз всё ниже и ниже. Из дупла ни звука.

Теперь Лукса взял лаз под прицел, а я принялся рубить отверстие в месте, подсказанном собакой. Дерево поддавалось с трудом, и, когда я выдохся, Лукса сменил меня. Прорубив, наконец, небольшое отверстие, он припал к нему одним глазом. Через некоторое время обернулся и приложил обе руки к щеке — спит. Я подошёл и тоже заглянул в дупло. Густо пахло прелой древесиной. Когда глаз привык к темноте, разглядел внизу чёрный ком. Длинная шерсть чуть колыхалась. Мне даже почудилось сладкое посапывание.

Чтобы не портить медвежью квартиру, решили поднять мишу и стрелять на выходе. Лукса отломил длинную ветку и заострённым концом принялся тыкать в зверя. Медведь завозился, рывкнул и, видимо, схватил ветку лапой, так как она мгновенно исчезла в дупле. Потом гулко заворочался и стал карабкаться по пористым стенкам древесной трубы наверх. Вот из лаза показались широкие лапы, оскаленная пасть.

Я выстрелил. Медведь взревел и, к нашему ужасу, медленно скрылся в утробе липы. Глухой удар подтвердил преждевременность выстрела.

Наставник наградил меня свирепым взглядом и, срезав ветку потолще, опять потыкал медведя. Тот не реагировал. Лукса произнёс традиционное:

— Не сердись, Пудзя. Состарился совсем медведь. Не ругай за испорченную берлогу — медведь сам виноват. Мы долго просили выйти. Не послушался.

Расширив топором дыру, вдвоём кое-как вытянули косолапого. Когда рассматривали его в «глазок», Лукса определил: пестун. Мне же показалось, что перед нами чуть ли не медвежонок. Ошиблись оба. «Медвежонок» оказался довольно крупным самцом килограммов на сто двадцать — сто тридцать (гималайские мельче бурых). В дупле, у самого дна, в мягкой трухе имелось глубокое комфортабельное ложе, оно-то и скрадывало истинные размеры хозяина.

Не теряя времени, начали свежевать добычу. Иссиня-чёрную, с серебристым глянецом «шубу» с белоснежной чайкой на груди (из-за неё гималайского медведя ещё величают белогрудым) снимали аккуратно — Лукса обещал после выделки подарить её мне.

Глядя на длинные, слегка загнутые клыки, я невольно поёжился. Один из них, верхний, был сломан и, похоже, давно — место слома уже отполировалось.

Медведь оказался довольно упитанным. По бокам и на ляжках слой сала в полладони, на спине и лапах — с палец, а внутренности так буквально залиты жиром.

— Запасливый лежебока, — радовался наставник.

Закончив свежевать, разрубили тушу на части и забросали снегом. Сердце, печень и часть мяса сложили в рюкзаки. Лукса ещё вырезал, предварительно перетянув шейку верёвочкой, целебный жёлчный пузырь. Поколебавшись, вынул глаза медведя и, подойдя к дереву, положил их на толстый сук, навстречу первым лучам солнца.

— Пусть Пудзя видит, что мы соблюдаем закон, — сказал охотник.

Пока разделявали добычу, двигались мало и основательно продрогли. Споро наломав сушняк, запалили костёр. Повалил густой дым. Оранжевые язычки пламени

пробились сквозь него и с весёлым потрескиванием разбежались по веткам во все стороны. Слившись в горячее, трепещущее полотнище, взметнулись в холодную высь.

Бывалый таёжник достал из своей котомки мешочки с сахаром, чаем и прокопчённый котелок. Я набил в него снег и повесил на косо воткнутую палку. Лукса подложил ещё сучьев и, щуря глаза, пододвинулся к костру:

— Люблю огонь. Он живой. Рождается крохотным язычком, а покормишь дровами — вырастает до жаркого солнца. Согреет и умирает.

Действительно, пламя костра завораживает, глядя на него, как будто попадаешь под гипноз невидимых сил. Неслучайно наши предки боготворили и берегли огонь.

— Костёр обещает ясную погоду, — неожиданно изрёк удэгеец.

Я с недоумением глянул на него.

— Чего глаза вывернул? Не на меня смотри, на костёр смотри, — довольный произведённым эффектом, произнёс Лукса. — Видишь, по краю угли быстро покрываются пеплом — быть солнцу. Если тлеют долго — быть снегу.

Попив чаю и отогревшись, зашагали к «дому».

Добрались засветло и пировали до ночи. Лукса, забыв про язву, отправлял в рот самые жирные куски. Когда я пил наваристый бульон вприкуску с сухарём, у меня во рту что-то хрустнуло. От неожиданности я охнул. Неужто зуб? Схватил зеркало — точно: передний клык обломился.

— Отомстил миша, — прошептал суеверный удэгеец.

— Лукса, да медведь тут совсем не при чём. Зуб был мёртвый, просто время пришло, — возразил я, хотя сам тоже невольно вспомнил сломанный клык.

ТАЛА

Выхожу всё раньше и раньше, а возвращаюсь всё позже и позже. И это при том, что день заметно удлинился. Если в начале сезона я ходил по пять-шесть часов и путики были не более пятнадцати километров, то сейчас путики вдвое длиннее и снег месишь, зачастую по целине, десять-одиннадцать часов кряду. Однако светового дня всё равно не хватает — так хочется найти более уловистое место и расставить как можно больше ловушек.

Этой ночью приснилось, как будто поймал двух соболей, причём второго — в последнем капкане в конце путика. Наяву всё так и произошло. Первого снял в теснине между сопок. Правда, если бы прошёл хоть небольшой снежок, я уже не разыскал бы его: от постоянных ветров снег в этом месте спрессовался, и соболю, протаскивав капкан с потаском более ста метров, оставил на нём лишь едва заметные царапины. По ним-то и обнаружил зверька, застрявшего в переплетении лоз дикого винограда. Второй, действительно, оказался в последнем капкане под скалистой кручей.

Вечером, выслушав мой рассказ, Лукса сказал:

— Хороший охотник видит зверя сквозь сон, — и, привычно глядя в огненный зев печурки, добавил: — Настоящим охотником стал. Человека шибко трудно разглядеть — время надо, но на медвежьей охоте сразу видно. Я всё думал, что за парень? Городской, а в тайгу пошёл. Боялся, опасность будет — оробеешь, подведёшь. Теперь так не думаю. Возле медвежьей квартиры не всякий может стоять. Давай, бата, следующий сезон опять вместе соболя промышлять. Зимовье поставим. Тепло, просторно будет.

От таких слов у меня приятно защемило сердце. Упругий, судорожный ком сдавил горло. Не в силах вымолвить ни слова, я молча пожал сухую, крепкую руку наставника. Нахлынувшее чувство признательности искало выход. Хотелось сделать



что-нибудь приятное для этого скупого на похвалу человека, ставшего мне близким, почти родным за время охоты. Я снял с себя серый, толстой вязки шерстяной свитер и смущённо протянул ему.

Лукса обрадовался подарку, как ребёнок.

— Спасибо, бата. Надевать буду, тебя вспоминать буду.

Надо сказать, мне здорово повезло с наставником. Впервые я по-настоящему осознал, как мне не хватает его, в тот день, когда он не вернулся из стойбища после Нового года. С ним было легко и надёжно. Общение с ним учило меня понимать тайгу, повадки зверей, птиц; я стал чувствовать себя частицей этого великолепного и богатого края.

Через неделю завершится промысловый сезон. Охотники покинут свои участки, и на всём протяжении Хора, от истоков до Гвасюгов, река опустеет. А кажется, только вчера я вынимал из капкана своего первого соболя. Вот уж действительно — время на охоте течёт медленно, только когда готовишь ужин.

На обрывистых южных берегах снег начал подтаивать. Кое-где даже выросли настоящие сосульки. В воздухе завитал свежий хвойный аромат. Тонконогий паук, обманутый теплом, вылез из своего убежища и разгуливал по отмякшему снегу.

В бассейне Буге есть ещё один уголок, посещение которого всегда волнует меня. Находится он в конце Глухого. В этом месте растёт диковинное дерево: искорёженный временем тис или «негной-дерево». Внешне нечто среднее между елью и кедром. На нём из-за обилия веток с густо растущими плоскими хвоинками к концу зимы скапливается гора снега. Видимо, по этой причине верхушка обломана, а ствол расщеплён почти до основания, отчего он напоминает старый гриб с треснутой красноватой ножкой и массивной шляпкой — белой сверху, зелёной снизу.

Негной-дерево доживает до сказочного возраста в три-четыре тысячи лет. Растёт оно очень медленно и достигает метр в обхвате к исходу второго тысячелетия. Мой тис, судя по толщине ствола, был старцем ещё до возникновения Киевской Руси.

Тис — древнее, но, к сожалению, вымирающее дерево. Относится оно к хвойным, но хвоя ядовита и почти не содержит смолы. Вредители избегают его. За странные для хвойной породы плоды, похожие на ягоды рябины, тис ещё называют елью с красными ягодами. На моих путиках всего два таких дерева: здесь и на Крутом. Оба не первой молодости, а принять эстафету, длящуюся миллионы лет, некому — вокруг ни единой поросли.

С обхода пришёл раньше обычного. Решил порыбачить под скалами напротив становища. Наскоро хлебнув чайку, спустился на лёд. Разгрёб улами снег, и из-под лезвия топора полетели гранёные, с хрустальным переливом осколки. Через десять минут лунка была готова. Опустил в непроницаемую тьму «краба» и, слегка подёргивая леску, склонился в ожидании. За полчаса ни одной поклёвки. «Может, перейти к границе между спокойной водой залива и стремительным течением основного русла?» — заколебался я, как вдруг — резкий рывок. Подсёк и, перехватывая, тяну леску на себя. Она больно режет пальцы. Сильная рыба сопротивляется отчаянно, но всё-таки это не тот пудовый таймень, с которым мне довелось тягаться на реке Арму лет шесть назад. Вскоре крупный, упругий ленок, отливая пятнистой коричневой чешуёй, забился на снегу. За ним с интервалом в несколько минут вытащил ещё двух. После этого — как обрезало, клёв прекратился. Закинул ленок на лабаз. Вечером Лукса приготовил из них отменную талу^{*}. Тот, кто ел, подтвердит — нет ничего вкуснее.

^{*} Тала — излюбленное блюдо северных народностей. Готовится из сырого мяса ленка, тайменя, хариуса.

Приготовить её может каждый. Для этого необходимо лишь поймать ленка, а ещё лучше — тайменя. Слегка подморозить, после чего отсечь голову и хвост. Надрезать шкуру вдоль спины и брюха. Сняв её, отделить мякоть и нашинковать тонкую янтарно-жемчужную лапшу. Посыпать солью, сбрызнуть уксусом, перемешать и снова подморозить. Всё! Блюдо готово. Да какое! В тайге много деликатесов, но вкуснее этого я не едал. Кладёшь щепотку на язык, и во рту тает что-то божественное.

ЩЕДРЫЙ БУГЕ

Ночью прошёл самый обильный за эту зиму снегопад. Тайга стала густой, как летом, только не зелёной, а белой. Ветви, придавленные тяжёлой кухтой, безвольно согнулись до земли.

Не напрасно я держал весь сезон несколько капканов на приманку. Сколько раз приходилось подправлять просевшие хатки, докладывать мяса. И вот, наконец, пробил их час. Не хватает уже соболю мышей. Многочисленные в начале зимы, теперь они редко попадают ему на обед. Опытный Лукса ещё в ноябре говорил, что к концу зимы соболю всё равно пойдёт на приманку.

На Фартовом до сих пор стояло три хатки. В первой соболю, доставая мясо, как-то изловчился и переступил тарелочку. В другой, ещё до прихода соболя, в капкан попала сойка. Тот, не будь дураком, съел и её, и приманку. В надежде, что он вновь посетит это место, положил свежий кусок кабанятины и перенасторожил ловушку.

Дойдя до вершины путика, завернул на обратный ход и увидел на «мёртвой» пороше свежайший след соболя, терявшийся в широком зеве распадка. «Попробую догнать», — загорелся я. След попетлял по склонам и привёл... к хатке, оставленной мною три часа назад.

За небольшой промежуток времени здесь произошли большие перемены. В капкан опять угодила сойка, и два соболя, привлечённые её криком, уже полакомились ею и отдыхали в снежных норах неподалёку. Я насторожил ещё три ловушки с таким расчётом, что если в одну из них снова попадёт сойка, то оставшиеся не дадут соболям безнаказанно уйти. А приманку затолкал поглубже и закрепил палочками.

На подходе к стану меня догнал довольный Лукса — снял трёх соболей и всех на приманку. Быстро он навёрстывает упущенное за время болезни!

* * *

Сегодня планировал вернуться с охоты пораньше, чтобы просушить, вытряхнуть спальные и наколоть дров. Но соболю, неторопливо бежавший поперёк ключа, спутал все мои карты.

Глядя на свободный бег зверька, я невольно залюбовался им. Сколько ловкости, изящества в его движениях! Заметив меня, соболёк, почти не меняя темпа, пересёк пойму и стал взбираться по обрывистому склону. Я с лихорадочной поспешностью рванул за ним, но, увы... Подъём, который соболю взял легко и быстро, я месил, увязая в сыпучей снежной крупе, минут пятнадцать. Когда мучительное восхождение закончилось, передо мной открылась ещё более безрадостная картина — за пологим бугром вздымался не менее крутой склон.

Карабкаясь на него под гулкие удары сердца, невольно вспомнились слова Луксы: «Соболю от охотника никогда вниз не идёт. Всегда вверх».

Одолев подъём, побежал вдоль следа. Широкая терраса привела меня в соседнюю падь. Соболю успел там так напетлять, что моего охотничьего опыта было не достаточно, чтобы расшифровать эти письмена.

В сердцах плюнул и побрёл к стану соболей стёжкой, не обращая на неё поначалу внимания, но метров через двести она неожиданно оборвалась у берёзы. Меня это озадачило. Обошёл вокруг — дальше никаких следов. Зато между корнями обнаружил лаз. По обледелой горловине понял, что соболев пользуется им довольно часто.

Сгущающаяся темнота торопила: обтоптав снег у ствола, насторожил перед лазом две ловушки.

Насилу дождавшись утра, чуть свет побежал к берёзе, хотя мало верил в удачу.

Напрасно! Соболев угодил в капкан сразу, как только вышел из убежища. Метнувшись в сторону, попал во второй. Этому трофею я радовался вдвойне, поскольку достиг заветного рубежа — выполнил план по соболю и тем самым утёр-таки нос охотоведу, не одобрявшему решение директора госпромхоза о приёме на работу худящего городского очкарика.

В амбарчике, где соболя съели вместе с приманкой двух соек, попалась... сойка. И всё повторилось по отработанному сценарию, в последнем акте которого я опять остаюсь с носом.

Деловые соболя уже понарыли вокруг жилых нор, а в сторонке в небольшом углублении устроили уборную. Нагуливая жир на дармовом питании, они, наверняка, посмеивались над незадачливым охотником. Зло взяло. Сколько ж они будут издеваться надо мной?!

Расставил все имевшиеся капканы у лазов, на тропках, вокруг приманки и тщательно замаскировал свои следы. Послезавтра на этом путике всё снимаю — неужели никого из них не успею поймать?

* * *

Сегодняшнее утро подарило восход, напоминающий извержение вулкана. Прямо над тёмным конусом горы разгоралось бордовое зарево, обрамлённое клубами тяжёлых, почти чёрных туч. Имитация извержения была настолько правдоподобной, что я невольно прислушался — не слышно ли гула?

Вчера разоружал Глухой, нынче очередь Крутого. Один из тех хитрых обжор, что столько дней безнаказанно пировал на дармовых харчах, всё же попался. Второй оказался хитрей и покинул место, где каждый день лязгают железные челюсти.

Сходил к берлоге, забрал остатки мяса. Лукса большую часть за эти дни уже перенёс на лабаз. Прорубленное в липе отверстие промысловик по-хозяйски заделал двумя слоями коры, плотно прибив её к стволу деревянными клинышками: бережёт берлоги на своём участке.

Почерк бега соболей изменился. Заметно, что они возбуждены, проявляют повышенную активность. Бегают в основном парами и всё больше прямо, ни на что не отвлекаясь. Лукса говорит, это ложный гон начался. Настоящий будет в июле. А поскольку беременность у соболюшек длится около двухсот восьмидесяти дней, потомство появится, как положено, — весной.

ПРОЩАНИЕ

Четыре месяца пролетели, как быстрая птица. Завтра выходим. Я уже предвкушаю жаркую баню с душистым берёзовым веником, просторную светлую избу, чистые постели. Что ни говори, а некоторые неудобства палаточной жизни со временем начинают утомлять. В зимовье они не так заметны. По крайней мере, в нём можно выпрямиться во весь рост, да и топить печь постоянно не требуется.

Впервые собрался на охоту раньше Луксы. Над промёрзшими вершинами хребта едва затлел рассвет, а я уже стоял на лыжах. Путик решил пройти в обратном направлении: сначала по пойме, а потом по горам. Дело в том, что к середине февраля солнце к полудню поднимается уже высоко и снег на пойме, подтаивая, липнет к камусу тяжёлым бугристым слоем.

У ближней протоки открылась радующая взор любого промысловика картина. Снежный покров истоптан мелкими следочками норки, а на краю промоины торчит пружина. Ну, думаю, подфартило напоследок. Осторожно потянул на себя цепочку. Капкан пошёл неожиданно легко, и... (о, ужас!) между дужек лишь коготки. Ушла!

Я совершил ошибку, прикрутив два капкана к общему потаску. Это рационализаторство вышло боком: когда норка сдёрнула первый, второй капкан сработал вхолостую. Проклиная свою «изобретательность», рванул напрямик на перевал. Там на свежих тропках стояло три ловушки, и я надеялся, что напоследок фортуна всё же улыбнётся мне. Но, увы...

Эти утренние неудачи поначалу расстроили меня. Но с каждым шагом в душе пробуждалось и нарастало ощущение той богатырской силы, от которой, как во сне, всё легко и просто. От того, что так весело и щедро смеётся солнце, искрится снег, оттого, что план выполнен и будет хороший заработок, оттого, что скоро домой — настроение стремительно улучшалось.

Сердце наполнило ликование, рвавшееся мощной лавиной из груди. Чтобы дать выход этому восторгу, я во всё горло завопил марш «Прощание славянки». Теперь можно не бояться, что обитатели Буге, не выдержав моего кошмарного пения (слух у меня отсутствует напрочь), в панике разбегутся. Зато эта необычайно красивая и жизнеутверждающая мелодия очень точно отражала моё состояние: редкое, незабываемое ощущение счастья, любви ко всему на свете. Казалось, что и тайга отвечает взаимностью, восторгаясь и ликуя вместе со мной.

Вечер посвятили упаковке снаряжения и добычи. Палатку, печку, капканы оставляем здесь — Лукса решил рубить зимовье сразу после ледохода — когда сюда можно будет подняться на моторной лодке.

Почаёвничав, разлеглись на шкурах и долго обсуждали итоги сезона, строили планы на будущее. От мысли, что завтра покидать этот исхоженный вдоль и поперёк ключ, милые сопки — защемило сердце. Долгих восемь месяцев не будет у нас чаепитий у жаркой печурки, неторопливых, душевных бесед, чувства приятной усталости от настоящей мужской работы...

Утром позавтракали последний раз в палатке, ставшей для нас практически родным домом. Загрузили нарты, впрягли в них Пирата. Окинули прощальным взглядом гостеприимный Буге и, отсалютовав из ружей, тронулись в путь, толкая нарты шестом-правилком.

Из памяти невольно всплыли строки из Юриного стихотворения:

Тайга, тайга, мне скоро уезжать...

И где бы не лежал мой путь,

Я знаю, что вернусь к тебе обратно...

Проходя мимо «святой семейки» — деревянных идолов, Лукса остановился:

— Спасибо, Хозяин. Мы плохие охотники, но ты много соболей дал.

И, почтительно приложив руку к сердцу, пошёл дальше. Я, на всякий случай, проделал то же самое. За время охоты у меня выработалась привычка соблюдать местные языческие ритуалы.

Конечно, успех охоты в основном определяется знанием и упорством промысловика, но бывает, что и умудрённый опытом таёжник терпит неудачу. И тогда он

готовов поверить в разного рода приметы, предзнаменования. Хотя зачастую всё дело в слепом случае, который может повлиять на исход сезона как новичка, так и бывалого промысловика.

Невзлюбившая нас погода усердно пакостила и в этот день. Едва успели пройти Разбитую, как повалил сырой снег. Тёплый ветер склеивал снежинки в тяжёлую влажную массу, прилипавшую к лыжам и нартам. Правда, когда лыжи промокли насквозь, снег липнуть перестал, но от «выпитой» лыжами и камусом влаги они превратились в пудовые кандалы. Сами мы стали похожи на мокрых куриц.

Тем не менее до Джанго добрались сравнительно быстро, но дальше русло на протяжении километра покрывала льдистая каша свежей наледи, отнявшая у нас много сил. Идти с прежней скоростью уже не могли.

Лукса, привычный к таким переходам, подбадривал, но я совершенно выдохся. Горячий солёный пот заливал глаза. Шёл на автомате, словно в полусне, не представляя ни сколько сейчас времени, ни где мы находимся. Не заметил, как посерел и умер, уступив место ночи, день. В голове крутились бессвязные обрывки мыслей, среди которых назойливо повторялась только одна: «Идти... идти...»

Казалось, этому кошмару не будет конца. Тёплый южный ветер как-то незаметно сменился на западный — холодный. Начало подмораживать.

Из мокрых куриц мы медленно превращались в рыцарей, одетых в ледяные латы. Теперь каждое движение требовало дополнительных усилий. Не понятно как, но я потерял рукавицы. В довершение ко всему, на правой лыжине порвалось крепление. Надо было заменить ремешок, но от усталости мной овладело полное безразличие, и я притулился к торосу.

О-о-о!!! Какое это блаженство — сидеть и не шевелиться. Мысли смешались, закружились быстрее и быстрее...

Луксе понадобилось немало времени, чтобы привести меня в чувство. Крепление уже было отремонтировано. Я встал и, пошатываясь, пошёл за наставником. Как добрались до стойбища — не помню. К действительности вернул дружный лай гвасюгинских собак. К дому Луксы подошли в пятом часу ночи.

Мне едва хватило сил раздеться и упасть в приготовленную постель...

Когда открыл глаза, долго не мог понять, где нахожусь. Поразили непривычное тепло, тихая музыка, простенький коврик на бревенчатой стене. Наконец, сообразил — я в Гвасюгах, у Луксы.

Ура!!! Не надо больше заботиться о дровах, ставить на морозе капканы, ходить по целине, карабкаться по крутым склонам.

Сладко потянувшись, уткнулся в подушку и вновь забылся глубоким, безмятежным сном младенца.

Написано 19.01.1988 г. город Уфа.

Отредактировано 25.04. 2016 г. город Ялта.



ЮБИЛЯРЫ

От редакции: Год татарстанских юбилеев начатый с 80-летия Первого Президента Республики Татарстан М. Ш. Шаймиева, затронул и писательские круги (и не только татарстанские). В конце декабря минувшего года народному поэту Татарстана, нашему давнему другу, Разилу Исмагиловичу Валееву исполнилось 70 лет. Эту же дату отмечают уже в начале 2017 года постоянные авторы журнала: поэт Валерий Черкесов (Белгород), драматург и прозаик Лев Кожеевников (Казань).

С достигнутым совершеннолетием, уважаемые именинники!



РАЗИЛЬ ВАЛЕЕВ

ТАМ, У РЕКИ...

ТАТАРСКИЙ ПОЕЗД

Покидая Москву, я вслепую по ней не брожу –
на Татарское кладбище
 прямо с утра прихожу,
а потом — на вокзал (где людей —
 словно газа в «нарзане»).
Жду состав до Казани.

Я смотрю на колёса, которые знают давно,
кто когда-то под шпалы

в дорожное лёг полотно.
Хриплый крик испутив,
на восток отправляются скорые.
(Поезда – это многостраничные
книги истории...)

Я иду на перрон.
Пусть прожжёт меня окон глазами
мой состав до Казани.

К башне Сююмбике,
где звенят муэдзинов азаны,
мои мысли несутся быстрее,
чем состав до Казани!

Ничего не боюсь.
Чем нас можно ещё утешить?

Мы прошли через столько смертей,
 что осталось — лишь жить.
Только б вместо зелёных вагонов
 родных «Татарстана»
не прислали к перрону другого —
 чужого — состава,
что сожмёт моё сердце сильнее,
 чем затянутый пояс...
О, мой поезд! Мой поезд!..

Вот идёт он к перрону.
Теперь не сойти бы с ума!
За спиною — столица сама.
Выше — космоса тьма.
Впереди — зебры пёстрых шлагбаумов,
долы с лесами...
Наконец-то мой поезд пришёл!
Мой состав — до Казани.

ЧЛОВЕК

Я – часть Вселенной. Малый островок
в огромном мире, словно в бурном море,
где хлещут волны вспененных тревог
и гулкий ветер тянет песню горя.

Я невелик, но всё же — материк,
открытый настежь и ветрам, и взорам.
Копна волос, что мой венчает лик —
то буйный лес, шумящий над угором.

Бьёт в берега мне вечность-океан,
кипят во мне горячей магмой страсти.
Моя душа — клокочет, как вулкан,
и солнце светит с неба мне на счастье.

Течёт рекой история моя,
что в просторечье — памятью зовётся.
Листаю жизнь, как книгу бытия —
всё меньше в ней страничек остаётся.

Втекая в мозг, река вещает мне,
вскрывая древних бед первопричины,
о том, как земли корчились в огне
и погружались в водные пучины.

В те дни земля не знала, что она
землём зовётся, а была — лишь твердью.
Зато теперь она нам всем дана,
как от отцов наследство —
для бессмертья.

Я — островок с названием: «Человек».
Исчезну я — всё станет в мире пресно.
Но верю я: какой бы ни был век —
он не столкнёт меня в морскую бездну...

ПЕРВАЯ ИВА

Мне говорят: «Работай — и сполна
познаешь вкус труда и соучастья.
Работа всем на радость нам дана...»
А я хочу не радости, а — счастья!

Мне говорят: «Копай — и через год
ты здесь увидишь выросшую иву».
Ну, увидал. Ну, вижу, что растёт...
Но что мне — ива?
Мне бы жить счастливо!

Мне говорят: «Отлично всё идёт!
Не стой на месте. Вот тебе участок —
разбей тут сад, сажай здесь огород...»
Но что мне — огород? Я жажду счастья!

Мне говорят: «Ты знаешь, что к чему,
и над судьбой имеешь столько власти!
Не поскупись — учи других уму...»
И я — учу. А сам молю — о счастье.

Я дал лопаты в руки молодым:
«Копайте ямы, чтоб расти тут ивам».
Они копают. А в умах, как дым,
плывут мечты —
о том, как стать счастливым.

И, кончив труд, сошлись ребята в круг:
«В чём счастья суть?
Ведь вы постигли, верно?»
И не нашёл я слов. Лишь вспомнил вдруг —
листву той ивы, что сажал я первой...

ПРО СЧАСТЬЕ

Взобравшись на горную кручу,
я выдохнул стих,
в котором сказал о своём
понимании счастья.
Ведь именно там, рядом с небом,
я нынче постиг
родство всех людей,
что открылось душе в одночасье.

Как стали близки мне все те,
кто живёт под горой!
Какими родными вдруг стали
все дальние земли!
Вернулась любовь, объявив
все обиды игрой,
и с этой поры лишь влеченью
сердечному внемля.

Окутала плечи и мысли мои тишина.
Смотрю с высоты —
всюду мирные пахари пашут.
Затихли сраженья.
Осталась в минувшем война.
Одни лишь мальчишки
мечами картонными машут.

Лишь только они,
жаждой завтрашней славы горя,
ведут оловянных солдат
из бумажных коробок.

Весенние лужи — не лужи для них, а моря,
где добрых и злых
корабли утопают бок о бок.

А звёзды зажгутся —
и сразу сплошной хоровод
потянется, руки сцепив,
через все континенты,
со смехом вбирая в себя
за народом народ,
встречая входящих улыбкой,
даря комплименты...

Стою на вершине. Клубятся вокруг облака.
В закатном сиянии

льдистые пики лучатся.
Внизу не поймёшь,
как Земля эта сердцу близка —
о том я и выдохнул стих,
в нём поведав о счастье.

КАРТИНА

Я займусь волшебством, не обманом,
при посредстве приёмов простых:
белый лист — станет белым туманом,
и дождём — сетка линий густых.

А потом я тебя нарисую
бледным контуром, видным чуть-чуть,
как ко мне ты спешишь через струи,
раздвигая туманную муть.

Нарисую глаза твои, если
мне удастся тот цвет подыскать,
чтобы в нём на бумаге воскресли
и тревога твоя, и тоска.

Чтоб несла ты слезинки вдоль улиц,
а я встретил тебя на ветру.
И чтоб ты мне — сквозь дождь улыбнулась,
когда я тебе слёзы утру...

СУТЬ БЫТИЯ

Всё стало за ночь вдруг иным в природе:
неясно — лето ль, осень на земле?
Не слышно птиц в саду и огороде,
не светят звёзды, спрятавшись во мгле.

На сердце пусто, как зимой в ненастье
возле реки, где лишь ветра визжат.
Душа раскрыта, как ворота, настужь —
хоть на санях со свадьбою въезжай!..

Смерть не бывает лёгкой. Плачет лето,
струясь слезами из небесных дыр.
Сегодня осень празднует победу —
и светят щёки яблоками в мир.

Как будто хрупкой, призрачной межою,
из лета в осень пробираюсь я.
И понимаю чуткою душою
суть бытия...

ГОРОДСКОЙ ПЕЙЗАЖ

Труба заводская дымит до небес,
закрыв дымом поле, и речку, и лес.
Но в городе тоже деревья растут,
корнями-когтями о камни скребут.

Здесь красные падают с неба снега.
Весна здесь, как осень, скупа и строга.
Лишь в лавках цветочных среди тесноты
здесь можно увидеть живые цветы.

Здесь в розах без пчёл погибает нектар.
Здесь родина яблок и вишен — базар.
Плакучие ивы гурьбою калек
склонились над мутными водами рек...

Но сколько природу не мучь — всё жива!
Растёт в стороне от асфальта трава.
Поют соловьи у берёз на плечах.
И кружится бабочка в солнца лучах.

* * *

Ну почему всё в жизни вкривь и вкось?
Я жду добра, а мир клокочет в злобе.
В душе — огонь, а за окном — мороз,
вокруг — жара, а я трясусь в ознобе.

Я собираюсь в путь, в душе моля,
чтоб день был ясен и легка дорога.
А посмотрю — вокруг лежат поля,
словно спасенье, дождь прося у Бога.

Стирая пот, что льётся мне в глаза,
я не ропщу, что ветер с ног сбивает –
ведь он собою чьи-то паруса
в далёком море туго надувает.

Когда есть солнце – для чего луна?
Пусть день бы цвёл всегда неутомлённым.
Но понимаю, что и ночь нужна –
где без неё найти приют влюблённым?

Я злюсь на дождь, что мочит огород,
я злюсь на солнце, на луну и ветер.
Ну почему же всё наоборот
из года в год идёт на этом свете?

Я жажду счастье встретить. Только где
оно бредёт неуловимым эхом?..
И вновь спешу к кому-то, кто в беде,
и вновь чужим рукоплещу успехам...

ОДИН МОЙ ДЕНЬ

Кто враг, а кто друг мне –
уже не могу разобрать,
закрывшись от мира поэзией,
как гермошлёмом.
Седым стариком я ложусь ночью спать
на кровать,
а утром опять поднимаюсь
юнцом несмышлёным.

Из слов выбираю лишь те,
что собой хороши.
(Так летом девочки цветы
собирают в букеты.)
На небо смотрю,
чтоб омыть им просторы души,
и снова глаза стали чистого синего цвета.

Чтоб руки мои
не казались вам слишком грубы,
когда пожимать вам ладони
в приветствии стану,
иду я к лесному ручью –
чтобы с рук и с судьбы
он смыл мне всю чёрствость,
её унося к океану.

И каждое утро я, будто впервой, за порог
иду, как ребёнок, шагая
в мирдушный и зыбкий.

И мир, что обычно
предельно серьёзен и строг,
глядит на меня сквозь рассвет
с добродушной улыбкой.

И доли с лесами сулят мне
любовь и успех,
и верят мне без доказательств,
а так, между прочим.
Улыбчивы люди. И души открыты у всех.
И нет разделения их –
на друзей и на прочих.

Иду, пролагая дорогу сквозь дни и дела,
к далёкому счастью,
что спит медвежонком в берлоге.
Душа полна солнца,
и нет в ней ни капельки зла
на тех, кто меня обогнал,
оттолкнув по дороге.

Но вдруг застилает мне чистое небо гроза,
скрывая мечту мою ливнем плотней,
чем туманом.
Качается роща,
гремят надо мной небеса –
как будто я в драку вступил
со вселенским обманом.

Я падаю в грязь, поднимаюсь и снова иду,
опять спотыкаюсь и падаю снова и снова.
Вот кто-то лукаво меня вовлекает в беду,
шепча в моё ухо обманное, лживое слово.

Вот кто-то кричит моё имя
и машет сквозь мрак
пылающим факелом,
чтобы не сбился во тьме я.

А кто-то кричит:
«Не ходи туда, слышишь, дурак?!» –
и зло от добра
отличить каждый раз всё труднее.

От них отмахнувшись,
я мчусь через тёмный простор,
боясь опоздать до того заповедного часа,
когда горизонт запирают,
как дверь, на замок,
чтоб ночь не украла из снов наших
вести о счастье.

И я успеваю —
лишь начали дверь закрывать!
Я пот отираю устало с лица полотенцем...
Седым стариком я сегодня ложусь
на кровать.
А утром опять поднимусь
несмышлёным младенцем.

ПУТЬ

О, сколько раз я поезд провожал!
Я, как мальчишка, вслед за ним бежал.
Но ни один не возвратился вновь,
чтоб привезти назад мою любовь.

Умчал однажды поезд и тебя,
мои мечты о счастье погребя,
и я один остался вдалеке,
как тот вагон, забытый в тупике.

Ты написала: «В мире есть цветы,
которых дома не увидишь ты.
Есть острова, где лето — весь сезон,
примчись сюда и будь, как Робинзон».

Я сжал тоску сердечную в кулак,
купил билет, оставив лишь пятак.
И полетел состав через страну,
чтобы загладить тем свою вину.

Я у окна стою — и сквозь окно
мне видеть мир мелькающий дано.
Порой цветок замечу в стороне...
И вновь мираж дрожит в моём окне.

ОДА ВРАГУ

Если за ночь в душе моей, как на лугу,
вдруг погибнет цветок бестелесный,
то к утру — не любимому мною врагу
уже будет об этом известно.

Как бы я ни хотел — от него мне не скрыть
все прорехи в судьбе и помехи.
Но не хочет и глаз он порою открыть,
чтоб мои обнаружить успехи.

Он чернеет лицом, как от тысячи бед,
если видит, что я улыбаюсь.
Но руки не подаст и не скажет совет,
если я в безысходности маюсь.

Он со мной и культурен, и вежлив, и — да! —
не похож на нахала и хама.
Он мне в сердце глядит, но при том — никогда
не посмотрит в глаза мои прямо.

Он мне нужен. Его сам Аллах мне послал!
Я смотрю на него — и меняюсь.
Если б он вдруг исчез, то откуда б я знал,
где я прав, ну а где — ошибаюсь?..

ТЕАТР

*Карусель всё вертится и вертится...
Карусель построена на хитрости...
Мустай Карим.*

Вращаются миры и люди,
зима — становится весной.
А я всё жду, что дальше будет
под этой высью подвесной?

Вращаются дворцы, арены,
успех спешит беду сменить.
И мои мысли — постепенно —
вытягиваются стройно в нить.

Но лишь на сцену выхожу я —
лицо бледнеет, точно мел,
как будто я судьбу чужую,
словно чужой пиджак надел...

Входя в театр, любой из грешных
несёт свет счастья на лице,
как будто он груз дел кромешных
навек оставил на крыльце.

На сцене — заговор вершится,
клубится хитростей туман,
нас заставляя плакать, злиться...

О, этот сладостный обман!

ВОЛНА

Как были берега реки безгрешны!
В садах висели звонкие скворешни.
В природе — ни жестокости, ни фальши.
Так почему ж волна умчалась дальше?

Чтобы холмы высокие, как лбы,
не наблюдали ход её судьбы,
она всплеснула брызгами — и вскоре
исчезла в синем и бескрайнем море.

Дрожат у чаек слёзы на глазах.
Здесь даже звёзды вечные — в слезах!
Не виден берег, где растёт трава.
Лишь синева вокруг, лишь синева.

Там, у реки, цвели в лугах цветы,
росли деревья, травы и кусты.
Так почему ж волна спешила вдаль,
где — ничего, лишь слёзы и печаль?..

ПАМЯТНИКИ

Не уместить в себе вселенской красоты!
Просторы Родины до песни сжать не просто.
Поэт глядит на нас с гранитной высоты,
хотя при жизни — среднего был роста.

Мы — просто люди. Мы не бронза, не гранит.
Хотели б лучше быть, но выросли — такими.
Любой из нас для собеседников открыт.
Мы мудрецы порой, но чаще — простаки мы.

Но запоём мы — и во все концы страны
летят слова,
что сотням душ людских созвучны.
Пусть не гулять нам возле кратеров Луны,
зато с родной землёй вовек мы неразлучны!

Мы просто люди. И под памятником мы
частенько сходимся с друзьями
тесным кругом.
Отлиты в бронзе наши лучшие умы...
Но им встречаться не дано друг с другом.

ГОРИЗОНТ ОСЕНИ

Вот и осень золото-багровая!
Значит, шляпу доставай и зонт.
Льётся листьев грусть мягко-ковровая,
утекая вдаль за горизонт.

Чтоб последний раз лучей напиться,
пять берёзок выбежали в луг...
А с небес — кричат, прощаясь, птицы,
улетая на далёкий юг.

Ах, как душу птичий плач тревожит!
Вместе с ними плачут дол и высь.
Кажется, что сердце тоже может,
словно лист, за ветром унести.

Да и как ему не устремиться,
в небеса протягивая взгляд,
той дорогой, по которой птицы
к горизонту осенью летят?..

Перевод с татарского
Николая ПЕРЕЯСЛОВА





ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ

НА КОНЧИКЕ ПЕРА ЗАСТЫЛО ВРЕМЯ

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

1.

Пускай — нехоленая,
пускай — больная,
зато — намоленная,
родная.

2.

Сколько боли она от нас терпит —
плачет, стонет и криком кричит.
Час придёт... Никого не отвергнет,
примет всех... И, как мать, простит.

НА ПОЛЕ КУЛИКОВОМ

Правда в том, что Непрядва была,
и дружины здесь насмерть стояли,
погибали и воскресали.
И стрекочут опять до утра
на лужайке былинной цикады.
Ивы в омуте отражаются.
И небесное войско сражается,
чтоб потомки не знали неправды.

ДЕТСТВО. КРЕЩЕНИЕ

1.

По сусекам поскребу
памяти: авось, найдётся
светлое и дорогое —
от чего замрёт душа.

Напрягаюсь — только детство
выплывает... Неужели
я потом ещё полвека
прожил — нету и следа?

Что-то было же! Наверно.
Но, увы, не зацепилось
так, как солнечный воскресный
день и золотистый храм.

2.

Бабушка за руку держит.
Батюшка на шею крестик надевает:
— Ну, отныне
твой отец — Иисус Христос.

Я похваюсь, конечно,
Только — пусть не обзывает безотцовщиной.
Его-то
батьа — форменный алкаш.

Называют так в округе,
хоть дядь Гриша безобидный:
как напьётся — распекает
про матроса-кочегара.

Он и сам пообгоревший:
танк под Курском подпалили,
ранен был, но жив остался...
И Толяна вон родил.

Медный крестик на минутку
дам дружку — пускай поддержит:
может быть, мой новый папа
пожалует и его.

* * *

А в распадке — голубица,
и на мари — голубица.
Собираю, загребаю
ягодки ладошками...
Это детство снится, снится...
Тяжелеют на ресницах,
щиплют веки нестерпимо
слёзы, вновь непрошенные.

Неужели было это?
Щедро раздавало лето
пацанве послевоенной
все свои богатства
поровну — и не монеты,
а закаты и рассветы,
и надежду, что однажды
папы возвратятся.

ИВАНУШКА

Придавило в темнице,
Засыпало
Так, что не продохнуть!
Силы я соберу —
Буду сызнова
Пробивать к свету путь.
По песчинке, по камушку
Растаскаю завал.
Кто сказал, что Иванушку
Змей Горыныч сожрал?!.

ЧЕРНОБЫЛЕЦ

Соседу известно доподлинно,
что мирный атом — враньё,
поскольку любимая Родина
в Чернобыль послала его.
Теперь он кровью отхаркивает
почти уж тридцать лет,
а в общем, весёлый характером,
гутарит, мол, смерти-то нет:
врачи обещали, но, видимо,
Бог по-иному решил,
не хочет Он, чтоб небожителем
раб облучённый был —
ещё заразит ненароком
Ангелов и, может быть,
тогда, как героям убогим,
гробовые им станут платить...

А это стране накладно.

АФГАНЦЫ

Николаю Лутюку

1.

В деревенской баньке
чужой, но такой приветливой,
дышащей не то, что теплом, а жаром,
считаю на торсе мужицком отметины,
словно ширяли кинжалом.
А он, замечая взгляд мой пытливый,
говорит, опережая вопрос:
— Это Афган. Я стал там счастливым —
до своих дополз.
Пять пуль, но удачно — навывлет,
был на дуршлаг похож...

Напарившись,
он отчаянно бросается в снег —
как вывод
советских войск.
А меня пробивает дрожь.

2.

Вован Тарасов
выполняет муниципальный заказ —
отстреливает бродячих собак.

В кармане гуманный боезапас –
патроны, усыпляющие бедолаг.
Но псин бездомных не становится меньше,
как душманов в Афгане.
Бывший десантник
жалеет их по-человечьи,
но надо же зарабатывать на существование
себя, семьи
в эти времена жестокие.
Правда, он всё чаще промахивается,
потому что глаза за толстыми стёклами
очков
слезятся, дыхание сбивается,
когда померещится вдруг –
в прицеле погибший друг.

3.

— Может быть, тот, в кого я стрелял,
Омаром Хайамом бы стал,
а тот, в кого он, стал бы Пушкиным. —
Костя Воронов замолчал,
словно на миг вернувшись
туда, где памятью навсегда остался, –
в чужие горы, в чужую страну,
в непонятную для него войну:
— Был приказ — и я честно сражался.

А заслуженные медали
к пиджаку он не примеряет,
в шкатулке
с арабскою вязью на крышке
хранит.
Порою откроет, посмотрит –
и сердце опять заболит...

ВОЗВРАЩЕНИЕ

... Пошёл по берегу реки.
Чернеющие топляки
Ныряли в омуте пугающе.
Стеной стояли тальники,
Ветвями, как со злой руки,
Хлестали — явно не товарищи.

Его никто не узнавал.
Сыч потревоженный рыдал,
В чащобе схоронясь дремучей.
Кузнечики из-под сапог

Выпархивали, а сурок,
Завидев, ускакал по круче.

И только солнце, словно мать,
Вело за руку через гать,
Всё напрямки, тропой невидной.
Вот здесь, за этим бугорком...
Ещё немного... Отчий дом,
Колодец и журавль длинный.

Теперь вдоль яра повернуть!..
Но почему сдавило грудь?
Не выдохнуть рыданий даже...
Крапива вымахала в рост,
Где бегал босиком, где рос.
Остался от села погост,
Да разве он о чём расскажет...

ФРОЛ

*С таким именем
великих поэтов не бывает.
Из статьи*

Если слава есть отравка,
то безвестность, что ли, мёд?
В деревеньке захудалой
малахольный Фрол живёт.
Днём заботы по хозяйству:
куры, гуси, огород.
Вечерами — нет, не пьянство, —
вдохновение он ждёт.
Над тетрадкою склонившись,
рифмы подбирает он,
сна, спокойствия лишившись.
Да какой же к бесу сон,
если в «Знамени», районке,
напечатали стишок,
и сосед, как критик тонкий,
прогудел: « Ну, Фрол, ты — Блок!»
И не знает он, наивный,
хоть разбейся в доску тут,
что с таким крестьянским именем
стать великим не дадут.

ВИНТ

Пытаюсь вкрутиться
 в толерантное общество,
 а оно сопротивляется,
 не желает меня принимать.
 Ну и ладно! Не больно-то хочется!
 Лучше в рощице погулять.

Почки лопаются, раскрываются.
 Листья нежные. Запах пьянящий.
 Здесь хотя б на мгновение покажется:
 я не винт, человек настоящий!..
 Вот и солнышко мне улыбается.

* * *

— Что позабыл ты в храме старом?
 Что там узнаешь и узришь?
 Не лучше ли рычащий телек
 врубить и, бросив на диван
 к ненастью ноющие кости,
 смотреть, как кто-то и кого-то
 обжулил, грохнул, закопал?

— Вот-вот, там жизнь и смерть не стоят
 гроша, всё в долларах и евро.
 А здесь, на паперти, копейке
 порадуется инвалид:
 на хлебушек он наберёт,
 а повезёт — и на чекушку.
 Мне ли судить? Подам... Быть может,
 помолится и за меня.

СТАРАЯ ЦЕРКОВЬ В РЯЗАНИ

Ступеньки гранитные в небо вели,
 Теперь опускаются в недра земли.

И свет заревой об оконца,
 Как алая бабочка, бьётся.

И свечи горят. И святые глядят,
 Молчанием истины мне говорят.

ТРУДНИК

Евгению Абдулаеву

Трудник Александр
 больше ничего не желает,
 втайне радуясь,
 снег лопатой сгребает.
 Ишь, сколько нынче его намело —
 до боли в глазах бело!

Далеко-далеко мирские заботы,
 словно никогда и не было.
 Хорошо смотреть в бездонное небо,
 посветлевшее от позолоты
 куполов, которые отражаются
 в пенистых облаках.
 Приморившемуся труднику кажется,
 он сам воспаряет в мечтах
 туда, где простятся ему прегрешения.
 Опускается на колени
 и молится, как умеет, —
 и на душе теплеет.

Рассказанное выше
 едва ли можно назвать поэзией,
 как бытие Александра
 единственно верным назвать,
 но, пожалуй, ещё бесполезнее
 жизнь просто так проживать.

ПЕРО ГОГОЛЯ

На кончике пера застыло время.
 Когда-то докумекает наука,
 заставит говорить чернила — и,
 засохшие, поведают, чем жили
 герои «Мёртвых душ» в сожжённом томе,
 любил их Гоголь или презирал,
 похожи ли они на нас, узнаем —
 и удивимся или ужаснёмся.

* * *

Юрию Перминову

До зари ещё петухи
 (вот заразы!) орут на селе
 в перекличку... Пишу стихи
 немудрёные. А в синеве

солнце символом света восходит,
ветер в старом саду колобродит,
пахнут травы пьяняще. Лежу,
пчёлку слушаю: — Жу-жу-жу.

Эй, горланьте сильнее, петухи!
Жить — прекрасно! Не мнится, не кажется...
А заумные наностихи
в пыльном городе насочиняются.

* * *

«Счастливым ветер дует в паруса», —
писал когда-то отрок синеглазый.
На берегу Амура он сидел,
в тетрадке школьной рифмы подбирая.
Придумывал себе судьбу и верил,
что явью станет вымысел, когда
он повзрослеет и поэтом будет —
пусть не великим, но и не последним
в стране, где даже бабушки на лавках
стихи Асадова читают вечерами.

Сбылась мечта. Он книжек настрогал
поболее десятка. Но однажды
негаданно-нежданно той страны
не стало... А согбенные старухи
теперь всё больше говорят о ценах,
о пенсиях, которых не хватает
на хлеб насущный... Стыдно признавать
ему теперь, что посвятил он жизнь
маранию бумаги... Лучше б сеял,
пахал или хотя бы научился
чинить краны — который день на кухне
вода течёт, как вирши графомана.

* * *

Я хотел бы остаться на этой земле,
а не где-то в пространстве небесном
пребывать, потому что куда интересней
и прекрасней смотреть, как сады по весне
расцветают, чем звёзды считать — не мои
всё равно, хотя, может быть, тоже
с ними я породнюсь... Но роднее земли
ничего быть, конечно, не может.





ЛЕВ КОЖЕВНИКОВ

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО КАННИБАЛОВ

*трагикомедия
в 2-х действиях*

ДЕЙСТВУЮЩИЕ ЛИЦА:

**ДЫЛДА,
БУРЫГА,**

ЛИТА — ископаемая женщина,

СЛЕДОВАТЕЛЬ — женщина с полномочиями,

АЛЛА — современная женщина,

КИРПИЧНИКОВ — академик,

ПЕРВЫЙ ГРУЗЧИК, ВТОРОЙ ГРУЗЧИК — они же САНИТАРЫ, ПОНЯТЫЕ,
УЧАСТКОВЫЙ МИЛИЦИОНЕР.

ДЕЙСТВИЕ 1

Холостяцкая квартира. Напоминает скорее мастерскую или даже лабораторию, чем жилое помещение. Кресло возле верстака явно медицинского происхождения. На верстаке, под верстаком, на шкафах и полках рассованы многочисленные кости, бурые от времени, а также несколько черепов весьма необычной формы. На одной из стен увеличенная схема человеческого лица с изолиниями.

В прихожей хлопает дверь, входит Бурыга. В руках цветы. Наполняет вазу водой и ставит цветы на столик в гостиной. Затем повязывает передник и начинает сервировать стол. На двоих. Стол, наконец, сервирован. Бурыга нюхает цветы. Идёт за пульверизатором и опрыскивает цветы. Чтобы пахли. Берётся за телефон.

БУРЫГА. Вечер добрый. Будьте любезны, Аллу Матвеевну к телефону. Это... это из управления культуры беспокоят. Нет, ну... ну, да. Ну, я... я! Да. Я не скрываюсь. С чего вы взяли? Это...

Короткие гудки. Бурыга срывает передник, швыряет в угол. Затем, запалив сигарету, идёт в спальню и прямо в костюме плюхается на кровать...

Продолжительные звонки в дверь. Бурыга бежит открывать. По дороге отрывает цветок и пристраивает в петлицу... Двое грузчиков втаскивают деревянный контейнер размером, примерно, полтора на полтора метра.

ПЕРВЫЙ ГРУЗЧИК. Берегись!

БУРЫГА. Это что? Кому?

ВТОРОЙ ГРУЗЧИК. Права, права держи... мать твою!

БУРЫГА. Эй? Вы ничего не перепутали? Зачем... я не заказывал.

ПЕРВЫЙ ГРУЗЧИК. Вот так. Пусть здесь стоит. *(Достаёт накладную.)* Адрес твой? Новоазинская, 12\10, квартира 24, Бу-ры-гин. Ты Бурыгин?

БУРЫГА. Я. Но я не...

ВТОРОЙ ГРУЗЧИК. Ша, дядя! От алиментов хочешь слинять?

БУРЫГА. Какие алименты?

ВТОРОЙ ГРУЗЧИК. Как договаривались! Пятьсот сверху. За этажность, поял?

БУРЫГА. Во-первых, тут оплачено. А во-вторых, я ничего не заказывал и ничего не жду.

ВТОРОЙ ГРУЗЧИК. Зажать хочешь, фря интеллигентская?..

ПЕРВЫЙ ГРУЗЧИК. Погоди-погоди! А этот где, бородатый?

ВТОРОЙ ГРУЗЧИК. Очную ставку... Это мы час!

Входит Дылда. За спиной у него увесистый рюкзак, в руках по саквояжу.

БУРЫГА. Дылда... Ты?!

ДЫЛДА. Он самый! Ха-ха! А растолстел-то... Растолстел! *(Душит в объятиях.)*

БУРЫГА. Дай... дай вздохнуть.

ДЫЛДА. Люди, дорогуша, пухнут либо с голодухи, либо от переедания. А ты, а?... Не в службу, а в дружбу... Дай этим представителям отечественного стервиза полштуки. На чай. Я, понимаешь ли, банкрот. Полный. Христарадничаю аж с самого Магадана.

БУРЫГА. А... прошу.

Отсчитывает пять сотенных бумажек, вручает Первому грузчику. Второй грузчик незаметно «уводит» со стола бутылку шампанского, прячет за пазуху.

ПЕРВЫЙ ГРУЗЧИК. Другое дело. А то...

ДЫЛДА. Ну, всё, всё, господа! До свидания.

Грузчики уходят.

ДЫЛДА. Ба! Да ты вылитый жених! Только не говори, что весь этот парад ради нашей с тобой встречи. *(Садится за стол и начинает уплетать всё подряд.)* Извини, просто умираю от голода.

БУРЫГА. Некоторым образом я, действительно, жених.

ДЫЛДА. Ну да? Ты?!

БУРЫГА. А что? Собирался сделать предложение. Как раз сегодня.

ДЫЛДА. Чтобы выпить стакан воды, необязательно рыть колодец.

БУРЫГА. Пшёл к дьяволу! На эту тему я не шучу.

ДЫЛДА. Я тоже. Кто она?

БУРЫГА. Актриса.

ДЫЛДА. Это в каком смысле?

БУРЫГА. В прямом.

ДЫЛДА. Тем более. Жениться ты не будешь.

БУРЫГА. Это кто же, позволю узнать, может мне запретить?

ДЫЛДА. Ты сам. Когда узнаешь, что находится в контейнере, на который ты сел.

БУРЫГА. А-а... *(Вяло машет рукой.)* С наукой для меня покончено. Я просто врач. И неплохой, смею уверить. Могу даже поставить клистир. Хочешь?

ДЫЛДА. Я понял, почему ты начал толстеть. Из-за отсутствия перспективы. Полная безнадёга.

БУРЫГА. Хм?..

ДЫЛДА. Но я тебя спасу. Вот здесь... *(Хлопает по контейнеру.)*

БУРЫГА. Я не хочу знать, что у тебя здесь. Понимаешь? Не хочу!

ДЫЛДА. Ну да? И что же ты хочешь?

БУРЫГА. Жениться! *(Как заклинание.)* Я хочу жениться... Хочу жениться... Жениться хочу я... Жениться...

ДЫЛДА. Вот здесь! Здесь — сенсация! Сам Шлиман, Дюбуа, Бунак, великий Дарвин перевернулись бы в гробу, узнав об этой уникальной находке. Все будущие поколения антропологов мира будут вести своё летоисчисление от этого ящика. Как от рождения Христова. Последует сокрушительная лавина пар-радоксальнейших научных открытий, каждое из которых по своему значению будет равно укрощению огня. С этого ящика, дружище, начнётся новый этап в познании человечеством самого себя!

БУРЫГА. Не начнётся... Этап. Науки, увы, нет. Есть кормушка для проходимцев, это в лучшем случае.

ДЫЛДА. Так было всегда, не только в науке. Вначале первопроходцы, за ними проходимцы. Но наука, тем не менее, существует. И сейчас ты это увидишь.

БУРЫГА. Я пас. Начинайте новый этап без меня.

ДЫЛДА *(шарит в ящиках)* Два года назад я, помнится, сунул сюда.

Достаёт гвоздодёр, клещи и начинает вскрывать контейнер. Снимает крышку. Откидывает боковые стенки. Удаляет теплоизоляцию — поролон, куски минваты, бумагу. Остаётся серого цвета монолит.

ДЫЛДА. Ну-с... прошу!

БУРЫГА. Ну и что? Обычный кусок смёрзшегося грунта. Мерзлота.

ДЫЛДА. Вечная мерзлота. Возраст — пятьдесят тысяч лет. Период последнего оледенения.

БУРЫГА. Допустим, верхний палеолит. Ну и что? Этого добра у нас от Мурманска до самого Анадыря.

ДЫЛДА. Ты рассуждаешь, как жених, господин бывший учёный. Этот! Именно этот кусок мерзлоты я вычислил на пространстве от Мурманска до Анадыря. По нашей с тобой методике. Вот он! Перед тобой. А ты слеп, как дождевой червь!

Хватает кусок мела и на торце монолита очерчивает круг размером в столовую тарелку.

ДЫЛДА. Ну?!

БУРЫГА. Фью-уу! Что это?.. Отпечаток стопы?

ДЫЛДА. Не-а.

БУРЫГА. Как же нет? Ну? Окаменевший слепок...

ДЫЛДА. Стопы?

БУРЫГА. Постой, постой. Неужели... *(Вытирает лоб платком.)* Этого не... не может быть!

Ползает на коленях вокруг монолита, ощупывая и оглядывая каждый дециметр.

ДЫЛДА. А?.. Ну?.. Что скажешь?

БУРЫГА. Анализы брал?

ДЫЛДА. Полный порядок.

БУРЫГА. Ступня! Потрясающе... Даже папиллярный рисунок сохранился.

ДЫЛДА. Формалин есть?

БУРЫГА. Сейчас...

ДЫЛДА. И ватный тампон.

БУРЫГА. Откуда грунт?

ДЫЛДА. Карьер на Подкаменной Тунгуске. Из-под ковша... едва-едва. Ещё б се-кунда, и...

БУРЫГА. Строители?

ДЫЛДА. Не-а. Геологи. Вертикальный разрез...

Пока Бурыга возится с препаратами, Дылда организует дополнительное освещение. Приносит настольную лампу, у которой вместо абажура — череп, вместо стояка — мосол, похожий на берцовую кость. И в основании крестовина, тоже из костей. Свет из глазниц черепа выхватывает на монолите яркое пятно, обведённое мелом.

БУРЫГА. Всё... готово. Держи.

Приносят реактивы, вату, кисточки, скребки. Бурыга кистью обрабатывает место.

БУРЫГА. Руки дрожат. Черт!

ДЫЛДА. Не трясись... Смой.

Наконец оба поднимаются с колен, отходят на расстояние. На сером фоне глыбы ярко выступает желтоватая подошва человеческой ноги.

БУРЫГА. Кожный покров в целости и сохранности. Это спустя пятьдесят тысяч лет? Гм... Даже кость минерализуется.

ДЫЛДА. Мерзлота, мой друг. Ничего не попишешь. *(Молоточком ударяет по подошве. Звук, как по камню.)* Она замёрзла, не успев разложиться.

БУРЫГА. Ты сказал... она?

ДЫЛДА. Ну... да. Хотя не настаиваю.

БУРЫГА *(нядью прикидывает стопу)* Примерно тридцать шестой размер. Гм?

ДЫЛДА. Думаешь, подросток?

БУРЫГА. Нет. В физическом отношении стопа успела сформироваться. Возраст, я полагаю, около двадцати... двадцати двух лет. *(Уводит глаза.)* Ты, извини, голубчик, но... как бы это сказать? Словом...

ДЫЛДА. Давай, давай. Ну? Я тебя насквозь вижу, дармоеда!

БУРЫГА. Я понимаю, дружище... наша методика, расчёты. Потом эти два года по Заполярью. И никакой финансовой помощи. С твоей стороны это... подвиг, конечно. Но ты... как бы тебе сказать?

ДЫЛДА. Свихнулся?

БУРЫГА. Ну что ты! Что ты!

Обходит приятеля, внимательно заглядывает в глаза. Щёлкает пальцами перед носом, чтобы привлечь внимание.

БУРЫГА. Ты вполне даже здоров. Вполне. Рефлексы в норме.

ДЫЛДА. Счас как вмажу! *(Хватает Бурыгу за грудки.)*

БУРЫГА. Успокойся, я прошу. Ну?.. Тебе необходимо, во-первых, хорошо отдохнуть. Ты понимаешь? У тебя, голубчик, есть изумительная черта в характере — умение подчинять себя одной цели. Одной идее... Моноидее. Своего рода навязчивое состояние, что ли?

ДЫЛДА. Что ты хочешь сказать? Прямо... Ну?!

БУРЫГА. Во всяком случае *(кивает на глыбу)*, наукой тут не пахнет.

ДЫЛДА. Угу. А чем пахнет, по-твоему?

БУРЫГА. Скорее, я бы сказал, уголовщиной. Самое заурядное убийство. Надо полагать, с изнасилованием. И произошло это не пятьдесят тысяч лет назад, а сравнительно недавно.

ДЫЛДА. По-твоему, я не в состоянии отличить монолит от куска смёрзшейся грязи.

БУРЫГА. Ну-у...

ДЫЛДА. Ладно. Пусть я дурак, свихнулся. Но анализы? Лабораторные анализы... Вот... *(Вытаскивает из сумки бумаги.)* Красноярск! Двенадцать подписей! Это что, тоже навязчивое состояние?

БУРЫГА. Количество подписей, к сожалению, первый признак безответственности.

ДЫЛДА. По-твоему, я привёз сюда... могилу?

БУРЫГА. Тайное захоронение, так будет точнее. Тут нужен криминалист, а не антрополог.

ДЫЛДА. А ну... разуйся!

БУРЫГА. Как? Ты что?.. Зачем?

ДЫЛДА. Снимай туфли. Живо!

БУРЫГА. Я... сейчас. Сейчас. Только не волнуйся... *(Развязывает шнурок, стаскивает один ботинок.)*

ДЫЛДА. Так, довольно. Снимай носок.

БУРЫГА. Носок?

ДЫЛДА. Носок! Носок! Шевелись... ну?!

БУРЫГА. Пожалуйста... без рук. Я прошу.

ДЫЛДА. А сейчас считай. Пальцы считай. До пяти умеешь?

БУРЫГА. Что за шутки...

ДЫЛДА. А теперь иди... иди сюда. Ну? *(Подводит Бурьгу к глыбе с желтеющей из неё ступнёй.)* Считай!

БУРЫГА. Пожалуйста. Раз, два, три, четыре... Что-о? *(Скороговоркой.)* Раз, два, три, четыре. *(Медленно.)* Четыре, три... два... один! *(Вид у Бурьги потрясённый.)* Четырехпалая.

ДЫЛДА. Да, это четырёхпалая стопа.

БУРЫГА. Брр! *(Трясёт головой.)* Это не сон?.. Я не сплю? Ущипни... *(Дылда с вывертом щиплет.)* А-а-а!!!

Входит Алла. Бурьга и Дылда её не замечают.

ДЫЛДА. Надеюсь, тебе не надо объяснять, что такая стопа даёт коррелятивный эффект на кисть и, безусловно, сюда? *(Стучит пальцем по лбу.)*

АЛЛА. Вечер добрый! Бурьжка, лапочка... ради бога, прости. Мне пришлось задержаться.

БУРЫГА. А? Да, да... разумеется.

АЛЛА. О! У тебя гости?

ДЫЛДА. Гость, мадам.

АЛЛА. Алла.

ДЫЛДА. Очень приятно. Владимир.

Алла оглядывает Бурьгу. Одна нога у него босая, галстук сбит на сторону, волосы взъерошены. Из кармана пиджака выглядывает носок.

АЛЛА. Боже, что за вид? И дверь... настежь. Что-то случилось?

БУРЫГА. А... да. Случилось. *(Дылде.)* Через несколько часов глыба начнёт оплывать.

ДЫЛДА. Кубометра два грунта... Не меньше.

АЛЛА. Э-эй! *(Стучит Бурьгу по спине.)* Я пришла. Ты что, не рад?

БУРЫГА. Ми... минуточку. *(Отводит Дылду в сторону, мнётся.)*

ДЫЛДА. Ну? Что ещё?

БУРЫГА. Только пойми меня правильно. Обработать... качественно обработать останки, чтобы они сохранились на длительное время, это... в общем, необходимы условия.

ДЫЛДА. Лабораторные, хочешь сказать?

БУРЫГА. Ну, да. В домашних, я полагаю...

ДЫЛДА. Понятно! И где такую лабораторию ты собираешься мне предоставить? Может, у Кирпича? В его институте?

БУРЫГА. Дело даже не в качестве обработки, в конце концов...

ДЫЛДА. Вот именно! Поэтому всю обработку — препараты, инструментарий, технология — возмёшь на себя, понял?

БУРЫГА. Почему ты на меня орёшь?

ДЫЛДА. Потому что вижу тебя насквозь, господин бывший учёный!

БУРЫГА. Погоди, я...

ДЫЛДА. Хотя... можешь отказаться. Найду себе другого напарника.

БУРЫГА. Да ты... ты в своём уме?!

ДЫЛДА. Я всё сказал. Между прочим, дама скучает.

АЛЛА. Между прочим, насколько я догадываюсь, меня пригласили, чтобы сделать мне предложение? Я, впрочем, не настаиваю. Кстати... что это?

ДЫЛДА. Это? Это сенсация.

АЛЛА. О! Ни больше, ни меньше? *(Обходит монолит.)*

БУРЫГА. Всё равно Кирпича на телеге не объедешь. Э... куда ни шло. *(Носком из кармана оттирает себе лоб.)*

Алла замечает обведённый мелом круг и вдруг в ужасе отшатывается. Истеричный визг, и она без чувств падает. Дылда едва успевает подхватить.

ДЫЛДА. О, черт!

БУРЫГА. Алла?! *(Подымает веко.)* Обморок.

ДЫЛДА. Куда её?.. Впрочем, это твои проблемы.

Сваливает бесчувственное тело Бурыве на руки. Бурыве оно явно не по силам. На подгибающихся ногах он вваливается в спальню и падает с ношей на кровать. Дылда выключает свет, закрывает дверь.

ДЫЛДА. Жених... хм!

Опускается в кресло, блаженно потягивается и роняет голову на грудь. Спит... Бурыва нащупывает ночник, включает. Делает попытку подняться. Алла за галстук тянет его на себя. Свет гаснет.

Квартира. В кресле спит Дылда. Из-под пледа торчат ноги в дырявых носках. Стопанные, грязные туфли возле кресла. На заднем плане два сдвинутых стола. На столах под плотной, непроницаемой тканью угадывается некое тело, размером и формой напоминающее человеческое. Тут же на полу два ведра с оттаявшим грунтом, совок в ведре. Фотоаппарат на треноге с направленным на столы объективом.

Давно и настойчиво звонит телефон. Входит Бурыва с двумя тяжёлыми сумками. Снимает трубку.

БУРЫГА. Да, слушаю... Ну, что ты, что ты? Алла? Аллочка... ну, разумеется. Люблю! Да, очень. Нет... на работе меня нет. Взял отпуск... Нет, я не один. Дылда... то есть, Владимир. Но он спит, да... Что значит, опять? Не опять спит, он всё ещё спит... Да, уже три дня. Ну и что? Значит, не спал месяц, минимум. Натура такая... Конечно, ненормальный. Он гений... Да-да, этот самый. Наше национальное достояние... Нет, прописки нет. И квартиры... Ну? Будет жить у меня. Пока... Ну, что ты, что ты?! О-о... *(Опускает трубку, в которой что-то жужжит и клоочет. Потом снова подносит к уху.)* Хорошо, понял. Ну... если необходимо? Буду рад... Жду.

Бросает трубку и принимается за работу. Выгружает из сумок склянки, приборы, инструмент. Выносит ведра, появляется назад с пустыми. Возится с фотоаппаратом. Затем откидывает ткань... Теперь можно видеть, что стопы две. Вспышка магния. Скребок удаляет с находки оттаявшую грязь, стряхивает в ведро. Затем пластырем крепит на каждой стопе специальные датчики, соединённые проводами с эхографом. Включает шнур эхографа в электророзетку. Направляется в ванную комнату. Слышен шум воды... Из ванной Бурыва появляется с полотенцем в руках, останавливается перед эхографом. Внезапно лицо у него вытягивается, полотенце валится на пол... Стрелку эхографа

зашкалило на верхней отметке. Бурьга выдёргивает шнур из розетки — стрелка на нуле. Снова включает — стрелка прыгает. Бурьга кулаком бьёт по эхографу. Стрелка на месте.

БУРЫГА. Не... не может быть. Бред какой-то. *(Ухом прикладывается к тому месту, где должна быть грудь.)* Бред сивой кобылы. Или я...

Решительными шагами направляется к Дылде. Расталкивает.

БУРЫГА. Ну? Ну, да вставай же, чёрт! Вставай... Ты! Эй!

Дылда мычит, но не просыпается. Бурьга хлопает его по щекам.

БУРЫГА. Подъем! Подъем! Вста-ать!!!

ДЫЛДА. Пшел... вон. *(Ногой лягает Бурьгу, укрывается с головой.)*

БУРЫГА. Ах, так! Погоди же...

Отыскивает на столе склянку и обильно поливает её содержимым ватный тампон. Гадливо морщась и держа руку на отлёте, засовывает тампон Дылде под плед, к носу. Сам отбегает в сторону... Дылда катапультируется из кресла.

ДЫЛДА. Брр! *(Трясёт головой.)* Ну, что?! Что стряслось?! *(Швыряет скомканным пледом в Бурьгу.)* Апокалипсис? Потоп, может?!

БУРЫГА. Стряслось, Володичка... голубчик. Стряслось.

ДЫЛДА. Ну да?

БУРЫГА. Смотри. Вот, зашкаливает... Камень, по сути *(щёлкает молотком по столу)*, а она... *(Выдёргивает из сети шнур, снова втыкает.)* Видишь? А? Видишь?

ДЫЛДА. Погоди ты, не мельтеши. *(Осматривает эхограф.)* Это что за хреновина? Актотраф... ну.

БУРЫГА. Это...

ДЫЛДА. Для диагностики беременных. Зачем?

БУРЫГА. Ну да, да. Но...

ДЫЛДА. Кой чёрт? Ты хочешь сказать, она... того? Беременна?

БУРЫГА. Видишь ли, этот актотраф в своё время я...

ДЫЛДА *(читает)* Мед...физ... прибор. Ха! Ну, ты даёшь, жених. Это же «Медфиз-прибор»! Стопроцентно гарантированный брак. Выкидыш отечественного приборостроения. Тоже... нашёл чему верить.

БУРЫГА. Ты дашь мне сказать, в конце-то концов!

ДЫЛДА. Изволь.

БУРЫГА. Да, это актотраф. Для диагностики беременности. Но! В своё время, я работал тогда в реанимации, я его реконструировал. В эхограф. Летальный исход, летаргия, шоки, анабиоз, сердечно-сосудистые. То есть, жив ещё? Или всё, уже мёртв. Мгновенный диагноз. Безошибочно. Я пытался даже оформить патент на изобретение.

ДЫЛДА. Оформил?

БУРЫГА. Что? А... да. Заявление об уходе.

ДЫЛДА *(вдруг)* Фью-у! *(Даже подскакивает, когда смысл сказанного доходит до него вполне.)* Ну да?!

БУРЫГА. Да! Да! Я же говорю!

Дылда дёргает вилку из электророзетки. Припадает ухом к груди. Смотрит на шкалу...

ДЫЛДА. А не врёшь?

БУРЫГА. Да ты... да я... Что бы я...

ДЫЛДА. Ладно. Верю. Ты же у нас того... *(Крутит пальцем возле виска.)* С техническим уклоном.

БУРЫГА. А-а... что бы ты без меня делал?

ДЫЛДА. Так. Если верить этому агрегату, она не мертва. Но и ... назвать живой, хм? Язык не поворачивается.

БУРЫГА. Эхограф не врёт.

ДЫЛДА. Угу. А что, если... Ну, конечно! Мягкие ткани начали оттаивать, и, естественно, вслед за тем в них начался процесс разложения. Твой агрегат его нам фиксирует. А?

БУРЫГА. Эхограф фиксирует электрические импульсы, даже самые слабые, только в живых тканях. На трупы он не реагирует.

ДЫЛДА (*ехидно*) Значит, живая?

Оба молчат.

ДЫЛДА (*сам с собой*) Согласен... почему бы и нет... Хотя? Хм... ну, да. Да. (*Круто поворачивается к Бурьге.*) Что за фантазия... чего ради ты подключил к пяткам свой эхограф?

БУРЫГА (*не сразу*) Слишком много невероятного. Цепь! И конца я пока не чувствую.

ДЫЛДА. Резонно. Так вот... был у меня эпизод. В прошлом сезоне мы заложили около десятка шурфов. Это в районе Колымы, для пробы. Ставят обычно по два человека на забой. Один — в яме, с кайлом. Другой — наверху. Поднимает грунт и сбрасывает. В отвал. Дело уже к обеду, вытягиваю я, значит, очередное ведро наверх. И вдруг вижу — в куске породы, грунт мёрзлый, вроде бы как ящерица. Хвост и лапка... Остальное в земле. Тритон. Ну, отложил в сторону... Показал. Так вот, один урка... шутник, пока я грел воду, то да сё, картошку чищу, сунул этот кусок мне в ведро. С горячей водой. Возвращаюсь к костру, в ведре плавает мой тритон. Живой, понимаешь? Пытается выскочить.

БУРЫГА. Оттаял?

ДЫЛДА. Живые консервы. Пятьдесят тысяч лет в мерзлоте. А?

БУРЫГА. Ты хочешь сказать, что она и этот... тритон...

ДЫЛДА. Во всяком случае, прецедент есть.

БУРЫГА. Нет! Ни в коем разе.

ДЫЛДА. Позволь узнать, почему?

БУРЫГА. Это не простейший организм. Не тритон. Человекоподобное существо. Это, во-первых.

ДЫЛДА. А во-вторых?

БУРЫГА. Во-вторых... Мягкие ткани в горячей воде расплзутся. Как гнилая картофелина.

ДЫЛДА. Но ты утверждаешь — она живая.

БУРЫГА. А если нет? Но, допустим... Цепь не иссякла. Курьёзы продолжаются. Допустим даже, она оттаяла. Как тот тритон. Но ты представь, как изменилась среда обитания за пятьдесят тысяч лет! Воздух, вода инфицированы. Кислотные дожди, уровень радиации, атмосферное давление, температура... Наша иммунная система к этому приспособилась. А она?

ДЫЛДА. Что ты предлагаешь?

БУРЫГА. Нужны стерильные условия.

ДЫЛДА (*свирепея*) Лабораторные?

БУРЫГА. Да. С барокамерой... Концентрация кислорода, давление, влажность воздуха — всё в оптимальном режиме.

ДЫЛДА. Так. Значит, снова Кирпичников?

БУРЫГА. Ну, не знаю. Другого выхода я не вижу.

ДЫЛДА (*рычит*) Если ты ещё вякнешь хоть полслова за Кирпича... Я размажу тебя по стене!

Встряхивает Бурьгу за грудки, толкает в кресло. Затем идёт в ванную комнату.

БУРЫГА. Плевать я хотел на Кирпича! Дело загубишь... дурило!

Из ванной доносится шум воды, какие-то перемещения. Выходит Дылда, решительно направляется к столам. Пытается обхватить негнущееся «тело», поднять.

ДЫЛДА. А ну, помоги... ты!

Бурыга не шевелится. Дылда за руку выдёргивает его из кресла, ставит к «ногам». Отрывает от пяток датчики.

ДЫЛДА. Взяли... хоп! Сзади держись, не забегай. Так...

БУРЫГА. Чёрт... она что, свинцовая? Руки обрывает.

Скрываются в ванной. Возня... Шум воды. Голоса. Наконец, появляется Бурыга, лицо перемазано. За ним в клубах пара выходит Дылда. В руках кусок ткани, которым было укрыто «тело».

ДЫЛДА. Врубил душ. Градусов под семьдесят.

БУРЫГА. Сваришь.

ДЫЛДА. Не-а. Парная.

БУРЫГА (*угрюмо*) Никогда бы не подумал, что у меня в ванной будет мыться неандерталец.

ДЫЛДА. Ну-ну. Хватит дуться. (*Обнимает Бурыгу.*) Кстати, не пора ли перекусить? У меня ощущение, будто я не ел дня три, минимум.

БУРЫГА. Хы!

ДЫЛДА (*открывает холодильник*) Фью-уу! Шаром покати. Не понимаю, как при этом ты умудряешься отращивать живот?

БУРЫГА. Ты куда?

ДЫЛДА. Я должен что-то срочно сожрать. Иначе хана. А тебе... тебе придётся подежурить. (*Уходит.*)

Бурыга вынимает из ящика стола портмоне, достаёт деньги. Возвращается Дылда, молча забирает купюру. Уходит. Бурыга стаскивает с себя свитер, майку и идёт на кухню, умываться. Звонок в дверь.

БУРЫГА. Ну, что ещё?

Входит Алла.

АЛЛА. Здравствуй, толстячок. (*Подставляет щеку.*) Мм?

БУРЫГА. Я в таком виде... Пардон! Я сейчас...

АЛЛА. Ну же? Ну?!

Бурыга неловко чмокает её в щёку.

АЛЛА. А где этот, твой... гений?

БУРЫГА. Он только что... Вы разве?..

АЛЛА. Ах, это он? В такой жуткой панаме... И бородища! Ау! Ты где?

БУРЫГА (*с кухни*) Я счас... иду.

АЛЛА. Что с тобой? Ты не рад?

БУРЫГА. Что ты? Что ты?

АЛЛА. Ты перестал звонить совершенно. На мои звонки не отвечаешь.

БУРЫГА. Я занят... в бегах. В общем...

АЛЛА. В общем, у тебя появилась женщина.

БУРЫГА. О-о!

АЛЛА. А что я должна ещё думать? Ещё недавно ты клялся мне в любви. На коленях. Звал замуж. Что происходит?

БУРЫГА. Ну, прости. Прости, лапочка. Я, действительно (*целует Аллу*), зашиваюсь.

АЛЛА. Терпеть не могу... (*между объятиями и поцелуями*) когда меня (*чмок-чмок*) водят за нос. О-о... (*чмок-чмок*) Бурыжка, ты мавр. Я обожаю, когда... когда ты такой.

(Явно перехватывает инициативу, форсирует страсть.) Ещё... ещё, боже мой! Ты (чмок-чмок)... ты бесподобен. Я схожу с ума. (Подталкивает Бурыгу в спальню.) Куда ты... куда ты меня ведё-ошь? Я не хочу... Слышишь? Хулига-ан... о-о! Боже, что ты делаешь?.. (Падает на кровать, увлекая Бурыгу.) Что ты со мной делаешь... непостижимо! Я погиба-аю... Нет! Нет... нет... не надо! Я не хочу... Боже мой!

Исчезают под одеялом. Одеяло клубится. Оттуда вылетают свитер Бурыги, брючный ремень.

АЛЛА. О, мой мавр!!!

Вылетают брюки. Кальсоны, цветные трусы. Туфли — одна... вторая... третья... пятая! Ударяют в стены, в потолок. Сыплется штукатурка. Свет в спальне становится багрово-красным, цвет страсти. Музыкальный апофеоз... Вдруг Алла, растерянная, выбирается наружу.

АЛЛА. Ау-у! (Шарит по кровати, перетряхивает постель.) Роме-о, ау! Пузанчик, куда ты исчез? Э-эй!

Из-под кровати высовывается швабра, осторожно подгребает трусы.

АЛЛА. О-ля-ля! Это из «Ромео и Джульетты». Кусок... когда они, наконец, вместе. Мы как раз репетируем. Правда, я занята во втором составе, но... Потрясающая сцена! Страсть в ключья. Публика должна рыдать. Да! Кровать... кровать? Кровать будет стоять здесь. На авансцене. Но есть мнение, убрать передние ряды и поставить кровать в зал. В зале лучше, правда? Полный ренессанс! Кстати, в этой сцене ты рано исчезаешь, и всё-всё смазал. Напрочь. Без этой сцены Шекспира нет... Это ежу понятно. (Меняя тон.) Да! Ты знаешь, кого я сегодня видела? Ни за что не угадаешь.

БУРЫГА. Вероятно, Шекспира.

АЛЛА. Я была на приёме у вашего шефа. Иван Бенедиктович Кирпичников — потрясающий интеллигент! Он облобызал мне все руки.

БУРЫГА. Как... Кирпичников?

АЛЛА. Да, представь. Он давний поклонник моего таланта, как оказалось. И обожает, просто обожает театр. Он смотрел все спектакли с моим участием.

БУРЫГА (одеваясь) А твою фамилию он вспомнил?

АЛЛА. Не считай меня за идиотку! Собственно, я никогда не была с ним знакома. Это всё ради тебя... этот визит. Ради твоей карьеры. А вместо благодарности я должна выслушивать дурацкие острооты.

БУРЫГА. погоди. Ты что... хочешь сказать...

АЛЛА. Я хочу сказать, что ты тютя и мямля, и если тебя не направлять, ты вечно будешь на вторых ролях. Или в массовке. Голос из толпы... Ах, ах!

БУРЫГА. Ты была у Кирпича? И всё, что здесь видела, ты всё ему выложила? Этому крокодилу?!

АЛЛА. Этот крокодил, как ты выражаешься, передаёт тебе привет и обещает самую дружескую поддержку.

БУРЫГА. Ещё бы! Мм... Что ты наделала!

АЛЛА (меняя тактику) Ах ты, колобок ты мой, глупенький! Помпончик! Ты же, вспомни, ты сам говорил: твой Кирпичников, он всю-ду. Всюду. Он в академии. В Минздраве. Он во всех учёных советах, в комиссиях. В редколлегиях научных изданий... ну? Мимо него ни одна муха не пролетит. Говорил?

БУРЫГА. Мм!

АЛЛА. За таких людей надо держаться, купидончик ты мой. А не бороться с ними. Ну?.. Успокойся. Декорации поменялись. Теперь всё в ваших руках. Например, вы можете предложить ему соавторство.

БУРЫГА. Это он... он будет думать, взять нас в соавторы? Или нет? Или уничтожить!

АЛЛА. Фи! Я вижу, тебе нравится быть шестёркой у этого бородатого гения. На подхвате.

БУРЫГА. Что ты хочешь сказать?

АЛЛА (*вкрадчиво*) Или — или. У тебя... у тебя лично, нет выбора. Или быть вторым при академике Кирпичникове. Или... не быть вовсе.

БУРЫГА. То есть?

АЛЛА. Твой друг — никто. Ты при нем — никто дважды. Согласись? (*Бурьга молчит.*) И потом ты напрасно сбрасываешь со счетов меня. Поверь, женщина сегодня много-оное может. Ну-у, лапочка моя... Тю-тю-тю-тю-у! (*Мурлыкает, очаровывает.*) Надо играть свою игру. А не ждать милости от других.

Из ванной доносится сильный всплеск.

АЛЛА. Что это?

БУРЫГА. А-а... (*Рассеянно отмахивается.*)

АЛЛА. Там кто-то есть?

БУРЫГА. Грунт... обвалился, вероятно.

АЛЛА (*вставая*) Между прочим, Иван Бенедиктович взял у меня твой адрес. Собирается нанести визит. Лично.

БУРЫГА. Визит?

АЛЛА. Это надо ценить, глупенький... (*Мимоходом, случайно, в общем, заглядывает в ванную.*) Ах!

Смотрит широко раскрытыми глазами. С грохотом захлопывает дверь. Подлетает к Бурьге и с размаху отвешивает ему две сокрушительные оплеухи. Бурьга делает в постели кульбит. На щеках ярко-красными цветами вспыхивают отпечатки любимых рук.

АЛЛА. Мерзавец! О боже, кому я поверила... (*Рыдает.*)

БУРЫГА. Ты... ты что? Что ты?!

АЛЛА. Кто? Кто она? Эта дрянь... там?!

БУРЫГА. Какая дрянь? Ты о ком?

АЛЛА. Не смей делать из меня идиотку! Не смей! Толстый, похотливый самец!

БУРЫГА. Я — самец? В чём дело?

АЛЛА. Ах, ах! В чём дело... (*Толкает Бурьгу.*) Они не понимают! (*Снова толкает.*) Такие умненькие, такие учененькие... не понимают! Ах, ах!

БУРЫГА. Ну, ну... без рук. Что за манера?

АЛЛА. Кто? Кто эта красотка?! Голая... вот с таким бюстом?! (*Рыдает.*)

БУРЫГА. Ты в своём уме?

АЛЛА. Пьяная! Вдрызг!

БУРЫГА. Давай успокоимся и вместе во всём разберёмся. По порядку. Ну... в чём дело?

АЛЛА. О, я понимаю теперь, почему ты не звонил. Почему не отвечал на мои звонки. Он занят, видите ли! У него работа... Он даже отпуск взял, чтобы поработать. В ванной! Со своей пассией тет-а-тет!

БУРЫГА. Вот выпей, пожалуйста. Это помогает.

АЛЛА. Прочь от меня! Развратник!

Идёт к верстаку. В руках у неё оказываются молоток и гвозди. Заколачивает дверь в ванную.

АЛЛА. Дрянь! Пусть попробует теперь выбраться... (*В прихожей срывает плащ, сумочку. Оборачивается к Бурьге.*) Ничтожество!

Дверь открывается, входит Дылда. В руках кефир, хлеб, кульки, свёртки. Алла отвешивает ему затрещину и вылетает за дверь.

ДЫЛДА. О, чёрт! Что здесь происходит?

БУРЫГА. Это... ну, в общем, это репетиция.

ДЫЛДА. А, понимаю. Сцены из семейной жизни?

Бурыга, вдруг сообразив, хлопает себя по лбу и дёргает дверь. В ванную комнату. Безуспешно. Хватается за клещи, гвоздодёр и принимается отдирать...

Оба приятеля одновременно просовывают головы в ванную.

ОБА. О-о!!!

Квартира. Столы в глубине гостиной сдвинуты, покрыты чистой простыней. Бурыга, он в белом халате, шапочке, хлопочет возле своих склянок, возится со стерилизатором. Из ванной слышен шум, плеск воды. Высовывается Дылда, стучит по двери.

БУРЫГА. Иду... счас. *(Уходит. Доносятся голоса.)*

— Не так...

— Снизу... под колени...

— Держу.

— ... Секунду. Готово.

Осторожно выносят обёрнутое простынёй, обмякшее тело. Явно женское. Намокшая ткань достаточно рельефно это подчёркивает.

БУРЫГА. Ты знаешь...это даже хорошо, что она... не мужик.

ДЫЛДА. Ну. Иначе ты бы не отделался от своей Аллы.

Водружают ношу на столы. Волосы «пациентки» свисают на пол густой волной. Бурыга пробует пульс. Прослушивает с помощью стетоскопа. Дылда возится с фотоаппаратом.

ДЫЛДА. Ну, что?

БУРЫГА. Признаков разложения никаких. Но и признаков жизни тоже.

ДЫЛДА. Так... вывод?

БУРЫГА. Полагаю, анабиоз. Приспособительная реакция на низкую температуру. Наблюдается главным образом у беспозвоночных. Но исключения, как видим, имеют место.

ДЫЛДА. Анабиоз... анабиоз... Послушай, что за дрянь ты совал мне сегодня утром? Когда я спал? Ощущение, будто меня сунули в унитаз.

БУРЫГА. Бесполезно. Она не дышит, в отличие от тебя.

ДЫЛДА. Хм... пожалуй.

БУРЫГА. Может, укол? Или электростимуляция?

ДЫЛДА. Ну-к... позволь.

Вспышка магния. Повторяет съёмку с разных точек.

БУРЫГА *(дезинфицирует место укола на руке)* Что за чушь? Будь добр, подай дру-
гую иглу.

Дылда приносит иглу. Бурыга меняет. Снова делает попытку уколоть.

БУРЫГА. Не понимаю...

ДЫЛДА. В чем дело?

БУРЫГА. Не лезет... игла. Не могу проткнуть кожу.

ДЫЛДА. Может, не отошла?

БУРЫГА. Нет, что ты? Прекрасная складка. Эластичная.

ДЫЛДА. Если в бедро?

БУРЫГА. Попробуй сам. Убедись.

Дылда пробует. Тоже безрезультатно. Ломает иглу.

БУРЫГА. Сломал?

ДЫЛДА. Как в танк... Чертовщина какая-то.

БУРЫГА. Ничего. Даже царапины.

ДЫЛДА. Однако ж... Что ты на это скажешь?

Бурыга вдруг берёт Дылду за локоть, тянет на авансцену. Озирается.

БУРЫГА. Ты... э? Тебе ничего не кажется?

ДЫЛДА. То есть?

БУРЫГА. Подозрительным... понимаешь? Вернее, ничего не настораживает?

ДЫЛДА. Что именно?

БУРЫГА. Ну-у... *(Делает неопределённый жест вокруг.)* Странные ощущения. Какая-то неуютина... а? Нет, впрочем... не то. Я думал, может, ты... *(Вдруг резко оборачивается.)*

ДЫЛДА. Ты что?

БУРЫГА. Так... ерунда. Показалось. А почему так темно? Надо включить свет. *(Включает.)* Висит... слышишь? Не то звон... не то запах? Запах присутствия! А вот это... *(Выхватывает у Дылды шприц со сломанной иглой.)* Сломан! Она... за-щи-ща-лась!

ДЫЛДА. Защищалась? От кого?

БУРЫГА. От нас тоже.

ДЫЛДА. Почему ты шепчешь?

БУРЫГА. Шепчу? А, да... в самом деле. Ха-ха...

ДЫЛДА. Эк тебя... Бедная Лиза!

БУРЫГА. А ты? Что, нет?

ДЫЛДА. Работать надо! Работать. *(Идёт к столу, раскрывает журнал, шлёпает сверху ручку.)* Садись, пиши. *(Откидывает с головы пациентки простыню.)* Ну, готов?

БУРЫГА. Давай, давай,

ДЫЛДА. Разрез глаз горизонтальный. Эпикантус отсутствует. *(Приподымает веко.)* Цвет радужки — зеленоватый. Вероятно, диффузное смешение. Наклон лба...

Бурыга бросает ручку.

ДЫЛДА. В чем дело?

БУРЫГА. Не знаю... Не могу!

ДЫЛДА. погоди. Звон в ушах, говоришь? Ну-к... *(Разворачивает Бурыгу лицом к свету.)* Ты видел свою физиономию? По-моему, это всё последствия тяжёлой контузии. Такой удар, а?

БУРЫГА. Два.

ДЫЛДА. Ты всё ещё в нокдауне.

БУРЫГА. Я просто устал, хочу спать. К тому же, время.

ДЫЛДА. Как знаешь. Я ещё поторчу. *(Становится в изголовье.)* Дай ложечку.

Бурыга приносит. Идёт в спальню.

ДЫЛДА. Фью-уу! Невероятно... Смотри! Ну?

БУРЫГА. погоди. А где?.. Не может быть?

ДЫЛДА. Вот именно! У нас с тобой есть, а у неё...

БУРЫГА. Жевательные зубы... вместо клыков? Это как у жвачного животного?

ДЫЛДА. А?!

БУРЫГА. Номо... homo vegetabilis!

ДЫЛДА. Именно! «Человек травоядный». Принципиально иная популяция высших приматов, соображаешь? В отличие от нас к разряду хищников они не относятся.

БУРЫГА. Кажется, мы попали в самую «десятку». *(Обнимаются.)* Это событие надо отметить... *(Приносит два стакана, разливает из склянки спирт.)* Прошу.

ДЫЛДА. Эпоха оледенения... Верхний палеолит. Давай дадим ей имя. Лита?

БУРЫГА. Палеолит... Лита? Годится! За её здоровье...

Звонок в дверь.

ДЫЛДА. Это ещё кто?

Бурьга идёт открывать. Входит Кирпичников.

БУРЫГА. Вы?! Надо предупреждать хотя бы, Иван Бенедиктович. Существует телефон...

КИРПИЧНИКОВ. Ну, здравствуйте, здравствуйте, голубчик! Дайте же мне вас обнять... Как это они вас, а? Бурьга, кажется? Ох, эти наши шутники, хе-хе!

Сбрасывает на руки Бурьге плащ, вручает зонт и шляпу. Входит и натывается на Дылду.

КИРПИЧНИКОВ. Владимир Григорьевич... Володичка?! Здравствуй! Рад, рад безмерно. Однако, что же вы, голубчик, исчезли и как сквозь землю? Записочку-другую черкнуть, ну? Стыдно, стыдно вам. Совсем забыли старика. Ну-с... позвольте я вас расцелую.

ДЫЛДА. Не утруждайтесь, профессор. Бурьга! Карету господину Кирпичникову! И, пожалуйста, помогите одеться.

Бурьга сзади накрывает голову гостя шляпой. Дылда открывает настежь дверь.

ДЫЛДА. Очень, очень рады были вас видеть. Такой визит большая честь для нас обоих. Мы понимаем и... не смеем задерживать. Да, туда, туда...

КИРПИЧНИКОВ. На старости лет... от своих учеников такого дожидаться... (*Промокает глаза платком.*) Седины мои хотя бы уважали.

БУРЫГА. Ты, право, пересолил.

ДЫЛДА. Свои седины надо уважать самому. Прежде всего.

КИРПИЧНИКОВ (*Бурьге*). Молодой человек, помогите мне... А вы... вас я считал любимым своим учеником. Надежды возлагал. Хотел видеть вас преемником.

ДЫЛДА. Польщён, дорогой учитель. Гуру! Великий гуру!

КИРПИЧНИКОВ. Проводите же меня... На воздух... Я...

С помощью Бурьги делает несколько заплетающихся шажков. Начинает заваливаться набок. Бурьга усаживает его в кресло, идёт за водой.

ДЫЛДА. Не трудись. Профессор отсюда не уйдёт, пока не разнюхает, чем мы тут занимаемся. Не так ли, Иван Бенедиктович?

КИРПИЧНИКОВ. Худо мне...

ДЫЛДА. Кстати! Как он сюда попал?

БУРЫГА. Видишь ли, когда Алла это всё... Словом, мне пришлось объяснить. А она...

ДЫЛДА. Ясно! Болтун... Вероятно, уважаемый Иван Бенедиктович, дела ваши плохи? Иначе зачем бы вы прибежали? Полный институт дармоедов и родственников, не способных выдать ни одной стоящей разработки. О, вы пожалели — и не раз! — что тогда сгоряча вышибли нас с кафедры.

КИРПИЧНИКОВ. Вы сами не захотели... Хлопнули дверью.

ДЫЛДА. О, да! Я сам вылетел с работы, сам лишил себя прописки. И оказался на улице. С соответствующей записью. Статья 33 КЗОТ, которую опять же я сам вписал в свою трудовую книжку.

КИРПИЧНИКОВ. Статья? Какая статья?.. Впервые слышу. В конце концов...

ДЫЛДА. В конце концов, как оказалось, не мы с ним при институте. А институт был при нас. Процветал и благоденствовал. Со всеми родственниками и дармоедами... А сейчас кормится сдачей в аренду собственных зданий и помещений. Нет, Иван Бенедиктович! Зла на вас, лично, мы не держим. Бога ради. Вы не сами по себе. Вы — явление, чисто российское. Феномен!

КИРПИЧНИКОВ. Позвольте мне...

ДЫЛДА. Обществу, продуктом которого вы являетесь, вероятно, очень нужно, чтобы вы водили его за нос! Дур-рачили! Обществу нравится сидеть в выгребной яме и швырять огромные деньги под ваши идиотские прожекты. Мало того, общество вас чтит! Вы удостоены всех и вся. Вы — огромная серая поганка!

КИРПИЧНИКОВ. Я требую прекратить оскорбления! Мальчишка! Что вы себе позволяете?!

ДЫЛДА. Ну, ну, ну... Не надо. Вам, Иван Бенедиктович, невыгодно со мной ссориться. Ведь вы равным счётом ничего не успели разнюхать, не так ли?

БУРЫГА. Дылда... кончай, а?

ДЫЛДА. Вот Бурьга... милейший человек. Ни он, ни я, профессор, ещё раз повторяю, зла на вас не держим. Сейчас ваше время. А у каждого времени свои герои. Которых оно выдвигает, которых опекает и удостаивает. Мы же из своей выгребной ямы... мы вам аплодируем! Кстати, профессор... секрета из своей работы мы не делаем. Напротив, в ближайшее время результаты будут обнародованы. Так что готовы поделиться. С вами тоже. Бурьга... прошу. Только покороче. Суть.

БУРЫГА. Я? Хм...

Идёт к стеллажам, разыскивает в завалах бумаг несколько черепов и раскладывает в ряд на столе.

БУРЫГА. Итак, перед вами, профессор, обезьяноподобные предки человека. (*Указывает по очереди.*) Череп синантропа... Габилис. Возраст около двух миллионов лет... Питекантроп... Это череп неандертальского ребёнка. Погиб в возрасте десяти лет... Кроманьонец. Обратите внимание... (*Берёт череп, который разваливается в руках на две половины.*) Это не от времени, к сожалению. Это удар дубиной. Профессиональный удар, после которого череп разваливается на две равные доли. Или вот... более поздняя находка. (*В руках череп синантропа.*)

Бурьга снизу просовывает палец в отверстие на темени. Шевелит им.

... Тоже удар. Но дубина усовершенствовалась. На ней появился заострённый сук. Шип. После такого удара мозги уже не разлетались в стороны. Содержимое черепа целиком шло в пищу. Кстати, любимое блюдо каннибалов... Мы обратили внимание на одну закономерность: среди множества найденных черепов, известных антропологам и описанных в литературе, нет ни одного целого.

Берёт череп неандертальца, в темени дыра. Череп питекантропа — то же самое. Переворачивает настольную лампу-череп. Через отверстие в темени бьёт свет.

... Габилис жил в одно время с более примитивными австралопитеками. И истреблял их. Архантропы охотились на габилисов и австралопитеков. Неандертальцы уничтожали и тех, и других, и третьих. Своей смертью не умирал никто. Когда наступал голод, уже не враги, но соплеменники убивали друг друга. Первыми съедали стариков. Затем... детей. После детей мужчины-самцы дубинами забивали женщин. Наконец, они уничтожали друг друга. Но победитель, даже если он пережил голодное время, погибал неизбежно. Такова участь одиночки. Без роду. Без племени.

Люди питались не столько мясом животных, сколько поедали себе подобных. И не было более кровавой, более коварной твари, чем человек. Словно сухие ветви, отвалились и исчезли с лица земли австралопитеки. Исчез бесследно питекантроп. До последней особи был съеден габилис. Такая же участь постигла неандертальца. Ненависть и злоба собирали обильный урожай. Не хуже чумы. И человек, ещё не успев стать им, уже оказался на грани исчезновения. Но вот, обратите внимание, профессор... череп кроманьонца. Он целый. Без пробоины. Находке около сорока тысяч лет. И этот череп — не исключение. Люди стали умирать своей смертью. В окружении близких. У них появилось чувство долга. Родительского, сыновнего. Чувство

сострадания. Милосердие. Совесть. Вместо животной похоти — чувство любви. Люди научились чтить старость за опыт и знание жизни. Одним словом, появилась **нравственность**.

ДЫЛДА. Нравственность, профессор!

БУРЫГА. Учёный мир объяснил эти разительные перемены переходом от эволюции биологической к эволюции социальной. Законы стаи, стада заменились общественными отношениями. Но главное... главное осталось без объяснения. Сам механизм перехода.

КИРПИЧНИКОВ. Не хотите ли вы сказать, что нашли объяснение?

БУРЫГА. Самое поразительное в этом переходе от зверя к человеку — его скоротечность. Вдруг! Вот это «вдруг», профессор, навело нас на мысль о своего рода толчке. Был именно толчок. Извне. В конце концов, мы пришли к выводу, что этот толчок был — генетического свойства. В крови наших предков появился дополнительный ген. Ген альтруизма.

ДЫЛДЫ. По сути, дорогой профессор, нас развернули на сто восемьдесят градусов. Акция исключительно целенаправленного действия. Мы, человеки, уже стояли на краю пропасти.

КИРПИЧНИКОВ. Кто?!

ДЫЛДА. Ха-ха-ха! Вы правильно мыслите. Если не эволюция, то кто? Не так ли? Возможно, моё мнение покажется вам спорным, но смею утверждать: у нравственности вообще нет эволюции. Скорее, наоборот. Спустя сорок тысяч лет человечество снова топчется на краю пропасти. Однако ж... мы хорошо понимаем ваше нетерпение. Прошу, профессор. *(Откидывает простыню.)* Homo vegetabilis... Человек травоядный.

Гость дрожащими руками отыскивает очки, цепляет на нос.

КИРПИЧНИКОВ. Ка... какая-то фантастика! Если бы я не знал вас... вашу научную добросовестность... Я...

ДЫЛДА. Признаться, мы тоже не пришли в себя.

КИРПИЧНИКОВ. Уникальный случай... уникальный. В отличной сохранности.

ДЫЛДА. Более, чем вы подозреваете.

БУРЫГА. Анабиоз.

КИРПИЧНИКОВ. Что-о?!

ДЫЛДА. Да. Хотя, действительно, похоже на бред.

Кирпичников берет руку «пациентки». Сгибает, разгибает. С суеверным страхом всматривается в четырёхпалую кисть. «Че... четыре!» Пошатнувшись, опирается Бурьге на плечо.

КИРПИЧНИКОВ. Как... как вы нашли её? Эту...

ДЫЛДА. Единственный след, профессор, тот самый ген... альтруизма, который они занесли нам в кровь. Трансплантация нравственности, к сожалению, человечеству пока не по зубам. Мы разработали довольно сложную методику поиска, и, смею уверить, оригинальную. Она привела к результату.

КИРПИЧНИКОВ *(со слезами на глазах)* Простите... простите, друзья! Ещё раз простите. Я, вероятно, бывал неправ. Не всегда прав. Но и вы тоже не сахар. Далеко не сахар. Моя занятость вам известна, но! Но вы обязаны были до меня достучаться. Всенепременно! Ничего... ничего, мои молодые друзья. Ещё не поздно, мы всё-всё наведем. Можете считать, двери нашего... вашего института для вас открыты. Любую кафедру, на выбор. Вам будут предоставлены страницы всех наших научных изданий. Толстых и тонких. Пресс-конференции... брифинги. Международный конгресс... Обещаю вам, всё будет. Я лично сам займусь этим делом. Возьму всё на себя.

ДЫЛДА. Зачем же всё, Иван Бенедиктович?

КИРПИЧНИКОВ. Самое время сейчас вспомнить... Учитель, воспитай ученика, чтоб было у кого потом учиться! Святые слова. Теперь я могу умереть спокойно... Да... Обнимаются с Бурьгой. Дылда от объятий уклоняется, поспешно взяв стакан.

ДЫЛДА. Позвольте мне предложить тост за здоровье Литы! Мы, профессор, дали ей имя... И за тот драгоценный подарок, который, как мы полагаем, они нам сделали. Они подарили нам нравственность!

Бурьга подаёт профессору стакан.

КИРПИЧНИКОВ. Прекрасно... прекрасно...

ДЫЛДА. Ну-с, уважаемые потомки каннибалов... за здоровье!

Чокаются, пьют, крикают. Лобызаются.

КИРПИЧНИКОВ (*глядя на часы*) О! Как говорится, у времени в плену... Я полагаю, мы обо всём договорились? Будем сотрудничать. Кое-какими возможностями я ещё располагаю, хотя времена уже не те. Так что... прошу рассчитывать на поддержку. В самом широком смысле.

БУРЫГА. Да-да! Очень признательны.

КИРПИЧНИКОВ. До завтра. До завтра, друзья. (*Уходит.*)

БУРЫГА. Ну? Что ты теперь скажешь? А?... Молчишь. Нет, но каков шеф! Публикации... брифинги... Кафедра! Поездки за границу! А ты его... ха! Гуру. Не, я бы не смог на его месте.

ДЫЛДА (*зевая*) Мой тебе совет на будущее... Побереги свой череп. (*Стучит Бурьге по темени.*)

БУРЫГА. А, иди ты!

ДЫЛДА. Поживём — увидим.

Прихватив плед, устраивается в кресле.

БУРЫГА. Послушай, а тебе не кажется... Эй? Чёрт... уже спит. Хм?

Ногой подвигает к креслу башмаки приятеля и направляется к «телу». Но вдруг останавливается, напряжённо вытянув шею, и задом на цыпочках отступает на середину комнаты. Круто оборачивается — лицо напряжено, глаза расширены. Затем бочком, минув «тело» по кривой, направляется в спальню. Задом открывает дверь, пятится... Захлопывает дверь и проворачивает ключ. Юркает под одеяло. Вскоре засыпает...

Саван на столах, шевельнувшись, сползает на пол. Под саваном пусто. В воздухе возникает странный... непривычный уху звук. Нездешний.

Неожиданно сам собою отъезжает в сторону табурет. Спустя время со стеллажа на пол падает рулон ватмана. Затем подпрыгивает и, повисев в воздухе, возвращается на место... С резким металлическим звяком катится под стол какой-то предмет... Дылда ворочается в кресле, бормочет. Некоторое время в гостиной стоит мёртвая тишина. Затем один из башмаков возле кресла «ступает», за ним другой... «Идут» к двери, ведущей в спальню, проходят её насквозь, как если бы двери не было вовсе. Останавливаются... Неожиданно в гостиной распаивается окно. Гул автострადы, звуки ночного города властно врываются в помещение, вздувая парусом шторы. Тотчас окно закрывается. Снова возникает в воздухе странный плачущий звук...

Смутная тень возникает сзади за спинкой кресла, в котором спит Дылда. Тень обретает очертания женского силуэта. Её руки, ладонями вниз, висят над лицом спящего. Вокруг головы силуэта, в пышном ореоле волос, обозначается лёгкое свечение... Дылда, не просыпаясь, начинает что-то бормотать или бредить. Ворочает головой... Мечется. Из уст его вырывается стон...

Тень отступает, тускнеет и растворяется на фоне стены.

ДЕЙСТВИЕ 2

Рассвет. Бурьга в постели, поднимает голову. Выбравшись из-под одеяла, шлёпает в туалет. Но вместо своих туфель обнаруживает на ногах туфли Дылды. Недоумеваает... возвращается в спальню. Сравнивает ту и другую пары. Так и не придя к выводу, вдруг срывается с места и трусцой бежит в туалет. Под рокот унитаза появляется назад и замечает над креслом облачко дыма.

БУРЫГА. Не спишь?.. Поставлю чайник, пожалуй. (*Уходит. Возвращается с бутербродами в обеих руках. Жуёт.*) Вчера за весь день крошки во рту не было. Так можно фигуру потерять. Бутерброд хочешь?.. Эй?

Разворачивает кресло. Дылда полулежит, натянув плед по самую бороду. Из бороды торчит окурок. Глаза открыты и неподвижны.

БУРЫГА. Э? Ты... ты чего? А?.. Эй?!

ДЫЛДА. Ничего не понимаю.

БУРЫГА. Уф! Чокнешься тут... с вами. (*Косится на столы.*)

ДЫЛДА. Ощущение, будто я разговаривал. С ней.

БУРЫГА. Во сне?

ДЫЛДА. Не знаю.

БУРЫГА. И что? Она сносно объясняется? По-русски?

ДЫЛДА. Почему ты запер дверь?

БУРЫГА. Ну-у... услышал, вы разговариваете, то... сё. В общем, решил не мешать. Мало ли?.. О! Чайник свистит.

Спешит от неприятного разговора на кухню. Обратно несёт чай, полбуханки хлеба и кольцо колбасы на локте.

ДЫЛДА. Она почему-то не решилась на контакт. На открытый контакт. Почему? Длинные, настойчивые звонки в дверь.

ДЫЛДА. В такую рань... Кто это?

БУРЫГА. Понятия не имею. (*Удары в дверь.*) О-о! (*Идёт открывать.*)

Дверь настежь. Входит женщина в штатском (*в дальнейшем Следователь*) За нею Милиционер (*бывший Первый грузчик*).

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Уголовный розыск! (*Показывает удостоверение.*) Прошу всех оставаться на местах.

Кивает Милиционеру. Тот по очереди охлопывает Бурьгу и Дылду от подмышек до пят.

ДЫЛДА. Что за шутки, любезная? Может, объя...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ваши документы?

Бурьга берётся за пиджак, но Милиционер отводит его руку. Сам обыскивает карманы. Документы передаёт Следователю. Останавливается перед Дылдой.

МИЛИЦИОНЕР. Ну?

ДЫЛДА. Что-то мне физиономия твоя знакома?

МИЛИЦИОНЕР. Предъяви документы... знакомый!

ДЫЛДА. Там... в саквояже.

МИЛИЦИОНЕР. Знакомый нашёлся, тоже мне.

Вытряхивает сумку на пол. Документы передаёт Следователю.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так. А это кто у вас? (*Подходит к «телу». Отбрасывает простыню.*) Кто эта женщина? Фамилия?

БУРЫГА. Это... ну-у?

МИЛИЦИОНЕР. С поличным попались. (*Ставит на стол чемодан Бурьги с врачебными принадлежностями.*)

ДЫЛДА. Потрудитесь объяснить, что происходит? Какого чёрта вы тут роетесь, и на каком основании?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Санкция прокурора. Прошу ознакомиться, гражданин... Дылдин, кажется?

ДЫЛДА (*пробегаёт глазами*) Ничего не понимаю... (*Читает вслух.*) Советник юстиции 1-го класса прокурор Нургалиев, рассмотрев устное сообщение гражданина имярек... Имярек? Анонимный звонок, что ли? По телефону?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Читайте, читайте.

ДЫЛДА. ...По обвинению гражданина Бурыгина А. Н. и гражданина Дылдина В. Г. в соответствии со статьями 116, 221 Уголовного Кодекса и принимая во внимание необходимость принятия неотложных мер по предотвращению возможного преступления, постановляет: произвести обыск на квартире гражданина Бурыгина по адресу — Новоазинская улица... Угу. Понятно.

БУРЫГА. Какое преступление? Что за шутки?

ДЫЛДА. Не понимаешь?

БУРЫГА. Иди ты...

ДЫЛДА. Вот держи. Приглашение на брифинг! (*Передаёт постановление Бурыге.*)

БУРЫГА. Брифинг?

ДЫЛДА. У... так и вмазал бы!

МИЛИЦИОНЕР. Руки!!! (*Расталкивает приятелей по сторонам.*) Я смотрю, ты ему уже вмазал.

Следователь в одной руке держит документы, рассматривает. Другой расталкивает Литу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Гражданка... гражданочка? Вставайте... Встаньте же, встаньте! Вас это тоже касается. Эй, милочка... Кошмар какой-то. Ни стыда, ни совести... разлеглась. В таком виде. Ну же, ну?! (*Милиционеру.*) Найдите понятых. Тут всё ясно, с этими.

МИЛИЦИОНЕР. Есть. (*Уходит.*)

БУРЫГА (*с постановлением*) В соответствии со статьями 116, 221... Что это? Может, вы нам расшифруете как-то? А?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Не валяйте дурочку. Сядьте! (*Замечает на столе стаканы, остатки бутербродов. Принюхивается.*) Так... запах алкоголя. Пили? (*Оба молчат.*) Понятно. На троих, надо полагать? (*Хлопает Литу по щекам.*) Надо же до такой степени допиваться. Очнитесь, очнитесь... гражданочка!

БУРЫГА. Оставьте вы её, чёрт... Никакая она не гражданочка.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кто? Имя? Фамилия?.. Ну?! Я слушаю, слушаю!

БУРЫГА. Нет у неё фамилии. Нету.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Нет? Или не знаете?

БУРЫГА. Хы! И не объяснишь ведь сразу. Понимаете, это... ископаемая. Ископаемая женщина. Экспонат, если хотите. Мы с ним антропологи...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Сядьте на место! Экспонат... И потрудитесь сидеть молча.

БУРЫГА. Нет, это какое-то недоразумение! Что значит... Да вы... вы просто объяснены нас выслушать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. В определённое время в определённом месте мы обязательно вас выслушаем, гражданин Бурыгин. И не раз, это я вам обещаю. А теперь сядьте и помолчите. Иначе я буду вынуждена принять меры. (*Бурыга отворачивается.*) Гражданочка?! Кстати... где её одежда? (*Оба молчат.*) Гражданин Бурыгин, куда вы дели одежду потерпевшей? (*Бурыга молчит.*) Я, кажется, к вам обращаюсь?

БУРЫГА. Так мне молчать? Или... Я что-то не совсем понимаю?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Отвечать, когда спрашивают... Господи! Она же... не дышит!

БУРЫГА. Ещё бы! Ей пятьдесят тысяч лет... в мерзлоте. Это вообще беспрецедентный случай, что она сохранилась. В таком виде.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Допрыгались, голубчики. Ну, что ж...

Проходит к столу, садится. Достает из папки бланк протокола. Что-то пишет, глядя в документы.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Бурыгин Андрей Николаевич. Кто хозяин квартиры? Вы?

БУРЫГА. Квартиросъёмщик... да, я.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Дылдин... Владимир Григорьевич. Так... прописка? У вас что, вообще нет регистрации?

ДЫЛДА. Уже два года, любезная.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Место работы?

ДЫЛДА. По договорам. В геологических партиях, в основном.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ясно. *(Записывает.)* Нигде не работающий... Без определённого места жительства.

ДЫЛДА. Да. Типичный бомж.

БУРЫГА. Ты что? Ты в своём уме? Он кандидат биологических наук. Около сотни научных публикаций... книги... у нас. За рубежом! Он...

ДЫЛДА. Оставь.

БУРЫГА. Как это... что значит — оставь?

ДЫЛДА. Бесполезно. Он здорово нас ущучил, твой Кирпич. Отличный ход.

БУРЫГА. Кирпич... вот это всё? О-о! Скотина...

ДЫЛДА. Дошло... хы!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кто такой Кирпич?

ДЫЛДА. Кирпич... у-у! Шеф. Крёстный отец, можно сказать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так. Имя, отчество? Я слушаю, слушаю?

ДЫЛДА. Вы хотите, чтобы он нас... того? *(Чиркает ладонью по горлу.)*

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Имя? Имя?!

ДЫЛДА. Кирпичников Иван... Отчество Бенедиктович.

СЛЕДОВАТЕЛЬ *(записывает)* Иван Бенедиктович.

ДЫЛДА. Запишите ещё... Мы действовали по его указке. А он, гад, продал. Такую подлянку кинул, скажи?

БУРЫГА. Ты в своём уме?! Паясничаешь... перед кем? Загреметь захотел?

ДЫЛДА. Уже загремели. Ты как хочешь, а я покрывать Кирпича не собираюсь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кирпич — это Кирпичников?

ДЫЛДА. Погоняло... да.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Чистосердечное признание, помощь следствию вам зачтут, гражданин Дылдин.

БУРЫГА. Идиот... мм!

ДЫЛДА. Сам идиот! Ты что, хочешь, чтобы Кирпич снова вышел сухим из воды? А нам, тебе дураку, повесили на шею мокруху? К стенке прислонили? Да?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Тихо! Прекратили. Гражданин Дылдин, вы можете как-либо доказать участие Кирпичникова в этом деле?

ДЫЛДА. Доказать?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да. Вещественные доказательства, улики, фотографии, записи?

ДЫЛДА. Гм? Ну... он был здесь вчера. Да! Отпечатки пальцев годятся?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вполне.

ДЫЛДА. Мы выпивали... он, я и Кирпич. Втроём. Отпечатки Кирпича на стакане. Думаю, сохранились...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Не трогать!

БУРЫГА. Я не понимаю, что тут происходит? Что за чушь он порет?! Вы... вы взгляните, я вас прошу. Вот. Она же не человек... Не женщина, в нашем смысле. Это антропoid! Совершенно иная популяция, в отличие от нас с вами. Вот, смотрите... пальцы. Даже пальцы! На ногах, на руках — по четыре штуки. Четыре! А не пять... Не пять, понимаете?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. И что? Что вы хотите сказать?

БУРЫГА. То есть... как?

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*устало*) Гражданин Бурьгин, нам, к сожалению, приходится постоянно иметь дело с трупами. И поверьте, попадают всякие. Не только без пальца, но без рук, без ног вообще. И даже без головы.

БУРЫГА. О-о! (*Хватается за голову.*)

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*подходит к двери, открывает*) Пригласите понятых.

Входит Первый и Второй грузчики, в дальнейшем Первый понятой, Второй понятой.

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*в притвор*) Посторонних сюда никого не впускать. (*Понятым.*) Пожалуйста, проходите... Внимательно посмотрите на этих людей. Вам их личности знакомы?

ПЕРВЫЙ ПОНЯТОЙ. Не... откуда?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы соседи, кажется?

ПЕРВЫЙ ПОНЯТОЙ. Не, мы ничё не слышали, не знаем.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы тоже? (*Второй понятой крутит головой.*) И что, ни разу нигде не встречались?

ПЕРВЫЙ. Ну, на лестнице когда... «Здравствуй — до свиданья». Всё.

ВТОРОЙ. Ага. Этот вот, вежливый с виду, паскуда. «Пожалуйста...» «Извините...» «Не хочу вас беспокоить». Тьфу! Иной раз займёшь у него на это дело (*щёлкает по горлу*)... ну, в долг. Десятку, две. Сам не напомним, нет... фря интеллигентская. Не наш человек.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. То есть, вы как-то общались прежде?

ПЕРВЫЙ. Не, первый раз вижу.

ВТОРОЙ. Ага. Я... тоже.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ну, хорошо. Мы пригласили вас сюда в качестве понятых. Дело в следующем: гражданину Бурьгину Андрею Николаевичу, по прозвищу Бурьга, проживающему по адресу: Новоазинская, дом 12\10, квартира 24, и гражданину Дылдину Владимиру Григорьевичу, без определённого места жительства, по прозвищу Дылда, предъявлено обвинение по статьям 116 и 221 Уголовного Кодекса Российской Федерации. Обвинение состоит в том, что вышеупомянутые лица длительное время безнаказанно занимались производством преступных аборт, для чего в квартире гражданина Бурьгина ими был оборудован подпольный абортарий. Вы можете убедиться... (*Крутит кресло.*) Операции проводились в антисанитарных условиях. Ни Бурьгин, ни его сообщник специальностью врача-гинеколога не владеют. В результате их преступных действий погибла женщина. Оба обвиняемых задержаны нами на месте преступления. (*Указывает на чемодан.*) Хирургический инструмент, которым они пользовались при операциях. К сожалению, личность потерпевшей пока не установлена.

ПЕРВЫЙ ПОНЯТОЙ. Во, небось, деньгу зашибали... кооператоры.

ВТОРОЙ. Ну! В долг даёт, а назад не просит. На кой они ему?!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Я попрошу вас засвидетельствовать результаты обыска. Вот... здесь. Распишитесь.

Понятые расписываются. Уходят.

ДЫЛДА. Я хочу сделать заявление...

БУРЫГА (*ошарашен*) Какие аборты?! Вы что... с ума посходили? Это мой чемодан, мой! Здесь нет ничего подобного... дура!

Вбегает Милиционер, заталкивает Бурыгу в кресло, пристёгивает наручниками.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Гражданин Бурыгин, оскорбление работника милиции при исполнении служебных обязанностей карается по статье 192 прим. лишением свободы на срок до шести месяцев.

ДЫЛДА. Любезная, позвольте сделать заявление?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Слушаю.

ДЫЛДА. Мы, действительно, не знакомы с потерпевшей. Клиенток нам всегда поставлял Кирпич. Мы просто делали своё дело и часть гонорара отдавали ему.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Потерпевшая пришла сама? Или с Кирпичниковым?

ДЫЛДА. Обычно он сам их доставляет.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Понятно. Уведите их. (*Что-то помечает в бумагах.*)

Милиционер уводит Бурыгу и Дылду. Но в дверях задерживается. Вид озадаченный.

МИЛИЦИОНЕР. Эту... пока оставить придётся здесь.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. В чем дело?

МИЛИЦИОНЕР. Лимита нет. Говорят, кончился.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Какой ещё лимит?

МИЛИЦИОНЕР. Так это... бензин. Ну? Конец квартала не дотянули. У них там двадцать шесть трупов не вывезено, с мест происшествий. Эта двадцать седьмая. Весь транспорт на приколе с вечера.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Нет, так работать невозможно. Я что, на себе должна их таскать?!

МИЛИЦИОНЕР. Так это... на личные нужды, по начальству разошлось. Весь лимит. (*Принюхивается к телу.*) Свежак! Два дня запросто терпит. (*Уходит.*)

Следователь, раздражённая, уходит следом.

Ночь. Квартира. Уличные фонари слегка освещают её через не зашторенные окна. Звонок в дверь. Пауза. Слышно, кто-то возится с замком. Дверь открывается. Смутная тень пересекает гостиную, задёргивает шторы. Вспыхивает ручной фонарь. Луч мечется по углам, натывается на «тело». Рука в перчатке подымает край простыни. Затем неизвестный переходит к столу, роется в бумагах, перелистывает, выдирает что-то, складывает в кейс...

На лестничной площадке лязгает дверца лифта. В замке, слышно, проворачивают ключ. Фонарь гаснет. Скрип открываемой двери... Вдруг тёмная тень в два прыжка пересекает гостиную и ударом ноги распахивает дверь в спальню. Включает свет. Это Алла, она в ярости. Но в спальне ни души. Алла срывает одеяло, сшибает подушки и без сил опускается на кровать. Затем идёт на кухню.

АЛЛА. Бурыги-ин! Помпончик!

Включает свет на кухне. Некто, пришедший первым, выключает свет в спальне.

АЛЛА. Дурацкие шутки! Эй?.. Эй?! Кто здесь? Ой... мамочки!

Идёт включить свет в гостиной, но дорогу ей преграждает некто и перехватывает руку. Алла взвизгивает было, но другая рука зажимает ей рот.

НЕКТО. Тсс! Не вздумайте включать свет.

АЛЛА. Кто вы?

Вспыхивает фонарь, Некто направляет луч себе в лицо, снизу. Это Кирпичников.

АЛЛА. О, боже! А вы, Иван Бенедиктович, большой шалун. Право, как вы меня напугали.

Щёлкает выключателем. Кирпичников, как кот, с шипением бросается на выключатель. Свет гаснет.

КИРПИЧНИКОВ. Не включать! Не смейте включать свет!

АЛЛА. Это ещё почему? *(Включает.)*

Кирпичников бьёт её по лицу. Выключает.

АЛЛА. Ах! *(Падает.)* В чём дело? Что тут происходит? Где мой жених?!

КИРПИЧНИКОВ. Прекратите орать! Нас могут услышать... И не вынуждайте меня на крайние меры, чёрт вас возьми! *(Лампу-череп ставит на пол. Включает.)* Ваш жених, милочка, арестован. Вместе с приятелем. Да-с... сегодня утром. *(Снова принимается за бумаги.)*

АЛЛА. Как? За что?

КИРПИЧНИКОВ. За что? *(Хихикает.)* Применительно к России это весьма даже дурацкий вопрос.

АЛЛА. Э? А вы что тут делаете, любезный?.. Что вы там ищете?

КИРПИЧНИКОВ. Иди ты... к дьяволу!

АЛЛА *(руки в боки)* Ол-ля-ля! Ну, нет! Я хочу знать, что вы делаете в чужой квартире? И как вы тут оказались? Извольте объясниться!

КИРПИЧНИКОВ *(под нос)* Чёртова курица... Потом, потом, милочка. Я всё вам объясню потом. У нас ни минуты времени.

АЛЛА *(берётся за телефон)* Алло? Милиция?.. Запишите, пожалуйста, адрес...

Кирпичников бросается на Аллу. Рвут друг у друга телефонную трубку.

КИРПИЧНИКОВ. Хорошо, хорошо! Я всё объясню, сию минуту. Всё! Неужели вы, умная, красивая женщина... великолепная актриса, могли подумать, будто я пробрался в эту... в вашу квартиру как вор? Без ведома хозяина? Это он дал мне ключ и просил, умолял спасти научные материалы. Разумеется, ваш жених, они оба, ни в чём не виновны. Это недоразумение, их арест. Всё выяснится, можете мне верить. Я приложу усилия, и когда они вернутся, мы возвратим этот бесценный материал в полной сохранности. Но до обыска, вы понимаете, его необходимо изъять!

АЛЛА. Вы лжёте. Я вам не верю.

КИРПИЧНИКОВ. Лгу... я?! Ну, знаете ли...

АЛЛА. Если этот бесценный материал окажется в ваших руках, зачем вам его возвращать? Насколько я наслышана, это не в вашем характере. И потом, этот арест... недоразумение, как вы утверждаете, дурно пахнет доносом. Вы не находите?

КИРПИЧНИКОВ. Милочка, вы забываетесь! Перед вами академик Кирпичников, а не какой-то там, этот... Я депутат Госдумы России, член правительства! Лауреат более десятка государственных и международных премий! Учёный с мировым именем. Извольте умерить свой тон, он оскорбителен!

АЛЛА. Ах, ах! Какой он умненький, какой учененький! Какой весь из себя член...

КИРПИЧНИКОВ. Прекратить!!!

АЛЛА. Ну, не-ет! Я не Бурьга и не Дылда, которых вы водили за нос, словно младенцев. Распахивали на этих бычках свои чернозёмы. Вы — доносчик! Я вижу это по вашей порочной физиономии! Вы не возьмёте здесь ни одного документа, ни единого клочка бумаги! *(Берётся за телефон.)*

КИРПИЧНИКОВ. Видит бог, я долго терпел...

Бросается на Аллу. Алла бросается на Кирпичникова. Бой, хотя и неуклюже, но ведётся с обеих сторон с помощью приёмов каратэ. Успех переменный, поскольку силы почти равны. И это не шуточный бой, физиономии расквашены в кровь. Наконец, Алла сбивает Кирпичникова с ног и хватает молоток, чтобы расколоть череп. Взмахивает, и — оба застывают. Словно восковые фигуры в музее мадам Тюссо. В воздухе повисает странный, угасающий постепенно звук... Саван со стола сползает на пол. Литя медленно подымается. Густые волосы достигает колен, живописно драпируют обнажённое тело. Она обходит застывшие фигуры, разглядывает. Даже трогает их... Бесшумно движется по квартире,

едва касаясь кончиками пальцев различных предметов. Уходит в спальню... И вдруг оказывается сидящей в кресле. Затем она вынимает из вазы на столе букет, отрывает лепестки цветов. Кладёт в рот... Вновь останавливается перед застывшими фигурами. Алла и Кирпичников так же внезапно оживают, шарахаются от неё в разные стороны.

КИРПИЧНИКОВ. Не... не может быть!

АЛЛА (*грубо*) Кто такая? Кто эта образина?

КИРПИЧНИКОВ. Это она... она! Ископаемая жен...

АЛЛА. Ах, ископаемая! Только и всего. (*Хватает Литу за руку, рывком усаживает на табурет.*) Слушай ты, кикимора... Он что, ни разу не говорил тебе, что у него есть невеста? Или я должна сделать это сама?

Замахивается, чтобы вкатить оплеуху. Но Кирпичников оттаскивает её.

КИРПИЧНИКОВ. Вы с ума сошли! Это же та самая... Вы что, не понимаете?

АЛЛА. У меня по квартире шляется голая баба! Живёт здесь! Напивается до бесчувствия! Спит в ванной, дрянь! Пусты, ты... я её замочу, эту стерву!

Дверь настежь. Входит Следователь. Явно удивлена. За нею два Санитара с носилками.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ни с места! Уголовный розыск. (*Демонстрирует удостоверение.*) Бросьте оружие!

Алла роняет молоток. Кирпичников поднимает шляпу и направляется к двери.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Гражданин Кирпичников, попрошу вас задержаться.

КИРПИЧНИКОВ. Академик Кирпичников. Иван Бенедиктович. Я здесь совершенно случайно. Однако, с кем имею честь?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вопросы здесь задаю я. Кстати, каким образом вы проникли в эту квартиру? С какой целью?

КИРПИЧНИКОВ. Проник? Я не совсем вас понимаю?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Квартира опечатана. Была опечатана.

КИРПИЧНИКОВ. Это какое-то недоразумение! Я... я позвонил, и мне открыли. Вот... дама может подтвердить.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Дама была с вами?

КИРПИЧНИКОВ. Дама, повторяю, открыла мне дверь. Когда я позвонил.

АЛЛА. Я?! Дверь?..

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Ваши документы, гражданочка?

АЛЛА. Что здесь происходит, чёрт побери?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Предъявите документы!

АЛЛА. О, мамочки... (*Роемся в сумочке.*)

ПЕРВЫЙ САНИТАР. А где эта... труп?

ВТОРОЙ САНИТАР. Ну. У нас шестнадцать жмуриков ещё, на очереди. Торчи тут с вами... (*Переставляет склянки на столе, принимает.*)

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Кажется, потерпевшая пришла в себя... Прикройте, гражданочка.

Подает Лите простыню. Лита не знает, что с нею делать.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы в состоянии говорить? Да?.. Нет?.. Вы узнаете этого человека? Указывает на Кирпичникова. Лита, словно бы в знак согласия, слегка наклоняет голову.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Гражданин Кирпичников, как фамилия этой женщины? Кто она?

КИРПИЧНИКОВ. Фамилия? Вы спрашиваете об этом меня?

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Вы что, не знаете своих клиентов по именам?

КИРПИЧНИКОВ. Какие... какие клиентки? В чём дело, уважаемая?!

АЛЛА (*подаёт удостоверение*) Вот. Прошу.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так... Её, разумеется, вы тоже не знаете?

КИРПИЧНИКОВ. Нет! То есть... да. Но не слишком.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Да? Или нет?

КИРПИЧНИКОВ. Да, да! Некоторым образом... А в чём дело, позвольте узнать?

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*Алле*) Вы пришли сюда вместе? Это он привёл вас на аборт?

КИРПИЧНИКОВ. Ещё чего! Я же сказал вам. Эта женщина, когда я позвонил, открыла мне дверь.

АЛЛА. Ложь! Он всё лжёт, мерзавец, до последнего слова. Он вошёл сюда первым. Он знал, что хозяина нет, арестован, и стал рыться в его бумагах. Вот его кейс.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Искал деньги?

КИРПИЧНИКОВ. К этому кейсу я не имею ни малейшего отношения. Я пришёл сюда совершенно случайно, к бывшему ученику.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Так. А вы?

АЛЛА. Я пыталась помешать, разумеется. Но он набросился на меня с кулаками и стал избивать!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Довольно. Я вынуждена вас задержать. Обоих. До выяснения обстоятельств.

КИРПИЧНИКОВ (*гремит*) Вы что? В своём уме? Задержать меня... на основании слов какой-то безответственной истерички?! Перед вами Кирпичников, любезнейшая! Академик, депутат Госдумы России. Да я вас разделаю, как... как...

СЛЕДОВАТЕЛЬ. С вашим депутатским статусом, гражданин Кирпичников...

КИРПИЧНИКОВ. Академик Кирпичников!

СЛЕДОВАТЕЛЬ. ...Мы разберёмся. Полномочий у нас достаточно.

АЛЛА. Я тебе покажу истеричку! Доносчик!

Вцепляется в Кирпичникова. Снова завязывается драка. Следователь пытается разнять и получает затрещину.

СЛЕДОВАТЕЛЬ. Остановите же их!

Санитары дегустируют в уголке найденный спирт. Оба изрядно под мухой. Услышав призыв, закатывают рукава и охотно ввязываются в драку. Лита в самом эпицентре... с недоумением озирает побоище. Хрипы, рёв, вой, стоны. Все бьют всех, без разбора. И вдруг – страшный, пронзительный визг. Визжит Алла. Все останавливаются... расступаются. Со стуком падает на пол молоток. На полу в луже крови – Лита. Немая сцена.

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*двумя пальцами поднимает молоток*) Кто?.. Ты?.. Ты?.. Или ты?.. Все в растерянности. Пожимают плечами, переглядываются.

АЛЛА (*Следователю*) А может, ты?

КИРПИЧНИКОВ (*проверяет пульс*) Черепно-мозговая травма. Она мертва, как... кажется?

СЛЕДОВАТЕЛЬ (*устало*) Все арестованы.

Палата в психбольнице. Три койки, три тумбочки, табурет, намертво привинченный к полу. На одной из коек, укрывшись одеялом с головой, спит псих. На другой, поджав под себя ноги, сидит ещё один псих. Голова у сидящего психа острижена, но волосы начали отрастать. Лицо в щетине. Он сидит, раскачиваясь вперед-назад, и тянет бесконечный какой-то, калмыцкий, должно быть, мотив. Входит Первый санитар, в руках здоровенный шприц.

САНИТАР (*подходит к сидящему психу*) Снимай. (*Псих продолжает качаться.*) Штаны, говорю, снимай. Процедура... Ну! Угу, не слышишь. Ему добра хотят, а он...

Валит психа на кровать и садится верхом. С размаху вгоняет шприц в ягодицу. Псих (*это Бурьга*) вскрикивает по-заячьи. Голова после укола начинает мелко трястись.

САНИТАР. Вот так. (*Ощупывает иглу.*) Заржавела малость... (*Заглядывает психу в лицо.*) Ишь, нежный... фря интеллигенская.

Снова набирает шприц. Подходит к другой койке.

ДЫЛДА (*поднимает голову*) Пшёл вон.

САНИТАР. Как знаешь... Оно мне надо, что ли?

В притвор жестами подзывает Второго санитара. Вдвоём дружно наваливаются на психа, Первый санитар всаживает шприц через одеяло, наугад. Пнув ногой по разу, оба удаляются. Бурьга сидит в той же позе, поджав ноги, и мычит.

БУРЫГА. Когда нас выпустят отсюда?

ДЫЛДА. Кто? (*Бурьга молчит, качается.*) Видишь ли, дружище... держать нас в изоляторе, насколько я понимаю, уже нельзя. Сроки истекли. Но и отпустить тоже нельзя. Мы опасны для нашего демократического общества, особенно ты. Поэтому нас решили подлечить. Теперь мы не столько подследственные, сколько больные. Психбольные. Это гуманная мера. Ты должен ценить заботу о твоём здоровье.

БУРЫГА (*качаясь*) Я хочу домой.

ДЫЛДА. Ну и дурак. Вот я домой не хочу. Правда, у меня дома нет, это другое дело. Была... деревенька в Вятке. Дылдино. Дылдины мы, гужеды. Пока учился, деревни не стало. Корова языком слизнула. Отец, мякинное брюхо, попал под собственный трактор. Напился до бесчувствия и прямо из кабины — кувырк под колеса. Трактор сам по себе, по кругу, сутки ходит, вторые, третьи. Баки полные, чего ему? Колею намаял. А в колее в этой мой родитель, упокойничек. Вот так. Нет, домой я не хочу. У меня, дружище, может, впервые в жизни появилась койка, с которой меня не гонят. Здесь чисто. Кормят. Здесь даже лечат, черт побери... От дури! А мы, вятские, ей-богу, все до одного с прибабахом. Пошехонцы. Так что я житухой доволен. Вполне.

БУРЫГА. Я хочу домой.

ДЫЛДА. Ты стал ужасным занудой. Хотя я отчасти тебя понимаю. Путь познания горек, не каждому по зубам.

БУРЫГА. Они отправят нас на костёр.

ДЫЛДА. Ну-ну! Не сгушай... Эх тебя разбирает. Это мне надо бояться. Три статьи минимум! Нарушение паспортного режима столицы, раз. Бродяжничество, два. Плюс незаконное предпринимательство... Хотя насчёт производства преступных абортов, насколько я понимаю, у них что-то там не стыкуется. А жаль! Чертовски жаль. Кирпич, зараза, опять натянет нам нос.

БУРЫГА. Я хочу домой.

ДЫЛДА. Ну-ка... развяжи. (*Выбирается из-под одеяла. На нём смиренная рубашка. Бурьга развязывает.*) Сегодня ночью я кое-что понял, кажется. Я понял разницу между человеком «травоядным» и человеком «разумным», как мы себя самолюбленно окрестили. МЫ и ОНИ — это два пути в противоположные стороны. Мы содрали с животного шкуру и надели на себя. Чтобы нам было тепло. Они приучили своё тело к холоду. Мы поедали друг друга и всё живое вокруг. Они питались травой и плодами деревьев. Мы приспособливали, подминали Природу под себя. Они приспособливались к Природе. Мы преобразовывали мир вокруг нас, познавая его законы, творили вещи, машины, здания. Они — творили себя, преобразуя свой дух. Познавая его законы. Погружаясь в глубины человеческой психики, в её бесконечные галактики. Мы всегда стояли над Природой, вне её. Они были внутри, были её органической частью. Мы — это цивилизация технократов. Они же, насколько я догадываюсь, пошли гуманитарным путём. Через познание себя, Человека... Так вот. Их след на Земле, который мы не заметили, ибо решили, что всё началось с нас... это целый мир, оставленный нам в наследство. Цветущий и благоухающий. В котором водились даже динозавры! После человека «разумного» останется, вероятно, радиоактивная свалка. Кишащая крысами. (*Заглядывает Бурьге в лицо.*) Э? Андрюха?

БУРЫГА (*качаясь*) Я хочу домой.

ДЫЛДА. Ну-ну. Возьми себя в руки. Ей-богу, всё не так уж плохо.

Дверь открывается, на пороге двое. Что-то выясняют между собой.

ПЕРВЫЙ САНИТАР. Не жмись, не жмись... ну? А то не пушу. Не пушу! Мало ли договаривались... Керосин теперь почём, а? Забыл? (*Щёлкает себя по горлу.*) То-то же. Гони бабло, говорю... Во, другое дело. Эй, психи! Принимай в компанию.

Пропускает в палату Кирпичникова. На Кирпичникове такая же больничная одежда, как на Дылде и Бурьге.

ДЫЛДА. Фью-уу! Иван Бенедиктович, душечка! Не... не может быть. Не верю! Глазам своим не верю... Это какими же судьбами? А? Иван Бенедиктович?

КИРПИЧНИКОВ. Ну-с... вот... Как видите.

ДЫЛДА. Андрюха, гляди, а?.. Рад, Иван Бенедиктович, рад безмерно. Дайте я вас расцелую!

Берёт Кирпичникова за уши и троекратно лобызает в щёки и в лысину.

ДЫЛДА. Душечка вы наш! Ну, проходите, проходите.

САНИТАР. Эй, ты! Новенький... Вон койка, в углу. Там будешь спать. Параша за ширмой.

ДЫЛДА. Иди, иди. Разберёмся.

Санитар уходит.

ДЫЛДА. Да что же это такое, Иван Бенедиктович? Что происходит? Такого человека... Флагман! Гордость отечественной науки — в кутузку? Неужели, о, Россия... некому было даже поручиться? Поднять на ноги мировую общественность, а? Обидно, ей-богу. За державу обидно!

КИРПИЧНИКОВ. Полно-полно.

ДЫЛДА. Рад, рад за вас! От души... Поздравляю. (*Взяв за уши, троекратно лобызает.*)

КИРПИЧНИКОВ. Ну, хватит... довольно! Оставьте ваши шутки. Мы с вами деловые люди, будем говорить всерьёз.

ДЫЛДА. Ну да?

КИРПИЧНИКОВ. Да, батенька, да. У нас мало времени. В обрез. Мы должны успеть договориться. На паритетных началах, голубчики.

ДЫЛДА. Значит, всерьёз? Тогда мне следует вас зашибить, душечка. Насмерть!

КИРПИЧНИКОВ. Вы... вы не посмеете!

ДЫЛДА. Отчего же? Я псих. У меня тут не хватает... Я зашибу счас. И мне ничего не будет!

Хватается за табурет. Профессор падает на колени. «По... помогите!» Ползёт к Бурьге, цепляется за ноги.

КИРПИЧНИКОВ. Андрюшечка... голубчик! Помогите... Не... не забуду! А-а...

БУРЫГА (*качаясь*) Я хочу домой.

ДЫЛДА. Ха-ха-ха! Иван Бенедиктович... ну-ну, спокойно. (*Помогает подняться. Даже отряхивает.*) Согласитесь, каждый из нас внутренне убеждён, что один человек вполне может расколоть другому череп? Пещерные отношения между нами, так сказать, подразумеваются. Ну, об этом после. Хотите, профессор, я вам объясню, в чём заключалась ваша ошибка? Просчёт, как принято сейчас говорить? Когда вы затевали это дело, вы недоучли политическую обстановку на текущий момент. Вы мыслили ещё теми, застойными, категориями. Я понятно выражаюсь?

КИРПИЧНИКОВ. Да, да! Э- э... не совсем!

ДЫЛДА. Бог с вами! На дворе демократия. Свобода печати. Личности возвращают её конституционные права и гарантии... это в России-то! Даже органы,

правоохранительные органы... и те сбрили сталинские усы и стараются соответствовать новым реалиям. Но для этого им нужно... что?

КИРПИЧНИКОВ. Что?

ДЫЛДА. Нужны громкие уголовные процессы. Громкие имена. Согласитесь, новый авторитет обычно создаётся за счёт старого. Низверженного! И вы, Иван Бенедиктович, душечка, оказались тут как нельзя кстати. С вашим всемирно признанным авторитетом. А мы с ним... (*Кивает на Бурыгу.*) Мелкая сошка. Ффу! Небольшой эпизод в вашем большом уголовном деле.

КИРПИЧНИКОВ. Воды... дайте воды!

ДЫЛДА. За вас никто не осмелился даже поручиться. Чего вы, разумеется, не ожидали.

КИРПИЧНИКОВ. Нет-нет, неправда... Ещё не всё потеряно. Мы спасёмся. Мы все... вместе! Надо только договориться. Сейчас я... я всё объясню!

ДЫЛДА. А, так вы за этим сюда пробрались?

КИРПИЧНИКОВ. Дайте же мне сказать! Умоляю!

ДЫЛДА. Хм... валяйте.

КИРПИЧНИКОВ. Суть вся в том, что по нашему с вами уголовному делу открылись новые обстоятельства. В нашу пользу, разумеется. И следствие зашло в тупик. Теперь всё обвинение против нас держится целиком на ваших показаниях. Вернее, на признании вами своей вины. Вины, которой нет. И если вы откажетесь от признания, обвинение лопнет. Как мыльный пузырь.

ДЫЛДА. Так. И вы, профессор, снова окажетесь на свободе?

КИРПИЧНИКОВ. Вместе с вами! Вместе с вами, мои молодые друзья!

ДЫЛДА. Нет. Не пойдёт.

КИРПИЧНИКОВ. Как?! Не... не понял?

ДЫЛДА. Войдите в моё положение, профессор. Я сделал всё, чтобы избавить от вас родную державу. Чтобы принести ей хоть какую-то пользу. Сделал это ценой собственной свободы. Пожертвовал другом. Наукой. И вдруг я сам, своими руками, после всех этих жертв выпущу вас на свободу? Нет, нет и нет! Ваше место здесь. И жаль, что вы не попали сюда раньше.

КИРПИЧНИКОВ (*падает на колени*) У... умоляю! Я старый, больной человек, у меня нарушена перистальтика... по... почечная недостаточность. Умоляю! (*Переползает к Бурыге.*) Андрюшечка! Любимый ученик, самый способный... помогите, пощадите старика! (*Рыдает.*)

БУРЫГА (*качаясь*) Я хочу домой.

КИРПИЧНИКОВ. Вот! Вот! Домой... Он хочет домой! Слышишь? Это ты... ты, мерзавец, сгубил его. Из-за тебя всё... Распорядился чужой судьбой, как своим карманом!

ДЫЛДА. Старый демагог! Ты, кажется, забыл, как он тут оказался? По чьей вине?

КИРПИЧНИКОВ. Он... он сойдёт с ума!

ДЫЛДА. Это серьёзный аргумент. (*Пауза.*) Ладно... что там за обстоятельства открылись? По делу?

КИРПИЧНИКОВ. В нашу пользу! Всё в нашу пользу! Во-первых, чемоданчик, который изъяли у вас при обыске... в чемоданчике не оказалось тех инструментов, которыми... Специалисты это удостоверили. В квартире тоже — никаких бужей, ключей, ничего криминального. Абсолютно. Во-вторых, труп! Труп исчез... главное доказательство.

ДЫЛДА. Исчез труп?

КИРПИЧНИКОВ. Бесследно!

ДЫЛДА. Литает?

КИРПИЧНИКОВ. Да... Вернее, сбежал.

ДЫЛДА. Труп... сбежал? Это каким же образом?

КИРПИЧНИКОВ. Минуточку, минуточку... Есть свидетель.

Семенит к двери. Возвращается с Санитаром. В руках у Санитара шприц.

КИРПИЧНИКОВ. Вот он... свидетель. Ну, ну?

САНИТАР. Чё тут рассказывать? Ну... повезли её, в морг. Обыкновенно, как всех. По дороге, ну это... надо? (*Щёлкает себя по горлу.*) Тормознули к обочине. То да сё, керосиним, значит... в подъезде. Этот был у нас, как его? «Трояр»! По флакону на нос, ну... Напарник, он спиной стоял, а я, значит, гляжу — что такое?! Машина у нас — фургон, дверцы сзади... крр! Открываются. И она... Лезет, ну? Из машины. Ах, ты... Я к ней! Стой, говорю, стерва! И руку ей вот так... (*Заворачивает профессору руку, тот вскрикивает.*) Стой, говорю, стерва... Лезь назад. Она голову на меня поворотила, глаза — как у кошки. Пых! И всё. Стою, как столб. Ни тебе рукой, ни ногой. Будто с похмелюги после денатурату... ну. А она туда... по дамбе сначала, потом вниз. К воде. Колька у меня, напарник, монтировку схватил и за ней...

КИРПИЧНИКОВ. Ну, ну?

САНИТАР. Всё. Ушла.

КИРПИЧНИКОВ. Как ушла?

САНИТАР. Обыкновенно как. По воде.

КИРПИЧНИКОВ. Вплавь, голубчик, да? Вплавь?

САНИТАР. Ещё чё? Пеши... ну.

ДЫЛДА. Врёшь. Ты же пьяный был.

САНИТАР. Хы! Ты Кольку, напарника, спроси... ну. Он с монтировкой за ней... Думал, говорит, по льду уходит стерва. Монтировкой вслед запустил, а монтировка буль... И нету! Сентябрь месяц, откуда лёд? Ну?

ДЫЛДА. Ушла, значит... Аки посуху?

Обходит Санитара кругом, внимательно оглядывает.

САНИТАР. Ну.

КИРПИЧНИКОВ. Спасибо, спасибо, голубчик. (*Суёт кутюру.*) Вплавь или пеши, пусть это пребудет на твоей совести. Главное, суть. А вся суть в том, что других доказательств у следствия нет.

Дылда пядью прикидывает у Санитара объёмы черепа.

САНИТАР. Ты чё? Чё ты... Э?

ДЫЛДА. Отлично. (*Отвлекая вопросом.*) А это... что у тебя?

САНИТАР. Это? Шприц... ну.

ДЫЛДА. Разве такие бывают? (*Обходит Санитара сзади.*)

САНИТАР. Хы! Так это одноразового пользования.

ДЫЛДА. Да?

САНИТАР. Ну. Я тебе десять порций вколю... зараз. И всё, свободен. Сутки дежуришь, трое дома.

ДЫЛДА (*переворачивает шприц*) А ну-ка, возьми его вот так... да. Теперь слегка пригнись. Ноги полусогнуты. Лицо... мышцы лица напряжены, напряжены... Левая рука, фаланги пальцев на табурет... На тебя идёт мамонт. Ты видишь мамонта... Мамонт...

Срывает с Санитара шапочку, растрёпывает волосы.

ДЫЛДА. Поразительно!

КИРПИЧНИКОВ. Что, что такое?

ДЫЛДА. Надбровный валик... обратите внимание? Глаза — маленькие, запавшие. Челюсть... какая челюсть, бог ты мой! Классический неандерталец. Учёный мир

считает, что они вымерли. Все! До последней особи. Ещё в доледниковый период. Мечтают найти хотя бы череп. А они вот... Живут! Среди нас.

КИРПИЧНИКОВ (*цепляет на нос очки*) Да, да... Да, голубчик. (*Оттягивает «неандертальцу» губы, заглядывает в рот.*) Это... это открытие. Сенсационное открытие! Пещерный человек. Живьём. Я... мы с вами вместе это обнаружили, учтите! Это я... я его сюда привёл!

ДЫЛДА. Совсем нет затылочной части... Лобные доли узкие, клювовидные. Поразительно.

КИРПИЧНИКОВ. Мы вместе... вместе! Слышите?

Дылда щёлкает пальцами у Санитара перед носом.

ДЫЛДА. Довольно, приятель. (*Санитар обмякает.*) Я, пожалуй, соглашусь с вами, профессор. Считайте, отказ от моих показаний у вас в кармане. В конце концов, пусть время само решает, кому быть его героем.

КИРПИЧНИКОВ. Наконец-то, голубчик! Да я... да мы... Мы с вами... на международный конгресс. Кафедру... обещаю!

ДЫЛДА (*приглядываясь*) Кстати, профессор... одну минуту. Встаньте сюда... пожалуйста. Я вас прошу. Вот так... Слегка пригнитесь. Это в правую руку... (*Забирает у Санитара шприц, отдаёт Кирпичникову.*) Лицо... лицо напряжено... Вы видите мамонта.

Профессор отшатывается. Взмахивает шприцем, как дубиной.

КИРПИЧНИКОВ. Ну, ты... фря, интеллигентская!

Квартира. Полумрак. Свет от уличного фонаря падает через окно. В спальне ещё темнее. На кровати едва угадывается силуэт сидящего, поджав ноги, человека. Тлеющий кончик сигареты равномерно покачивается из стороны в сторону.

Звонок в дверь. Тлеющая точка вздрагивает и на мгновение замирает. Потом маятниковые движения возобновляются. Снова звонки в дверь. Настойчивее... Наконец, дверь открывается. Кто-то на ощупь входит в прихожую.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Не заперто. Как всегда... Ой! Вы отдавили мне ногу!

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Прошу прощения, ласточка. Виноват.

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС. Включите свет, что ли? Как вы неразворотливы... о, боже!

МУЖСКОЙ ГОЛОС. Где тут... минуточку. Сейчас, сейчас...

Вспыхивает свет. В гостиную проходит Алла.

АЛЛА. Ау-у! Здесь есть кто-нибудь?

На ней великолепное меховое мантио, должно быть, из Парижа. На лице яркий макияж. Посреди запущенной, захламлённой квартиры Алла выглядит очень контрастно. Кирпичников топчется в прихожей, отряхивая с бобровой дохи снег.

АЛЛА. Бардак... совершенный. Фи!

КИРПИЧНИКОВ. Что? Никого?

АЛЛА. Накурено...

Толкает дверь в спальню. Щёлкает выключателем. Бурыга сидит на кровати, укутавшись пледом. Перед кроватью табурет. На табурете бутылка вина, стакан и пепельница.

АЛЛА. О-о!

КИРПИЧНИКОВ. Андрюша, голубчик! А мы тебя ищем. А ты во-он где спрятался... какой хитрый. Агу, агу. Ну, дай тебя обниму. Рад, рад. (*Присаживается рядом.*) Э... а что Дылда... то есть, Владимир... Володичка, он где? А? Не знаешь? Он ту-ту! Далеко-далеко?... И не приезжал? Нет? А может, он письмо прислал тебе? Или, скажем, телеграмму, а? (*к Алле*) Ласточка, не сочти за труд, взгляни, может, где-то на столе завалилось.

БУРЫГА (*качаясь*) Я хочу домой.

КИРПИЧНИКОВ. У него иногда бывают просветления. Но сегодня... По-моему, с ним бесполезно разговаривать. Он пьян, к тому же.

АЛЛА. Позволь, я сама.

Профессор идёт в гостиную. Шарит по столам, в столах и т.д.

АЛЛА. Бурьжка, это я... Алла. Ну, ну... смотри сюда. Я — Алла. Ты меня узнаёшь?

Шлёпает его по щекам, довольно сильно. Бурьга отодвигается. Потирает ушибленные щеки.

АЛЛА. Ты меня узнал, да?

БУРЫГА. Ещё... ещё бы.

АЛЛА. Наконец-то! Нет-нет... тебе нельзя больше. *(Перехватывает бутылку.)* Боже, что за дрянь ты пьёшь!

На пороге появляется Кирпичников. В пальцах ключ.

КИРПИЧНИКОВ. Ласточка, я сейчас, один момент. Проверю почтовый ящик. *(Исчезает.)*

Бурьга подозрительно переводит взгляд с Аллы на Кирпичникова и обратно.

БУРЫГА. А ты что... с этим? Этот гриб и ты... вы того, да? А? Ха... Ха-ха... Ха-ха-ха!

АЛЛА *(вскакивая)* Ну и что?

БУРЫГА. Ха-ха-ха!

АЛЛА. Лучше быть любовницей академика, чем женой неудачника!

БУРЫГА. Ха-ха-ха... О, ха-ха-ха! Любовница...

АЛЛА. Идиот!

БУРЫГА. При Кирпиче... ха-ха-ха... при Кирпиче можно быть, ха-ха-ха... только сиделкой. Ха-ха-ха!

Новая оплеуха обрывает смех. Бурьга начинает качаться. Вперёд-назад. Как болванчик. Входит торжествующий профессор. С конвертом.

КИРПИЧНИКОВ. Есть! В ящике... Две недели лежит, судя по штемпелю. Так... Ну-ка, ну-ка? *(Вскрывает письмо, читает вслух.)* «Андрюха, дружище! Как получишь моё письмо, упаковывай чемоданы и сразу в аэропорт. Не забудь дать телеграмму. Ты знаешь, куда. Буду встречать. Я сделал потрясающее открытие, просто в голове не укладывается. Чтобы осмыслить всё в полном объёме, нужна ещё одна точка зрения. Твоя. Противоположная. Что именно — не сообщаю. Пусть это станет для тебя сюрпризом. Увидишь Кирпича... так-так! Увидишь, Кирпича, передай ему, что он — говно... Кхм! Мда... Обнимаю. Жду. Дылда». *(Мычит, как от зубной боли.)* Открытие... Снова! Снова открытие!!! И кто? Кто, кто, кто?! Мальчишка... сопляк! Ничтожество! *(Топочет, потрясает кулаками.)* Господи... боже милостивый, за что? За что мне эти пытки? Почему-у... почему он есть?! Уничтожь, растопчи, смешай с дерьмом... Господи! На кол, на кол его!!! О-о...

АЛЛА. Ну и... что теперь?

КИРПИЧНИКОВ. Как что? Как что?! В аэропорт! Немедля! Она наверняка там. С ним... эта ископаемая. *(Порывается бежать.)*

АЛЛА. Адрес! Где адрес?!

КИРПИЧНИКОВ. Что значит, где? Вот... *(Крутит конверт.)* До... до востребования. Мм-ых! Даже город не указал... Андрюшечка, голубчик... умница, мы же вместе, да? Вставай, вставай, я прошу. Вот так, так... умница. *(Вытаскивает Бурьгу из постели.)*

БУРЫГА. Я хочу домой.

КИРПИЧНИКОВ. Домой... обязательно домой. К Володичке. Он ждёт тебя. *(Ведёт в гостиную.)* Ты дашь ему телеграмму. Мы приедем и будем вместе двигать вперёд науку.

БУРЫГА (*отшатывается*) Науку?

КИРПИЧНИКОВ. Именно! Отечественную на-у-ку.

БУРЫГА. Науку... Ха... Ха-ха... Ха-ха-ха... Ха-ха-ха-ха...

Смеётся в глаза. Приступами. Держась за живот. Смех становится гомерическим. Бурыгу шатает от смеха из стороны в сторону... Профессор и Алла подхватывают несчастного под руки и силой волокут к двери. Вон. Затемнение.

ЭПИЛОГ

Квартира. Бурыга, одетый бомжем, слоняется по квартире. Собирает по углам пустые бутылки и складывает в авоську. Остатки допивает из горла. Потом, посчитав бутылки, идёт в прихожую. В этот момент вслед трезвонит телефон. Бурыга, не обращая внимания, нахлобучивает шапку, подхватывает вторую авоську, открывает дверь... Телефон продолжает надрываться. Бурыга переступает порог, но, поколебавшись, возвращается. Долго стоит над телефоном... звонки не прекращаются. С опаской тянется к трубке, отдёргивает руку... Наконец, решается снять.

БУРЫГА. Слушаю?.. Кто?.. Повторите, не понял?.. Дылда... ты, что ли? (*Кисло.*) Угу... привет... Ну, рад, рад, конечно! Столько не виделись. Ты, хотя бы... где попадаешь?.. Где, где? В Канаде... Тебе чего, в родном отечестве мерзлоты не хватило, в Канаду подался?.. А-а, по приглашению... Что-что? Меня тоже приглашают? Даже ждут... с нетерпением? Ага, сейчас... бутылки только сдам и сразу... Нет, нет... всё! Всё, говорю, Мне эти твои дела теперь по кочану... Да, выпиваю... Пьян, да... Ну, и что? Да пошёл ты! У меня дырка в черепе! Дыра, понял?! Сквозняк гуляет...

Опускает руку с телефонной трубкой. В трубке слышно, как что-то клокочет и кипит. Постояв, Бурыга кладёт трубку на место и идёт в прихожую. Наклоняется к бутылкам... в это время снова начинает трезвонить телефон. Бурыга делает в сторону телефона «болта», берет в обе руки по авоське и — уходит. В пустой квартире продолжает трезвонить телефон.

Вдруг на лестничной площадке раздаётся грохот, звон бьющейся посуды. Дверь настежь — из прихожей в гостиную решительными шагами проходит Бурыга. Хватает трубку.

БУРЫГА. Всё! Всё! Договорились... (*Нашаривает бумагу, ручку.*) Диктуй адрес. Адрес, говорю... Ну? (*Что-то пишет, бубнит при этом.*) Понял, понял. Как только, так сразу...

КОНЕЦ

От редакции. И ещё один юбилей, мимо которого мы никак не можем пройти. 30 апреля нынешнего года члену редколлегии журнала «Аргамак», нашему дорогому читателю и автору, заведующему отделом прикладных исследований и проектов Департамента Президента РТ по вопросам внутренней политики Рустэму Бадретдиновичу ГАЙНЕТДИНОВУ исполнится 60 лет. Искренне поздравляя его с приближающейся датой, желаем здоровья и творческого долголетия!





О НЫНЕШНЕМ, О ПРОШЛОМ, О ГРЯДУЩЕМ

«КУ-КУ!»

О чём кукушка на суку
Заводит древнее «ку-ку!» —
О нынешнем,
О прошлом,
О грядущем?

Затихли чайки на волне,
Молчат русалки в глубине,
И смолы в жилах ели
Янтарно загустели.
— Ку-ку! —

И ты прислушалась, грустя,
Как любопытное дитя,
Забыв про белый свой цветок
И про последний лепесток.
— Ку-ку! —

Втянулось время в циферблат,
И, словно айсберги, стоят
На Волге летней корабли.
Не долетела до Земли
Падучая звезда.
— Ку-ку! —

И дождь завис на полпути,
И самолётам не пройти
Сквозь вакуум тягучий,
Втянувший дождь и тучи.
— Ку-ку! —

И ножниц ход недвижим, крив,
Ткань савана не докроив...
Заело смазанный боёк,
Что к капсюлям всегда жесток.
А на рябиновом суку:
— Ку-ку! —

И чья-то важная рука
Не ставит подписи пока,
На первой букве встала,
Так, словно приустала.
— Ку-ку! —

Расправив белые крыла,
Готова песня в путь была
Рвануться из моей груди,
Но кто-то шепчет: погоди!
— Ку-ку! —

И Землю старую разъяв
И формулой её объяв,
Остановилась мысль на миг,
И тотчас и её настиг
Кукушки крик:
— Ку-ку! —

О чём кукушка на суку
Заводит древнее «ку-ку!» —
О нынешнем,
О прошлом,
О грядущем?

Уходит голос эхом ввысь.
Кукушка, не остановись!

* * *

Ты спишь, Казань...

Я тоже смежу веки,
Но мне не спится в полуночной мгле.
Лик неба,
Зачарованный навеки,
Глядит,
Как бродят вьюги по Земле.
Сююмбике грустит среди туманов,
Над озером Кабан метут снега.
И минаретом строки из дастанов
Нашёптывает белая пурга.
Ты спишь, Казань,
Мой белоснежный город!
Твой белый цвет сильнее темноты.
Снежинками на неба чёрный ворот
Слетают звёзд лучистые цветы.
И кажется, что есть всего два цвета:
Что жизнь бела, а смерть черным-черна.
Так не жалея серебряного света,
Укутанная тучами луна!
Казань,
Ты спишь в заснеженной постели
И видишь что-то в чёрно-белом сне...
Баюкают с тобою нас метели,
Так почему всю ночь не спится мне?

СМЕХ И СЛЁЗЫ

Был весел смех, да горек привкус слёз.
И плакал я, беду от мира пряча.
Трава была холодною от рос,
И камень жёстким был, как неудача.

Когда бы рвать рубаху на груди
И на людях в слезах-рыданиях биться,
Смеялся я — прости, судьба, прости!
...Но никому такое не простится.

А там, где б засмеяться во весь рот,
Обиду злую посчитав за малость,
Я городил до неба огород...
И только диву жизнь моя давалась.

А после за меня взялась всерьёз,
Всему учила щедро вперемежку.
И я теперь смеюсь, не пряча слёз.
А если плачу — не таю усмешку...

ОТРЫВОК

Мударрису Аглямому

Как в древнем граде тяжкая ладья
Бросала ржавый якорь у причала,
Так в сердце мне пришла сегодня грусть
И, в лёд вмерзая, на стоянку встала...
А хочешь, друг, мой маленький гигант,
Скажу, что мы с тобою — как ракеты.
Отличие в том, что в атмосфере чувств
Сгорают прежде изнутри поэты.
Останется от нас хоть уголёк —
Раздует ветер наше пламя снова!
В Отечестве, да будь ты хоть щенок,
Но за него протяжкой своё слово!
В груди у нас горит один огонь —
Как шаровая молния сжигает,
То вознесёт нас в неба синеву,
То вновь на зимний лёд нас низвергает.
По шёрстке не погладят — не вздыхай!
В Отечестве своём, да будь хоть волком!
Но только вой за свой родимый край —
Ведь лучше быть,
Чем плакать втихомолку...

КУПАЮЩИЕСЯ КОНИ

Кони — как надежда, мчат, куда живы.
Кони — как надежда, не жалеют сил.
Некогда подумать. Скачут, скачут,
скачут —
Им и в ханском стойле будет свет не мил.

Кто их погоняет — Алпамыш могучий,
Кто там на хребтине — чёрный Шурале?
Кто верхом там скачет — счастье ли
людское
Или же несчастье скачет по земле?

Разбивают камень дробные копыта,
И цветы восходят, где оставлен след.
Колыханье гривы порождает ветер,
Ветер разгоняет тучи чёрных бед!

Эй, волна-гулёна! Что, сыта рассветом?
 Что склонились, ивы? Росы тяжелы?
 Ик переплывают сказочные кони,
 Что белее снега и черней смолы...

ГРИБНОМУ ДОЖДЮ, КОТОРЫЙ ПОЙДЁТ ВЕСНОЮ 2072 ГОДА

Весна 1972 года, Казань

От солнца певчих дней — тебе привет,
 Привет и от улыбчивой весны,
 Цветы тебе улыбок шлют букет,
 Прими поклон и от речной волны!
 От дальних сёл с черёмухой в цвету,
 Колодезного журавля торчком,
 От птиц, всю жизнь поющих на лету,
 От жеребёнка, что за красоту
 Причёсан ветерком, как гребешком —
 Дождь солнечный,
 Привет тебе, привет
 И правнукам, которых ещё нет!
 Ты сеешь свой прозрачный мокрый прах
 На чудом сбережённые луга,
 И девушка в дождинках-жемчугах
 На ту похожа, кто мне дорога!
 Она смеётся солнцу и дождю,
 И радуги в глазах её видны...
 Перед любовью, видно, и у вас
 Все юные по-прежнему равны!
 Мы складывали песни от души,
 Поют ли их потомков голоса?
 Вершины, неприступные для нас,
 По-прежнему ли манят в небеса?

А жив ли наш родительский язык?
 Не занесло ли илом наш исток?
 Стихов Тукая яростный родник
 Не затаил ли времени песок?
 Мосты, соединявшие века,
 Обрушились иль всё ещё целы?
 На правнуков глядим издали,
 Но это же не значит,
 Что из мглы!
 Шуми легко, грядущая листва!
 Дождь будущий, смелее барабани!
 Тебе с твоих высот давно видна
 Тысячелетняя третья Казань!

По-прежнему ли в милой стороне,
 Серебряными звёздами полна,
 Струится Ик-река,
 И по ночам
 Глядится в реку
 Круглая луна?
 У нас всё хорошо — весне хвала! —
 И дождь,
 И солнце в майской синеве,
 И радуг невесомые тела
 Запутались в травинках
 И листе...

* * *

Когда твои ресницы были влажны,
 Когда в слезах встречала ты рассветы,
 На площадях стихи читал я важно,
 Стремясь утешить всех людей планеты.

Когда ты от меня ждала хоть слова,
 Смотрел я, как безумный, в лист бумаги,
 Своим трудом весь мир спасти готовый,
 В глазах твоих не видя горькой влаги.

Когда в глазах твоих стояли слёзы,
 Я жёг себя и Космос грел усердно,
 Не чувствуя, что белые морозы
 Наш выстудили дом немилосердно...

СТРАННАЯ СИТУАЦИЯ

Как Волга продолжает подо льдом
 Привычный путь невидимым потоком,
 Так и любовь к тебе свой торит путь,
 Покрывшись льдом на холоде жестоком.

«Люблю» замёрзло, словно воробей,
 И леденеют на морозе губы.
 Не клеются все дубли — хоть убей!
 Судьба же — режиссёр довольно грубый.

Себе или тебе хочу помочь?..
 Но есть другой, кто руки твои греет.
 Да только ночь сегодня холодна,
 И рук твоих согреть он не сумеет.

Согреет руки... Есть ещё душа,
 Она отгадывает, знаю я, не скоро.

«Люблю!» — ему бормочешь ты, спеша...
Последний — злобный — окрик режиссёра.

ПРОСТИ

За нежность прости — что пришла
запоздало,
За вёсны прости — их зима задержала,
За взгляды прости — что увидели мало,
За речи прости — если слёзы глотала...

За то, что теперь неприкаянны руки,
За то, что привычна нам горечь разлуки,
За то, что уходят года торопливо,
За то, что душа чересчур терпелива...

Прости же за всё, улыбаясь сквозь слёзы,
Как я это сделал... тогда... у берёзы.

СПЕШКА

Ты мчалась, жизнь, сгорая, как в огне,
Летели мимо города и годы.
Вдруг спохватился я: довольно мне!
Ведь я иной, медлительной природы!

Спешил всю жизнь, да сам не знал куда.
Напрасно вслед мне щебетали птицы,
Луга цвели, текла в ручьях вода.
...Ведь мне казалось, надо торопиться!

«Любила я...» — мне слышится из тьмы,
Но без имён мелькают смутно лица.
Бежал я от любви, как из тюрьмы.
...Ведь мне казалось, надо торопиться!

При встрече мой товарищ хмур, как ночь.
Молчит. Но взгляд его колюч, как спица.
Всё недосуг в беде ему помочь.
...Ведь мне казалось, надо торопиться!

Сияет снег вершины из-за туч.
Вершина мне могла бы покориться.
Но я промчался мимо этих круч.
...Ведь мне казалось, надо торопиться!

Мечта — дворец. Но этого дворца
Я не достроил. И мечте не сбыться.

Раскиданы лишь камни у крыльца.
...Ведь мне казалось, надо торопиться!

Все молнии остались в облаках,
Они уже не приближают грозно.
Спешил-то я на совесть, не на страх.
Примчался.
Не туда.
И — слишком поздно.

* * *

В кострах осенних — дымная печаль.
Грустит природа, ей былого жаль.
Осенняя пора — пора ухода,
Поэтому печалится природа.

С гудком уходят в дали поезда —
Туда, где люди молоды всегда,
И косяками улетают птицы
За горизонт, куда зовут зарницы.

Как опадает с дерева листва,
Так в чувствах нет былого озорства.
И жизнь моя проходит, как чужая.
Уж осень... А не видно урожая.

А я ли не сгорал в огне живьём!
А я ль не пел июньским соловьём!
Не я ли облетел моря и горы —
Земли родной бескрайние просторы!

Грустит природа, ей былого жаль.
В кострах осенних — дымная печаль.
Потрескивает искорками пламя,
Сжигая в пепел всё,
Что было с нами...

* * *

Ты любишь ливни, я люблю снега.
Ты о дождях мечтаешь среди вьюги.
Мне снится летом снежная пурга.
Что делать, зная это друг о друге?
Задумавшись, мы чуда ждём с тобой.
Глянь, двинулись громады туч набегом.
И небосвод, недавно голубой,
Нам дарит своё чудо — дождь со снегом.
Ты скажешь: хватит, расстаёмся мы!

Я соглашусь, что песенка допета.
И ливень грянет вдруг среди зимы,
И снег повалит в середине лета.
И что-то вдруг в глазах твоих блеснёт:
Дождинка, скажешь ты, ну что такое!
Снег к голове, ответчу, так и льнёт,
И трону седину свою рукою.
Сказать бы нам друг другу: подожди!
Но молодость растаяла в тумане.
Ты навсегда ушла в свои дожди,
Я навсегда застрял в своём бурене.

БАЛЛАДА О ГАРМОНИСТЕ

Пусть круглая печалится луна,
А нас, тоска-кручинушка, не тронь!
Давай, сыграй-ка нам, Габдель-абзы,
Вытаскивай скорей свою гармонию!
И растянул Габдель-абзы меха,
А на самом от грусти нет лица,
И так печально заиграл старик,
Что сжались даже чёрствые сердца.
Затих наш деревенский сабантуй,
Светило солнце в спины горячо,
Играл, закрыв глаза, Габдель-абзы,
Надев ремень на старое плечо.
Он пальцами касался наших душ,
Он знал,
Где наше счастье, где — беда.
Мелодия струилась не спеша,
Как в летних ручейках бежит вода.
О том, что было с нами, тоже знал.
Ёщё он знал о том, что впереди...
А впереди нас ожидала жизнь,
И ныло сердце сладостно в груди.
И мы не замечали, что старик
Играет только правой рукой,
Хоть знали:
Нету левой у него,
Что он ещё с войны пришёл такой.
Но мы тогда не ведали о том,
Что боль и нежность в тех сердцах сильна,
Которые и злобой, и огнём
Не одолела прошлая война.
Играет однострунный гармонист,
И парень, победивший всех в борьбе,
Быка унёсший на своих плечах,
Вдруг зарыдал — неужто о себе?
Концерт окончен. Ну, сыграй ещё!

Гармонь, устав, на лавочке лежит.
Тут несмышлёныш старика спросил:
— Зачем обрубок у тебя дрожит? —
Кто слышал, рассердились на него:
— Эй, что ты там такое говоришь!
— Оставьте! — им сказал Габдель-абзы. —
Сейчас я объясню тебе, малыш.
Когда беру я эту вот гармонию
И начинаю что-нибудь играть,
Мне кажется, что на моей руке
Опять целы все пальцы — ровно пять!
И кажется, что ими я бегу
По кнопкам — перламутровым басам,
И ничего поделывать не могу,
И мой обрубок дёргается сам... —
Вздохнули все: проклятая война...
А скольких потеряли навсегда!
Несложные песни и стихи —
Ничем не восполнимая беда.
...И словно боль в тех пальцах на руке,
Которая потеряна в бою,
Народ навеки в песнях сохранил —
О тех, кто не пришёл, — печаль свою.

* * *

М. Джалилю

Беркуту петь о любви не дано.
Петь о любви соловью суждено.
Создан один для стремительных битв.
Создан другой для любовных молитв.

Кем же из них был бессмертный Муса,
С песней взмывающий под небеса?
Беркут, запевший пред битвой своей,
Или летящий на смерть соловей?

БОЛЬ

Я не хочу утратить эту боль,
Я знаю
как в душе её сберечь?
Готов я сам на рану сыпать соль,
Чтоб жизнь свою во мраке устеречь.

Судьба не стала тратить лишних слов.
И, как цветок на солнечном лугу,
Тебя из жизни выдернув моей,
Не оглянулась даже на бегу.

В горах ночных ты скрылась навсегда.
В крошечной тьме тебя мне не найти.
Пусть ноет моя рана — не беда!
Пока болит, я не сойду с пути.

* * *

Когда-то по-младенчески упрямо
Уста твои пролепетали: мама!
Ты был в стихии речи, как птенец,
Когда впервые вымолвил: отец!

Завещанную предками в наследство,
Ты речь родную постигаешь с детства.
Но лишь тогда ты свой язык постиг,
Когда прошепчешь «мама!»
в смертный миг.

Переводы Марата АКЧУРИНА

БЕРЕГ

Нет, нет, не уходи, не надо
Я тебя
спасу от зим.
Мне кажется — метель
так почему-то на любовь похожа нашу...
Глаза поднимешь — словно с облаков
слетает снег...

Но счастье этот дом
покинуло,
когда в природе побелело.
Мужчинам не пристало — умолять.
Тепло и свет твоей косы хранит подушка.
Душа пуста, как улица ночная,
и снег идёт, ночной пустынный снег.
Боюсь — разверзнется крутой высокий яр,
где ты меня оставила... Стою
на берегу, как на черте последней,
готовый в пропасть тёмную шагнуть.
Ведь ты другого полюбила так же крепко,
как я тебя люблю, моя родная.
Такая мне, видать, любовь досталась,
что снова наша улица — узка...
Стою на берегу, где шар земной
отныне на две половинки раскололся.
Мужчинам не пристало — умолять.
Но только им от этого не легче.
Метёт метель... Снежинки, словно судьбы,
летят, летят... И не всегда — к добру.
Пусть будет улица твоей любви
счастливой,
пусть по весне шумит зеленою листвою,
зимой — пусть осыпается над нею
снег белый, мягче нежности твоей.
О, как высок и крут полночный берег,
где ты меня оставила. Стою
на берегу своей судьбы, над бездной.
Как пусто в мире — только я и снег...

Перевод Николая БЕЛЯЕВА

От редакции. Сердечно благодарим Ларису Николаевну Маликову, ответственного секретаря журнала «Сююмбике», за предоставленные для публикации материалы из творческого наследия поэта Зульфата (Маликова Дульфата Гусмановича).

«И НЕЖНЫЙ, И МЯТЕЖНЫЙ...»

Если уж делить всех поэтов — условно! — на поэтов мысли и поэтов чувства, то Зульфат, конечно, окажется во втором «лагере». Его чувства, переживания, малейшие движения души (до чувствований и предощущений) порой уплотняются, материализуются до детали и даже вырастают в целый сюжет:

*Когда воюют счастье и печаль
В душе, как два враждебных государства, —
То лёд и пламень бьются — два меча, —
И кажется, предела нет мытарствам.*

*Но хуже, если в облике друзей,
Беседуя без шума и без крика,
Средь бела дня по улице моей
Печаль и счастье шествуют в обнимку...*
(Пер. Р. Кожевниковой)

Столь обострённое внимание к душе обусловлено у Зульфата, по всей видимости, пониманием того, что только ей по силам преодолеть *неизбежное*, переступить за грань этого мира. Рассудок же, мысль — только поводыри, помощники в человеческой жизни:

*Когда я вижу трепет леса,
Взывать к рассудку бесполезно —
Я чувствую в час листопада,
Что исчезаю — и исчезну...*
(Пер. Л. Газизовой)

Но даже читая такие «безнадёжные», казалось бы, строки, душа не обнимается холодом смерти, ужаса, а, благодаря теплу близкой души поэта, как бы преодолевает его. Хотя стихов об уходе, о распаде у Зульфата столь много, что впору вспомнить строки романа И. А. Бунина «Жизнь Арсеньева»: «В силу чего русской душе так мило, так отрадно запустение, глушь, распад?». Видимо, татарской душе — тоже, что лишний раз подтверждает нашу с русским людьми духовную общность, созданную веками совместного общежития.

Перед лицом «распада» понятны попытки поэта ухватить, запечатлеть, увековечить миг жизни:

*Весенний ветер веет...
И под настом
Стать половодием снега спешат!
...А вечером — журчанье,
и прекрасен
в паденье торопливом снегопад!*
(Пер. Л. Газизовой)

Эти строки стихотворения «Весна» рисуют не просто пейзажную картинку, а состояние души. Момент предстояния души перед вечностью оказывается некой *точкой*, с высоты которой происходит оценка человеческих ценностей, жизни, всего бытия. И эта *точка*, этот *миг* — сами по себе категории вечностные, поскольку являются понятиями сущностными.

У Зульфата есть даже стихотворение с таким названием — «Точка»:

*Нырни, уйди в мечты! И пусть же — вся! —
Явь словно сон нелепый исчезает.
Пушай замёрзшая душа твоя
Оттаёт и уже не замерзает!*

*Вот с этого момента жить начнёшь,
И жизнь твоя веками будет длиться,*

*Все чувства неувядашими найдёшь.
Мечтай! И волшебство тогда случится.*

*Пуškai дивятся всюду и всегда.
К мечтателям, и нежным, и мятежным,
Смерть не придёт... но будет точка, да...
Которая растает неизбежно.*

(Пер. Л. Газизовой)

Итак, точкой оказывается мечта, призванная осуществить оттаивание души в мерзлоте существования. У Зульфата это не умозрительно-отвлечённая идея, не фикция, это *момент*, с которого начинается приобщение к истинной жизни, к вечно-му существованию души. «Чувства не увядшие» бурлят в ней, парадоксально образуя взрывную смесь *нежности* и *мятежности*. И что такое смерть для такой души? Всего лишь точка, которая «растает неизбежно». Быть может, с такой изначальной точки началась когда-то целая Вселенная? Вот и твоя душа развернётся в иное бытие — и начнётся всё с самого начала. Таковы пространства *мечты* поэта, которой, возможно, с годами найдутся и вполне научные обоснования.

В поэтическом мире Зульфата важными оказываются те пространства, в которых душа *витает*, — в изначальном, старославянском, высоком значении этого слова: «жить, получать приют, пребывать где-нибудь» («Словарь церковнославянского языка» А. Х. Востокова). Прежде всего — весна. Что она значит для поэта, мы уже отчасти сказали при разговоре об одноимённом стихотворении. Этим словом открывается и стихотворение «Тишина» — одно из лучших как у Зульфата, так и вообще в современной татарской лирике. Весна оказывается мигом пробуждения человека, его души, моментом её возвращения в те нивы, откуда она пришла в юдоль земную. Для Зульфата — это пространство вселенской тишины и пространство весны-мечты:

*Весной однажды я во тьме проснусь
В минуту пробужденья вешних почек
И вдалёк уйду, исчезну, растворюсь
В той тишине, что в сны приходит ночью...*

*И дремлющему озеру в лесу
Я истолкую всё, что только снится,
У тучки из озёрных снов спрошу
Легко и просто: «Как дела, сестрица?!»*

*И ласточка над озером, как вздох,
Взлетит, а тень её на дне растает.
Заговорю на языке цветов,
На языке ветров раскрою тайны...*

*Плеснётся в мои мысли свет берёз,
Вольётся в мою нежность шелест листьев.
Ответь задавшим обо мне вопрос:
«Ушёл в весну свою, не возвратится...»*

*О суетной земле я свой рассказ,
О том, как жил здесь, тишине доверю.
Лишь мимоходом навестил я вас –
Дорожная одежда — возле двери.*

*Отправляюсь в путь единственный, когда
Дыханьем тишина меня коснётся.
И, словно повторяя тень со дна,
Над водной гладью ласточка взовьётся...*

(Пер. Р. Кожевниковой)

Всё здесь есть, чем характеризуется лирика Зульфата: естественность поэтической интонации (о самом важном сказано по-человечески просто, ясно); тончайший лиризм самовыражения, получающийся под пером поэта из той самой парадоксальной смеси нежности и мятежности; мотив полного, без остатка, растворения в природе, в мироздании; мотив ухода, смерти, решённый в унисон есенинскому смысломотиву «в этом мире я только прохожий». И даже «кольцевое» решение темы указывает на близость к Есенину. К слову, у Зульфата вообще много есенинского, но не в «подражательском» смысле, не столько даже в тематике, сколько в глубинном — в лиризме, обусловленном думами о душе.

Возвращаясь к рассматриваемому стихотворению, отмечу, что, при всём риске сопоставления поэтов, «кольцо» у Зульфата призвано выразить принципиально иную точку зрения. В середине стихотворения ласточка, образом которой оно завершается, сравнивается со «вздохом». А финал произведения оборачивается как бы новым «вздохом», продолжением жизни души.

Но устремлённая в неведомые и лишь *предчувствуемые* ею выси, душа поэта не забывает о земном. Будучи «нездешних нив жилищей» (С. А. Есенин), она насыщается мигами, картинками, переживаниями, которыми её питает реальность. Этим мотивируется стиль поэта, который иначе, как *живописующим*, не назовёшь. То, как он кладёт поэтические «мазки», мне более всего напоминает манеру художника А. А. Пластова: ярко, красочно, я даже сказал бы — знойно-красочно. Чувствование реальности столь экспрессивно, что доведено до детали. Жизнь познаётся во всей её полноте и многообразии, полнокровно — всеми органами чувств. Даже если речь идёт *всего-то*, казалось бы, о *запахе хлеба*:

*На потрескавшуюся от зноя
землю,
ударяясь о жёлтую стерню,
падают налитые зёрна.
Задевая горячие усики кузнечика,
остаются на широких листьях осота.
Волглый ветерок с лесных полей
легче паутинки,
и похожий на прозрачный стяг лета,
кольшит марево горизонта.*

Хлеб...
 Каравай, прижатый к груди матери
 перед тем, как разломать, обжигаясь,
 на куски,
 обдающий белым душистым парком
 порозовевшие мамины щёки,
 губы в улыбке.
 Ах, хлеб...
 у солдата, упавшего навзничь
 на развороченный взрывом бруствер
 посреди красного снега,
 в котомке за спиной
 застывшая за сутки краюха.
 Собака пытается перевернуть
 безжизненное тело.
 Ах, запах хлеба...

(Пер. Р. Кожевниковой)

Это стихотворение даёт возможность наглядно увидеть своеобразие развития поэтического образа у Зульфата. Вначале мы видим реалистическую, выписанную до «усиков кузнечика», картину наливающейся зноем хлебной нивы. Затем образ хлеба, как некий сигнал, вызывает воспоминание о детстве, о матери. Это уже психологическая картинка, овеванная памятью, оттого обретающая в некотором смысле мифическое, даже символическое значение — символ согретого материнством детства. Обогатившись этим значением, опять-таки в реалистической картине с погибшим солдатом хлеб входит в противостояние со смертью. И сюжет становится глубоко символичным. Казалось бы, можно ставить точку: стихотворение стало до боли пронзительным по звучанию. Но поэту этого мало: ведь не со смертью он связывает образ хлеба. Хлеб для него — символ Жизни. Для выражения этой поэтической мысли ему и понадобился образ собаки, переворачивающей труп ради краюхи хлеба — чтобы выжить. И две-три финальные строчки решают всё. Подобный приём является типологической особенностью поэтического почерка. Последние строки «взрывают» эмоционально-смысловой пласт стихотворения, в чём проявляется «мятежность» лирики поэта — при всей её сердечности, сокровенности, интимности, «нежности»:

Ушла, единым взглядом обвинив,
 И вёсны унесла навек с собою.
 Лишила меня солнца и луны,
 У сердца отняла всё дорогое.

Без неба, без дыханья, без тепла
 Я умереть желал безумно!
 Но даже смерть с собой ты унесла,
 И я... не умер.

(Пер. Р. Кожевниковой)

Такова, по Зульфату, сила любви, её жизнедарующая, жизнеспасительная роль в жизни человека. Любовная лирика поэта требует к себе особого внимания, поскольку в его стихах лирический герой ничем не прикрыт, душа его оголена, отчего искренность поэта, а также мужество самораскрытия не вызывают сомнений. Поэт и человек (автор) в стихах Зульфата совершенно нераздельны, что и рождает лирические строки высокого накала и звучания.

Любовь всё-таки является для поэта основой его гармонии с миром. Но обретается эта гармония путём пламенного горения души. А мотив огня, горения является сквозным в творчестве Зульфата:

*В дрожащем пламени костров осенних есть
Своя печальная особенная весть...
Остались поцелуи на губах — пылать!..
Осталась жажда глубоко в сердцах пылать!..
Да, было время — полыхал большим огнём,
На ветке вербы заливался соловьём,
Врывался в дали золотистые стремглав,
Парил свободно во владениях орла,
И у безбрежных рек мне был доступен яр!..
Всё в прах...
Костёр осенний — сердце...*

(Пер. Р. Кожевниковой)

Таков костёр души поэта и человека. Но с годами в стихах начинают полыхать вполне реальные костры, как, например, в стихотворении «Горим!». В нём картины лесных пожаров, символически сопряжённые с трагическими событиями в Хиросиме, Нагасаки, перерастают в пожар эпохальный, пожар времени, когда горит всё человеческое. Несмотря на глобально символическое решение темы, стихотворение не отрывается от реалистической первоосновы: всё происходит на самом деле, на глазах, и явь предстаёт во всём своём ужасе. Взгляд поэта эпохален, его дар словно прозревает будущее — недавнюю трагедию наших дней, случившуюся спустя годы после смерти автора этих строк:

*Урман могучий, как сама эпоха?
...Как будто вниз сорвался самолёт
Из пламени
в ответ
услышал
грохот...
— Горим!
Горим!
Горим!
Горим!*

(Пер. Р. Кожевниковой)

Кто, читая эти строки, не вспомнит о повсеместных лесных пожарах или о крушении «Боингов», в том числе, и с 50-ю пассажирами на борту под Казанью... Что-то зловеще неотвратимое, предопределённое есть во всём этом... И — изводящая душу тоска...

В чём спасение? Быть может, действительно — в возвращении к своим истокам, корням, к «малой родине», где, как зерно, наливается жизненной силой душа, сердце человеческое:

*Здесь радость дышит в каждом колоске
И волны ржи у кромки леса тают.
Как тосковало сердце вдалеке,
До мелочей тебя припоминая,
Мой край родной! Я на тебя смотрю,
И тополя, расправив свои кроны,
Встречают вновь вечернюю зарю.
Вот-вот подует ветер, листья тронув,
И звёзды тихо соскользнут в траву...*

И — финальные строки, которые придают изображению сугубо «зульфатовское» решение такой, казалось бы, избитой, деревенской темы:

*Запомнить всё до звуков и тонов,
И унести навек в душе с собою!..*
(Пер. Р. Кожевниковой).

Здесь тема «малой родины» предстаёт не только в свете идеально-ценностного, но и никогда неотторжимого от человека, вечностного начала — того, что и после жизни он унесёт с собой в «край целований молчаливых» (М. И. Цветаева).

Зульфат, конечно же, поэт философский. Одной из центральных тем его творчества является проблема взаимоотношений человека и космоса. Причём холодный космос (вечность) у него утеплён, оживлён присутствием человека, его дыханием. Более того — требует этого:

*Небо,
полное звёздного роя,
Посмотри,
ночью, словно живое!
И пульсирует космос
и ждёт:
Все секреты твои — тронь рукою.*

Степень оживления неживого космоса столь высока, что здесь речь нужно вести не о простом олицетворении, а именно о его *одухотворении*, потому и разговор с ним идёт на равных — от сердца к сердцу, от души к душе:

*Небу долго смотрю я в глаза,
И, мне кажется,
вижу в них слёзы.
Где ты? Крикнуть,
тебя бы позвать
издалёка под светлые звёзды...*

По сути, небо и сердце поэта — одно и то же: сердце его столь же необъятно. Поэтому и цитируемое здесь стихотворение «Небо, полное звёздного роя...» столь проникновенное по звучанию, решено в интонациях любовного признания и томления. Впрочем, стихотворение — столь же о небе, сколь и о *Ней* — одно от другого в поэтической системе Зульфата неотделимо:

*Сердце,
полное звёздного роя,
И горит, и болит —
ведь живое!
Бьётся гулко в груди,
ждёт и ждёт:
Все секреты твои — тронь рукою.*
(Пер. Р. Кожевниковой)

Неотделимы для поэта нежность и мятежность человеческого сердца! Неотделимы и немислимы душой в их отдельности человек и вселенная!

Рамиль САРЧИН





ИВАН ДАНИЛОВ

ДЛИНА НЕМЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ

ВРЕМЯ

* * *

Геннадию Капринову

Есть времени карающее зло.
Не умоляй — его не остановишь.
И так всегда. Вот нынче повезло —
Горит ночей бессонное становье,
Застольная горячность работы...
Постой мгновенье, дай в тебе пожить...
Как таинство звучания, на ноты
Хочу в зрачок весь мир переложить.
Во мне живёт всегда одна тревога:
В ночи набатно тикают часы,
Простые, с гирькой, пыльные немного,
Как яростно они тревожат сны.
Как будто знают: есть конец дороги,
Жизнь догорит под тяжестью земной,
И, словно судьи, встанут на пороге
Все строчки, не написанные мной.

* * *

Я в музыке осеннего листа.
Я отрешён от темноты и света.
И, кажется, как будто у виска
Вращаются незримые планеты.
Стоят деревья чёрные в дожде,
В траву устало ссеивая капли,
Как будто в смутной тягостной вражде
Собрались в стаю сумрачные цапли.
И веет чем-то первозданно древним,
И не стучат привычно топоры...
Предельно обнажённые деревья.
Предельно обнажённые миры.

Светлым-светло в моей душе сейчас,
Какая-то хрустальная прозрачность,
И всё, о чём я думал: «Вот невзрачность
Сейчас восходит, колдовски лучась...».
Я, невесомый, из дому уйду
Коричневою ёлочкой паркета
И буду слушать, спрятавшись от ветра:
Ночной карась шевелится в пруду.
И огонёк-лунатик пробежит
Рябым прудом, измученный бессонницей,
За горизонт скользя, звезда уронится,
И ветер успокоится решит.
И за терпенье будет мне дано
Увидеть, как рассвету наземь литься,
Парящей в синем небе свежей птицы
Услышать музыкальное крыло,
Увидеть солнца вдохновенный труд,
Когда оно встаёт в счастливой муке,
И странно удивительные звуки,
Как будто корни, в небе прорастут.

* * *

Глядишь в меня, как смотрят в водоём —
Тебе забавна эта процедура, —
И древен, как шумерская культура,
Я в представлении нынешнем твоём.
Ты видишь стрелы в кожаном колчане,
Распознаёшь гортанный дикий клич,
Как письменность, пытаешься постичь
Моё непостижимое молчанье.

А я и впрямь в веках. Ты не поймёшь,
 Что заново, впервые изобрёл я.
 Слова во мне, как в узкой речке брёвна, —
 И никуда ты их не протолкнёшь.
 Тяну я к ветру жаркое лицо,
 Во мне трепещут молнии прозрений,
 И я молчу, как безымянный гений,
 Что изобрёл когда-то колесо...

* * *

Витийствуют заснеженные сны,
 Ночные ёлки — добрые медведи,
 Что может сниться — просека, соседи
 Иль лунная конструкция сосны?
 Ребёнок спит — веков не различить:
 В пинг-понг играют русые поляне,
 И смотрят скифы в очи Модильяни,
 И в телевизор смотрят кривичи...
 А ночь летит. Сверкучая звезда
 Дрожит на льдинах, будто бы на нарах,
 И где-то в синеве у Нарьян-Мара
 Стучат в снегах ночные поезда.

СТИХИ, НАПИСАННЫЕ ПРИ СВЕЧЕ

Привидится ж порой такая жуть:
 X век. Скучающая плаха.
 И вдруг — ржаной, запыхавший путь
 И алая, как зарево, рубаха.
 Страх и закон сейчас на кой мне ляд —
 Кистень да косы, вздыбленные колья...
 Как зычно, восклицательно стоят
 Кровавого набата колокольни.
 Держ-жись, бояре... Ну, поддай огня —
 Славянское роскошно послушанье!
 И антрацитно блещет круп коня,
 И чёрный пепел покрывает ржанье.
 Горят долги, реестры и мытарства,
 Усадьбы, солеварни и цари...
 А вышел яр-костёр из государства,
 Попробуй кто такое запали!
 ...Мне жарко. И со стремени к волне —
 Как будто в зыбь охапкой брошу маки —
 Я наклоню счастливый цвет рубахи.
 Мне счастливо. О как счастливо мне!
 Но может и замечу я не очень
 В разгар огня, когда светлым-светло,

Отчаянные, жертвенные очи
 И мудрое крестьянское чело.
 А уж покуда...

Явь приходит, медля.
 Ни звона кос, ни отблесков огня,
 Но, всё ещё тепло моё храня,
 Сползает рубище багрово, медно
 С пришпоренного мыльного коня!..

УТРЕННЯЯ ПИХТА

На излёте ночь сырая.
 Размывает ветер сумрак.
 Звуки леса умирают,
 Словно голос Имы Сумак.
 Встанет лес светло и немо.
 Канет ночь в траве понурой.
 Утром взмоют пихты в небо,
 Как ракеты с Байконура.
 Сгусток скорости и света,
 Пихта — сгусток напряженья.
 И летит за ней планета
 Неотрывною ступенью.
 И летит сквозь сны, сквозь лето
 В зыбком мареве зелёном
 Пихта, мудрая ракета,
 Начинённая озоном.

* * *

Лежит, как бездыханная, река,
 полдневного покоя не поправ.
 И удивлённо смотрят облака
 в зелёное оцепененье трав.
 Ни птицы и ни скрипа колеса —
 и грезятся деревьям тихим сны,
 молчат, молчат глубокие леса —
 хранилища теней и тишины.
 Всё вышло из одежд, домов, квартир.
 В раздумчивости голову склоня,
 я слушаю притихший этот мир,
 и слышит мир — притихшего меня.

ПРОСТЫЕ МЫСЛИ

Мне ни слов, ни клятв не надо.
 Мне нужнее всяких слов

Откровенность снегопада
И нелживость облаков.
Сквозь уколы диких терний
(Как бы ни были страшны!)
Мне пробиться б в подмастерья
У звезды, у тишины.
Заколдован, заморочен
Звонкой песней вдалеке –
Мне б забиться тихой ночью
У планеты на щеке.
Ни рублями и ни саном
Не кичиться — честно жить,
А потом об этом самом
Песню честную сложить.

НОЧЬ

Вечерний мрак в ночную мглу спрессован.
Мой факел одиночества — гори!
И, словно электрические совы,
Горят задумчивые фонари.
Где берег твой и где твоя граница?
Приди ко мне — я знаю наперёд,
Что ничего не сможет мне присниться,
Но что-то всё равно произойдёт.
Дай прочитать в кружении планетном
Все за семью печатями слова.
И пусть на грудь измученным поэтам
Твоя приникнет, полночь, голова.
Уходишь. Слышу — лестницей сбежала,
На мостовых касаешься торцов...
А ты была единственной державой
Творцов.

ОСЕННЕЕ НАШЕСТВИЕ

По дубравам и озимям,
Высока и горда,
Мчится яростной осени
Золотая Орда.
В том нашествии дымном
Гривы шалый полёт,
Что гортанные гимны
Над землёй пронесёт.
Взмечет крылья пожарщи
От славянских лесов
До самих обиталищ
Молний, звёзд и богов.

И, качнувшись картинно,
Да с камчою в руке,
Гроздь кровавой рябины
Приторочит к луке.
А потом постепенно
Осень стянет узду.
...Снега белая пена –
С крупа и в борозду.

* * *

Лес октябрём очерчен.
Подробен. Как храм, велик.
Только сурьмой и чернью
Его обозначен лик.
Древней ушастью амфорой
Летучая мышь висит,
И вскользь дороги торной –
Бикфордовый чирк лисиц.
В этой звенящей замяти
В вечность струится стезя.
И станет вдруг так беспамятно –
Запомнить нельзя.

ЕЖЕВИЧНАЯ ПАМЯТЬ ЛЕТА...

Лето, верно, к закату клонится.
Паутина горит в лучах.
Золотые окружая солнца –
Эполетами на плечах.
Над деревней уже проплыли
Птицы к югу. Теперь над ней
Если машут, то машут крылья
У колодезных журавлей.
И в сенах, не успев пролиться,
Бредя волглым дыханьем пруда,
Скукой цинковою томится
Цилиндрическая вода.
А потом, как всегда и ныне,
Неподкупно-суровый лик –
Осень строчками дождевыми
Лето к смерти приговорит.
И не сыщешь на то запрета.
Но я выплавлю это в стих,
Чтоб свежо ежевичное лето
На губах оставалось моих!

* * *

Как перья с птицы, сбитой над логами,
В туман и сумрак упадут слова.
Они — египетский пергамент,
Их не постичь. Их суть мертва.
Верней — уже мертва. Но странно,
Как перед смертью — в той беде,
Когда безмерное пространство
Спрессовано в одной звезде.
Всё потому, что слово немо,
Оно, умевшее звенеть...

Уже нам не преодолеть
Библейского седьмого неба...

* * *

Перо над плоскостью листа,
Как над лесами древний кочет,
Таит полёта синий почерк,
И даль немислимо чиста.
Но, вздрогнув в отблесках огня,
Вдруг взмоют в трепетном усилии
Ещё не сложенные крылья,
К закату медленно клоня.
И будет их полёт нетленен
И след необратимо крут,
И глухо звуки откровений
Уста прощально разомкнут...

* * *

Вот какая незадача —
Оступаясь и скользя,
Я иду вдоль неудачи —
Пересечь её нельзя.
Чтобы с той тропы мытарства,
Хоть куда-нибудь — да вбок,
Я хитрить на ней пытался
И идти наискосок.
Уж и так я шёл и эдак,
Этот путь шальной кляня —
Только горестям и бедам
Непривычно без меня.
Не браня, не понукая,
Горесть, как дурмана ток,
Деликатная такая,
Всё ведёт под локоток.

Уж на что, а даже бабам
Стало жалко — изнемог...
Хоть какой-нибудь шлагбаум
Полосатым чёртом лёг!
А беда — ну так печётся,
Словно родственники мы...
Ни шлагбаума, ни чёрта
Нету, чёрт его возьми!
Нет так нет —
И я проснулся.
Встал. Водой ополоснулся
И в кромешной темноте
(Сон ушёл, как свет задуло)
Закурил и долго думал
О своём житье-бытье...

* * *

Здесь всё исконно: быт, привычки, время,
И зрима связь, которой не порвать...
Омшаник, как музей, хранящий в чреве
Своём средневековую кровать.
Здесь бродит хмель
в густом крестьянском пиве,
Дымится мясо под кривым ножом
И, как в сеансе иглотерапии,
Безмолвный пруд исколот камышом.
Как долг приняв суровое радушьё,
Вдруг вспомнишь в алых стенах сентября,
Что Судным Днём лежат уже в грядущем
Бензинно-суматошные края.
Таможня века! Век! —

дозволь мне, милый,
Хоть контрабандой увезти с собой
Кусочек неба и травы былинной,
И осени, по-скифски золотой...

* * *

И как спалось нам в громобой,
Как удавалось в детстве —
С раскачивающей дом грозой
В таком соседстве!
Да с верой, что минует ад,
Что гром словцо замолвит,
Что просто ночь растит свой сад
Ветвистых молний...

ИЗ ДЕТСТВА

Не пестовал память, не знал, что сгодится.
Лелеял ангины в шарфах шерстяных
И детство своё, как щенка или птицу,
я помню в руках, от болезни сырых.

Жилось лопухом, глазасто и русо,
И жадно смотрелось, как выйдешь на плёс,
Как тихие воды, прибитые к руслу,
блестят золотистыми шляпками звёзд.

И поздний заката малиновый жгутик
горит над одышкой загадочных сил,
с которыми чёрный буксир-лилипутик
всю эту громадную ночь протащил.

Не пестовал память. Но как же всё мудро
сумела навеки она отложить,
что жизнь долгожданна, как свежее утро,
а каждое утро, как новая жизнь...

* * *

Туда, где птичий гам,
Где утро несутуло,
К негородским снегам
Сманило, потянуло.
Чтоб разгорался день,
Без суеты-мороки,
Чтоб голубая тень
Стекала в след глубокий.
Чтобы окрест реки,
В лесах ледовых просек –
Замшелые пеньки
И замшевые лоси.
Чтоб позабыть напрасные
Дела и волокиты.
И все трамваи красные,
Пожарные какие-то...

* * *

Я в избе сию осоловело,
Жизни разменяв уже полтину.
Между правым сапогом и левым
Пауки соткали паутину.
Никуда не выхожу из дому,
Да и кто мне нужен за порогом,

Если я по проводу прямому
С вечностью беседую, как с Богом...

* * *

Где пряник – там попозже кнут,
Законы форта.
Строку, где ты солгал, – сотрут
Рубцы инфарктов.

Стереть иудино пятно
Лжи и корысти –
Так то лишь тем рубцам дано
Во имя истин,

Во имя солнца и весны
Бушуйте, травы! –
Мечты во имя, рвущей сны,
Во имя правды...

Так сбейте влёт – к сырой земле,
Когда в зените,
И даже память обо мне
Похороните.

* * *

Опять дожди, как дым из-под стрехи.
Живу среди ярыжек всех мастей,
Среди разбушевавшихся стихий,
Среди испепеляющих страстей.
Священны были родина и мать.
Иудой не был, не был подлецом.
Так почему передо мной опять
Беды не дальней серое лицо?
И боль его горячечно остра –
Лицо моей измученной беды –
Как фреска сиротливого костра,
На вечные обронённая льды.

* * *

Раз не уснуть никак,
Пока не рассвело,
Попыхивай, табак,
Поскрипывай, перо.

Дымы – слоистый пласт,
Но первородно чист

Рисковеннейший наст —
Скрипучий белый лист.

Не выйти за порог,
Не оторвать лица —
Так тянет от листа
Тревожный холодок.

Ночь переходит в день,
И, схожа всё ж с земной,
Покачивается тень,
Бывающая мной.

Ан к лучшему, коль так,
И за окном бело —
Попыхивай, табак,
Поскрипывай, перо...

* * *

Филин ухал, как ухарь. И были его тяжелы
придыханья во мгле, западавшие в душу.
Ухал. Ночь рассекал на куски тишины,
как в базарных рядах разделявал тушу.
Серебристая мгла осыпала пылью,
иней ночь обрамлял своей рамой
хрустально-волшебной,
и струилась пыльца по ветвям,
по стволам, по лицу,
как живая вода или,
может быть, даже целебней.
Эта ночь-серебро,
эта дивная ночь-антрацит,
эта грань тьмы и света, и чудо такое...
Что ж ты ухаешь, птица,
когда тишины дефицит,
и мешаешь мерцать золотинке покоя?

ДЕРЕВЕНСКИЕ СТРОФЫ

Пять утра, и по деревне
в хлеве звякает посуда.
Восклицательные знаки
кнут пастуший ставит вслед,
потому что продолжает
жить и здравствовать покуда
целомудренный и грешный,
ненаглядный белый свет.

Пчёлы — нотные значки —
ссыпались в траву, и даже
кажется, как будто это
одного смычка грехи,
и остатки предрассветной
деревенской сонной блажи,
чтоб не просыпаться, на день
уползают в лопухи.

Это утро — сквозь безбожно, —
фантастичней арабески —
в озере ветла распята,
как измученный Христос:
и туман с ветлы озёрной
солнцем высушен до блеска,
в воздух ввинчены прозрачно
сто шурупчиков стрекоз.

От восхода до заката,
благо, что земля поката,
всё здесь движется делами —
поле, косогор, река...
Тянет сумрак с поля трактор —
припозднившийся работник,
чтобы гроздьё звёзд крестьянских
виделись издалека.

И видать в огнях тех поздних
то, что мелко, то, что вечно,
путь звезды, пути земные —
испокон веков сродни,
и дороге этой звёздной
равный — разве только Млечный,
и, насколько глаз хватает,
всё горят, горят они...

ВОСКРЕСНОЕ

Встань на лыжи — снегу сообщи
свойство ускользать из-под ноги,
свойство непонятное души
в пятки уходить и виражи.
На отвесных кручах различать,
как судьбы эскиз или печать.
Даль и блеск небесный отожми
В две тугих сверкающих лыжни,
вытяни простор в бегущий гул
меж флажков, горящих на снегу.

Встань на лыжи, ну хотя б затем,
чтобы в подтвержденье всех систем,
жажду старых истин утоля, —
убедиться: круглая земля!

ПЕРЕСЕЛИЛСЯ

Мне не надо красных дат,
Зло отпетых,
Есть квадратных у меня
Десять метров.
Всё устрою — печь, кровать,
Всю берлогу.
Есть где раны зализать —
Слава Богу!

* * *

Что изводит — не знаю:
Зыбкость, даль, силуэт?
То ли Пустынь какая?
Суета ли сует?
То ль безверье, то ль вера?
Или вместе они?
То ли сила примера,
То ль столетий огни?
Жест напомнит — бездонней
Нет — лишь руки воздень:

Зуд по центру ладоней,
Как следы от гвоздей...
Что изводит, узнать бы,
И дадут ли покой
Те осенние свадьбы,
Где разводы зимой...
Что изводит? Что лечит?
И чему — исполать,
Чтоб душе человеческой
Самосуществовать?
Всё слабей год от года
Слова искренний свет —
Собеседников много.
Сомолчальников нет!
Словно травы по маю,
Слов несметная рать.
Что изводит — не знаю,
И дано ли узнать...

ЭПИТАФИЯ

Я в мир пришёл. Никто меня не встретил.
Я сам зажёл, как мог, свою свечу.
Не всякому молчанье по плечу.
Это во-первых. Во вторых и третьих
И — в главных! — знал всегда, чем я плачу
За всю длину немых десятилетий.

Стихи подготовили
Эдуард УЧАРОВ
и Галина БУЛАТОВА



РАДИ СМЯГЧЕНИЯ ПРАВОВ

РАФКАТ КАРАМИ



МАТЬ

Салих Хасанович сошёл с трамвая и покинул шумный проспект, свернув в переулок. Тёмная, безлюдная улица, автомобили здесь почти не ездят. Слева здание цеха с большими окнами (то ли завод, то ли фабрика), справа склады, густо опутанные колючей проволокой. Неприглядное, безжизненное место. Вдобавок ко всему в лицо хлещет колючий ветер. Несмотря на середину декабря, снег лежит скудными проплешинами седины на чёрно-бурой шкуре газонов.

Перейдя железнодорожные пути, Салих Хасанович ещё раз сворачивает направо. Слева тянется неприступный серый забор из железобетонных плит. Поверху плит несколько рядов колючей проволоки. Свет мощных прожекторов вырывает из темноты вышку.

Салиха Хасановича охватывает неведомое прежде тяжёлое чувство. Поднимая время от времени голову, он с тоской и смятением смотрит на колючий верх забора, потом на дорогу, которая по-прежнему безлюдна. Пройдя несколько сотен метров, он останавливается возле железных ворот, где уже стоит и в щель между створками пристально смотрит невысокая, полноватая женщина в чёрном пальто и серой шали. На Салиха Хасановича она не обращает никакого внимания. Только когда он обратился к ней с вопросом, женщина, немного повернув голову, ответила.

— Да, здесь.

Ей на вид лет шестьдесят. Круглое морщинистое лицо, на ногах тупоносые кожаные сапожки, на руках чёрные вязаные варежки. Она снова прильнула к щели. Салих Хасанович поверх её головы тоже стал рассматривать двор.

На большом дворе стоит грузовик с железным кузовом. Машину окружили вооружённые солдаты, один из них удерживает собаку на поводке.

— Извините за любопытство, апа, вы, наверное, живёте неподалёку?

— Нет.

— А почему же тогда?..

— Мой сын..., — ответила она и повернулась к Салиху Хасановичу.

Салих Хасанович подумал было, что после этих слов она расплачется. Но нет, её глаза сухи. Похоже, за долгие месяцы выплакала все слёзы.

— Вы откуда приехали?

— Из района.

— Встретиться-то сумели?

— Нет. Хотя бы отсюда его разглядеть, и то радость.

— Вы, наверное, попутно сюда завернули?

— Нет, специально...

— Часто приезжаете?

— Нет, не очень, времени на всё не хватает, дома-то скотина, раз в неделю навещаю...

Салих Хасанович хотел было ещё о чём-то спросить, но, смутившись неловким положением, недоумённо молчал. «Ах, дорогие наши матери! Почему же столь бессердечны дети, позволяющие себе обречь вас на такие тяготы? Но какими бы непутёвыми они ни были, для вас они всё равно остаются детьми!»

Мать, окинув взглядом Салиха Хасановича, высокого, с дипломатом в руке и очками на переносице, спросила:

— А вы кто? Почему здесь оказались?

— Меня сюда направили из общества «Знание» лекцию прочитать. Я в институте преподаю, апа.

Мать ни о чём больше не спрашивала. Салих Хасанович решил было, что она воспользуется благоприятным моментом и попросит его разыскать сына, передать ему привет, наконец. Но нет, мать его ни о чём не попросила. Видимо, она научилась утишать душевную боль созерцанием похожих на её сына арестантов сквозь щель в воротах раз в неделю...

В оговорённый час из ворот вышел замполит, поздоровался с Салихом Хасановичем. Перед тем как зайти, Салих Хасанович посмотрел на мать. Она потихоньку, тяжёлыми шагами отошла в сторону...

Заполнив необходимые бумаги, они снова вышли из кабинета замполита во двор. Миновали узкий сетчатый коридор. Справа стояли машины.

— Держи крепче! — сказал замполит солдату с собакой, потому что она, раскрыв огромную пасть, взмахнув лапой и пыталась наброситься, шупленький солдатик едва её удерживал.

Они прошли вдоль высоченных железных ворот и поднялись по железной лестнице. Замполит несколько раз нажал кнопку звонка возле проходной. Тяжёлая металлическая дверь открылась с жалобным стоном. Вошли. Дверь с грохотом закрылась. Пропуск пришлось предъявить не только Салиху Хасановичу, но и замполиту. Только после тщательной проверки их пропустили внутрь. Салиху Хасановичу показалось, что даже само небо здесь сузилось и уменьшилось...

Просторный, светлый клуб. На сцене — стол, трибуна. Неподалёку от сцены, возле стены ещё один стол, на нём составлены гармошка и другие инструменты.

Салих Хасанович, когда замполит предоставил ему слово, начал читать лекцию. Сам говорит, а сам в это время разглядывает сидящих в зале, думает об их судьбах.

Мужчины разных возрастов. Молодые могли бы быть студентами. И лекцию Салиха Хасановича слушали бы не здесь, а в институтских аудиториях. Они могли любить и быть любимыми, жениться, создавать семьи. Любимые дети вешались бы им, уставшим после работы, на шею, жёны поджидали бы с чистыми накрахмаленными полотенцами, пока они не закончат умываться, затем позвали бы их к столу, уставленному вкусной снедью. А по вечерам они всей семьёй могли бы смотреть телевизор, дети уютно устраивались бы на отцовских коленях, нежились бы в их крепких объятиях, или они могли бы дружной семейной гурьбой ходить в театры и на концерты. А здесь...

С одной стороны, Салиху Хасановичу вроде бы и жалко этих людей. Но с другой, эти сублинные, худоилицы, бритоголовые парни не вызывают истинного соперничества в его душе. Потому что они, кого-то унизив, притеснив, оказались здесь по собственной воле. Да, так. Они заранее знали, что их несправедные деяния закончатся

именно этим. Они не пожелали жить по совести, не захотели становиться свободными гражданами свободной страны. Если, конечно, нет среди них пострадавших невинно...

Лекцию Салих Хасанович закончил следующими словами:

— Выступать перед вами тяжело. Я знал об этом заранее и постарался тщательней подготовиться. Разные мысли возникали в моей голове. Хотелось дать вам какие-то наставления. Однако здесь, возле ворот, я встретил женщину, мать одного из вас...

Салих Хасанович принялся рассказывать о встрече, произошедшей около полуполучаса тому назад. Он всё больше распалялся, с каждым его словом головы некоторых арестантов склонялись всё ниже и ниже:

— У каждого из нас есть мать, и у каждого она одна-единственная. Наши матери смиренны и терпеливы, но они всегда ждут своих сыновей. И если они где-то далеко, каждая мать желает видеть их как можно чаще. Два раза в год возвращается к ней сын или пять, мать всегда будет говорить об одном и том же: «Редко бываешь у меня, сынок». И вы могли бы гостить у своих матерей, когда пожелаете, а может, даже жили бы вместе с ними. Но... Если бы вы в тяжёлые для страны минуты были на передовой линии фронта, ваши матери гордились бы вами. И если вам суждено героически погибнуть, им не было бы так тяжело, как сейчас. Но...

Несколько молодых парней прикрыли лица руками. Салиху Хасановичу не жаль дошедших до столь неприглядной жизни ребят. Перед его глазами лишь та одинокая мать, пришедшая к воротам тюрьмы за толикой радости и успокоения. Вот её-то и жалеет по-настоящему Салих Хасанович, её бессонные, тревожные ночи, её пожелтевшее от тоски по нерадивому сыну лицо, пролитые по нему слёзы, её большое сердце, денно и ночно болезненно щемящее от горя...

Снова открылись и закрылись двери. Молоденький солдат на проходной, взяв в руки паспорт Салиха Хасановича, подробно изучил предъявленный документ, задал несколько вопросов.

— Фамилия, имя...

Едва выйдя за ворота, Салих Хасанович обернулся налево. Матери не было.

Пройдя какое-то расстояние, Салих Хасанович облегчённо вздохнул. Полную грудь свежего воздуха набрал он. А перед глазами до сих пор одинокая мать.

«Матери дарят нам жизнь. Вскармливают нас своим священным, драгоценным молоком. Сколько прекрасных и добрых сказок о матерях слышим мы в детстве, поём посвящённые им песни, рассказываем стихи, читаем рассказы. А когда вырастаем... сколько горя приносим. Есть ли более жестокое создание на земле, чем ребёнок, ранивший сердце матери?! А мать всё прощает... ждёт своё заблудшее, сошедшее с праведного пути дитя. Душа её — в неволе, рядом с сыном...

РУКИ

Ночь.

Сдвигаю на один край белые занавески большого окна и смотрю на улицу. Блестящий свет фонарей, по тротуарам идут пешеходы, по проезжей части мчатся куда-то автомобили. Деревья напротив дома, воспользовавшись наступившим безветрием, решают вздремнуть. В домах, цепочкой вытянувшихся вдоль улицы, одно за другим гаснут окна. Уставшие за долгий, проведённый на ногах день люди собираются предаться долгожданному, сладкому сну, чтобы накопить сил для дня грядущего.

В другие дни и я в этот час утыкался головой в подушку, а сегодня сна ни в одном глазу. Только что вернувшись из ресторана, где отмечался день рождения сотрудника, в полном одиночестве погружаюсь в раздумья.

Что же заставило меня так спешно (я даже не успел переодеться), в глубокой задумчивости завалиться на диван? Руки. Да-да, именно руки. Две пары белых холёных девичьих рук, что я увидел за столиком напротив. Изящные, ежедневно балуемые дорогим земляничным мылом, они зажали между двумя пальцами тонкие, длинные дамские сигареты. Руки источали великолепие, благоухающее заграничными ароматами кремов и духов, а, глядя на острые ногти, аккуратно подточенные маленькой пилкой и подкрашенные перламутровым лаком, я загрузил о своей молодости, вспомнил другие изящные руки, вспомнил жаркие запястья, нежно обжигающие шею прикосновением. Да, такие вот они, женские руки — чистые, ухоженные! Однако чем дальше я думал, тем всё явственнее перед глазами вставали другие руки. И сколько бы ни старался, я так и не смог представить себе эти руки подобно тем, девичьим, которые увидел в ресторане, держащими изящный тонконогий бокал шампанского...

Её руки я чаще всего видел дочерна загоревшими, обо что-нибудь исцарапанными, покрасневшими и скрюченными от полоскания белья в проруби в трескучие морозы, по локоть вывожженными в муке и тесте в день выпечки хлеба, с прищемлёнными где-либо, посиневшими ногтями, которые иногда могли и сойти. А в последнее время эти руки покрылись сеткой глубоких морщин, чёрно-синие вены выступили наружу, кожа высохла, обнажая костяшки суставов, а покорёженные артритом пальцы, словно корни вывороченного ураганом дерева, торчат во все стороны. Если она посидит без работы пару часов, то вся изводится: руки начинают к чему-нибудь тянуться; они обеспокоены отсутствием работы, короткие узловатые пальцы ни с того ни с сего начинают подрагивать и шевелиться. Даже в единственную поездку в дом отдыха я стал свидетелем того, как она попросила тряпку у горничной и принялась мыть полы.

Руки.

Они о многом могут рассказать.

Глядя на руки, можно почти безошибочно определить профессию, возраст и даже характер их обладателя. Например, большие, мясистые «лопаты» выдают в их хозяине батыра, возможно, что и абсолютного победителя Сабантуя, добела отмытые, сильные и волосатые — это, как правило, руки хирурга, черновато-бурые от мазута, натруженные — механизатора. А к какой же группе отнести её руки, и что можно сказать об их хозяйке, глядя на них? Не знаю. Я часто наблюдаю в последнее время, как она нежно треплет внуков по головам, гладит по спинам, как целует дорогие и любимые детские пальчики, и невольно задумываюсь о её жизни, начиная с той поры, когда она была не старше своих внуков, и до дней сегодняшних.

Да, её руки с рождения тоже не были жёсткими и мозолистыми. Поначалу и её руки были настолько эластичными и мягкими, что казалось, будто в них нет косточек. Но её пальчики не могли играть седой бородой деда, потому что за семь лет до её рождения дед остался лежать «на краю света» во время русско-японской войны. Она почти не помнит те минуты, когда садилась к отцу на колени и играла его чёрной бородой. Но в её память намертво врезались слёзы и слова, обронённые маленькой девочкой, тянущей худые ручонки к отцу в момент прощания, когда его, обвинив в пособничестве «белым», погнали в Бугульму: «Ты куда уезжаешь, папа? Возвращайся быстрее!» Нет, быстро он не вернулся, и вообще не вернулся, сгинул насовсем...

Слабенькие ручонки девочки, обречённой на сиротство, вместо того, чтобы играть в куклы со сверстницами, качали двухлетнего братишку в люльке, когда матери не было дома, катали его по двору в маленькой тележке, сплетённой из лыка. Не

миновали её и голодные ветры лета-зимы двадцать первого года. Худыми, неокрепшими руками собирала она ягоду, свербигу, щавель, алтей, дёргала крапиву, козлобородник, лебеду, затем, перевязав «добычу» подвязкой от лаптей, взваливала на спину и тащила домой. Молодость, время окрыления надеждами и мечтами, ко всем приходит одинаково, оказывается. И руки, пальцы которых щедро увиты золотыми кольцами, и те, которые украшает лишь скромный серебряный браслет, в свой срок обретают тугую ладонь возлюбленного юноши. И уже абсолютно наплевать на все условности, на запреты матери, когда сильные руки любимого уносят тебя в ночь, и совершенно невозможно устоять перед соблазном поласкать жаркими ладонями его крепкую шею... Всякое было, наверное, это ведь жизнь.

А как укрепилось и окрепло весьма непростое колхозное движение к концу тридцатых годов, когда на лошадях подвозили хлеб и всякую необходимую в быту мелочёвку и раздавали крестьянам на трудодни. Да, в те годы урожаи собирали большие. А как не собирать-то, когда столько праведного труда вложено, когда здоровые руки сбивались в кровь, связывая один за другим бесчётные снопы в уборочную страду, с утра до вечера без усталости размахивая серпом. Да, было, всякое было. Не обошлось и без неожиданного и не желаемого.

Разве для того, чтобы прикрывать заплаканные лица концами платка во время прощания, были созданы эти руки? Или для того, чтобы с головой утыкаться в наперсницу-подушку, оставшись в одиночестве в опустевшем доме? Нет, не для того, а чтобы встречать на пороге возвращающегося с работы мужа, чтобы поднести ему кувшин с водой и полотенце, чтобы ставить на стол полную вкусной еды миску созданы были эти руки!

Но... Миллионы этих рук, сжавшись в кулаки, грозно сотрясались в сторону Запада, проклиная впившегося в горло Гитлера. Руки миллионов матерей, навсегда потерявших своих сыновей, руки двадцатилетних вдов, руки девушек, так и не испытавших радости замужества, ещё не до конца осознающих предстоящее им пожизненное одиночество...

Всё вытерпели эти руки. Не сломались, не озлобились, даже когда на трудодень стали выдавать по сто граммов хлеба. Трудолюбивые, мозолистые, шершавые руки достойны нашего уважения и нежности! Я бы, не задумываясь, помещал в музей копии, снятые с этих рук. Лучше всяких лекарств лечили раны искалеченных войной мужей руки дождавшихся их возвращения жён.

После семи месяцев госпиталей, опираясь на костыли, преодолевая жуткую боль вернулся и к ней тот, кто тёмной ночью назвал её своей невестой. Кто скажет, что её рукам легко было в это время? Кто назовёт немилосердными эти руки, всю ночь оберегающие покой любимого?

Кто может понять всю печаль матери, в мирное время проводившей одного за другим троих сыновей в солдаты, кто сумеет понять и разделится обуревающие её мысли в те минуты, когда она, приставив ладонь к бровям, до слёз вглядывается в ту сторону, куда заходит солнце, где служат её сыновья?

Она уже не может часто приходить к нам. Раз в год, наверное. Я ей каждый раз говорю, отдыхай, не вскакивай по всяким мелочам. Да разве ж возможно мирно скрепить руки, которые и в доме отдыха мыли полы...

Да, сейчас её запястья и предплечья похудели, ладони морщинисты, вены проступили наружу, их синие русла видны издалека. Руки, каждая трещинка, каждая чёрточка которых знакома мне с детства, сейчас огрубели, стали мерзлявыми — плохо переносят холод. Но они мне кажутся в тысячу раз теплее холёных, белоснежных рук девушек из ресторана, это самые дорогие для меня, самые мягкие, самые нежные

руки на свете, прекраснее самых изящных рук мира. Мне хочется взять эти руки в свои и долго-долго не отпускать, нежно-нежно гладить.

Руки...

Ночь.

Одиночество...

А не слишком ли я строг и требователен к современным девушкам, сейчас ведь совершенно другое время, другая жизнь? Не знаю. Я всего лишь думаю. Не замечая, как летит время, не слыша петушиных криков, возвещающих приход нового дня, думаю я о руках. А может, руки девушек из ресторана белы оттого, что они, как говорят в народе, работают на чистой работе? Может, эти молочно-белые руки способны на многое, тонкие пальцы проворно порхают над клавишами умных электронных машин, мастерски играют на музыкальных инструментах, названий которых нашим матерям и не выговорить с первого раза, точно и грамотно собирают сложнейшие навигационные приборы, помогающие морякам, бороздящим моря-океаны, и лётчикам сверхзвуковых лайнеров прокладывать маршруты. Дай-то бог! Если это так, я только рад буду. Я не против того, чтобы руки у девушек были чистыми и ухоженными. Все мы радуемся, увидев что-то красивое. Но хочется, чтобы эти девушки не забывали, что сегодняшняя сытая и привольная жизнь создавалась руками немощных нынче бабушек и тётушек, хлебнувших с малолетства тягот военного лихолетья матерей. Хочется, чтобы они помнили о шершавых и мозолистых, но излучающих тепло человеческой души руках, всегда готовых прийти на помощь. Желаю им быть душевными, милосердными людьми и согревать своим теплом окружающих. Вот, собственно, и всё, что я хотел сказать...

*Перевод **Наиля ИШМУХАМЕТОВА***





В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ

Дворнику Григорьичу за хорошую работу по очистке льда подарили настольные батареечные часы. На участке у Григорьича меньше всего падали люди. Это, по правде говоря, происходило не оттого, что он был сознательнее иных, а потому, что всё своё время, и в будни, и в выходные, отдавал Григорьич очистке улиц ото льда, а уж если он чем занимался, то всегда делал это, как следует. У него лёд буквально таял под руками. И вот за такую хорошую работу ему начальник и вручил на общем собрании эти самые часы и сказал, что если бы все трудились, как Григорьич, то зимой вообще бы не было льда. Григорьич про себя усмехнулся, понимая, что работать в праздники никто не будет, а потом, у других и безо льда жизнь насыщена интересными событиями.

А часы Григорьичу были по душе, тем более, что старый будильник у него давно сломался. А эти часы заводить не надо. Сунул батарейку, поставил на стол, тикают они, тикают, и никаких проблем. Присмотрелся к ним Григорьич, по привычке, и вскоре как-то перестал и замечать их. Подарок-то был по итогам сезона, и Григорьич ждал, что вскоре лёд сам по себе начнёт таять, ведь на дворе середина марта, и вскоре нужно будет переключаться на другие работы. Для разнообразия это было хорошо.

Но после общего собрания, так порадовавшего Григорьича, что-то стало происходить странное. С каждым днём лёд всё становился крепче и крепче, и воевать с ним было всё труднее и труднее. Григорьич вначале не роптал, мало ли, какие у природы бывают чудеса, но вскоре забеспокоился. Морозы становились сильнее, и снег стал выпадать обильнее. Казалось, зима пошла по новому кругу.

Минуло полмесяца, и весной уже и пахнуть не стало, а ведь она почти пришла. Что поразительнее всего, никто, кроме Григорьича, не удивлялся. Как будто так и надо. Начинает он возмущаться подобным положением среди коллег-дворников, а те хохочут:

— Ты, что, ополоумел, Григорьич, лёд надоело колотить? Тебе, что, зря часы-то подарили? Давай, давай, соответствуй подарку!

Время шло, и втянулся потихоньку Григорьич в работу, уж не удивляется тому, что месяц за месяцем идёт, а весны-то как не бывало, так и нет. Но вскоре стал он замечать, что снег стал пышнее, легче, а вскоре и вообще пропал, а на улицах кругом грязюка. Что за чудо такое? А ещё на земле горы опавших листьев, и если их не сжигать, то они заполонят весь участок. Но удивительно-то не это, сжигать листья приходилось и весной. Диво в другом. На чёрных сучьях деревьев стали ни с того ни с сего появляться листья — и жёлтые, и рыжие, и красные. И если вначале они были сухие, то постепенно, со временем, становились мягче, а потом и вообще позеленели.

Это привело Григорьича в ужас. Как дворнику, ему, конечно, меньше было работы. Но как человеку, уже пожившему на свете, это было непонятно. А когда нельзя объяснить какой-либо феномен, это тревожит. Да притом окружающие люди совершенно не удивлялись чудесам. Делали круглые глаза на все охи и вздохи Григорьича и крутили у виска пальцами.

«Господи, — думал Григорьич, — неужто я с ума сошёл?» Но больше всего его добило то обстоятельство, что в парке, на его участке, на яблоне-дикарке вдруг появились яблоки. Но не так, как обычно они появляются из завязи, наливаясь соком, а неожиданно. Шёл Григорьич по парку, поднял голову, а там яблоки висят, будто их кто-то специально подвесил. И вокруг яблонь все осыпано. Тут у Григорьича ум за разум зашёл. Сел он на скамейку, сам про себя думает: никому говорить не буду, может быть, это так и надо... Вот ведь привыкли люди к тому, что к коммунизму давно никто не идёт. А раньше за-видовали молодым, вы, мол, счастливые, до коммунизма доживёте. Но не тут-то было, в один раз прихлопнули всё, и никто уж не вспоминает, и не говорит, и все плакаты снимали насчёт коммунистического будущего. Может, и тут такая же петрушка...

Вот так и жил Григорьич в недоумении, пока на работе не огорошили, что будут поздравлять его с юбилеем, с шестидесятилетием. Как так, похолодело у него внутри, шестьдесят лет ему было в прошлом году. Он ушёл на пенсию, но продолжал работать, получая и пенсионные, и зарплату, этого-то никто не оспорит.

Ладно, смолчал он, выдержав новые поздравления с юбилеем. Прошёл месяц, а ему пенсию перестали давать. Этак нагло говорят, а что ты хочешь, тебе ещё шестидесяти нет. Вот так да, забыли, что два раза поздравляли его с юбилеем.

Совсем загрустил Григорьич, уж и не обращает внимания, что вслед за осенью идёт лето, а за ним весна. Занемог мужик от такого жизненного переплёта. Хотя бы вроде радоваться надо, по всему видно, молодеет и молодеет он. Но понять это не в силах.

Думал, думал Григорьич и решил — что-то случилось в его мозгах, нужно обратиться к врачу. Оделся он во всё чистое и перед тем, как идти на приём, взглянул на часы — не опоздать бы. Что такое? Какая-то несуразность неуловимо встревожила его. Пригляделся он к циферблату, и как прострелило Григорьича сверху донизу. Секундная стрелка бежала не вперёд, а назад. А за ней, естественно, и минутная, и часовая. И так было целый год. Ведь он смотрел раньше на циферблат мельком, а часы себе идут и идут, и подводить их не требуется. Подбежал Григорьич к столу, вытащил из часов батарейку, остановилась стрелка, а уж потом, когда он засунул снова, она побежала вперёд.

В третий раз пришлось Григорьичу пережить свой 60-летний юбилей, но хоть пенсию-то стали выдавать снова...

ОБИДА

Павлик подтянулся на руках и лёг животом на широкий подоконник. Он открыл настежь створки окна и пальцами ухватился за край карниза. Теперь ему было удобно, и тёплый ветерок обдувал волосы.

Павлик жил на втором этаже. Сверху был хороший обзор, хотя, в общем, смотреть было не на что. Напротив такая же пятиэтажка. И двор между домами с куцыми деревьями, и земля, где поросшая травой, где желтеющая песком. Там была когда-то песочница для малышей. Но деревянную её конструкцию разобрали и куда-то уволокли по частям, а песок растащили по двору. В песочной пыли теперь рылись куры и справляли свои нужды кошки. Под деревьями стояла пара скамеек. Пока они не повторили судьбу песочницы, может, из-за того, что их охраняли бдительные старушки,

которые любили вечерами посидеть на них и почесать языки. Днём скамейки обычно пустовали, или малышня раскладывала на них свои куклы и самозабвенно играла.

Павлику нравилось наблюдать за скамейками, то есть за теми, кто на них располагался. Вот уже второй день на скамейке с книжкой сидела девчонка, его ровесница, примерно лет четырнадцати. Она сидела, уткнувшись в книгу, и лица её Павлик не видел. Но её волосы, затянутые в хвостик, какой-то своей детскостью и беззащитностью располагали к себе. Она всё время была одна, без подруг.

Окно Павлика смотрело прямо на скамейки, где сидела девчонка, но она до того была увлечена книгой, что присутствие кого-то сверху не чувствовала. Павлику казалось, что он не дышит, чтобы не обнаружить себя, но замечал, что за три дня книга была почти прочитана. Непрочитанные страницы таяли и таяли. А будет ли девчонка читать под его окном следующую книгу, неизвестно?

Паренёк решил. Кашлянул для привлечения внимания. Затем чуть подрагивающим голосом, громко, как ему казалось, спросил:

— Интересно?

Вновь повторил:

— Интересная книга?

Девчонка даже не встrepенулась, только движением руки смахнула какое-то насекомое с волос. Павлику показалось даже, она даёт ему понять, что он назойлив. Он покраснел и сполз с подоконника в свою инвалидную коляску. Мысль лихорадочно заработала. Может быть, она видела его у подъезда, когда отец вёз его на коляске по тротуару. А потом узнала в окне и теперь не хочет знакомиться с инвалидом.

— Ну и оставайся со своей книгой! — сердито проговорил Павлик и снова покраснел, тревожно заглянув в окно, вдруг она услышит. Но девчонки не оказалось на скамейке.

— Ну и чёрт с тобой! — зло выдохнул Павлик, сжав в ниточку губы.

Два дня он специально не выглядывал в окно, чтобы даже не думать об этой задавке. На третий не выдержал и открыл створки. Она снова сидела на скамейке уже с другой книгой, которая была ещё толще. Он для интереса стукнул створками. Но никакого результата. Ей было наплевать на него. Павлик даже задохнулся от ярости, чего с ним никогда не бывало. Громко и отчётливо он произнёс так, что, наверное, весь двор услышал:

— Ну и чего ты тут прилипла? Глаза мозолишь!

Девчонка продолжала себя вести так, будто это не к ней относилось, даже глаз от своей книжки не подняла. Павлик уже с ненавистью смотрел на её спокойную позу и на то, как она аккуратно перелистнула страничку и даже для интереса не взглянула вверх.

— Ну и вали отсюда! — эти слова были так грубы и тяжелы, что Павлик никак даже не ожидал их от себя. Если бы они могли превратиться в нечто материальное, то крепко бы стукнули бедную девушку. Но она продолжала игнорировать Павлика.

Так продолжалось довольно долго, Павлик собирался уж было кинуть чего-нибудь вниз, чтобы неповадно было этой гордячке. Самолётик, что ли, соорудить из бумаги, подумал он. Пока раздумывал, непонятно откуда к девушке подошла женщина лет сорока. Девушка посмотрела на неё, отложив книгу на лавочку. И вдруг Павлик сжался весь. Женщина стала жестами разговаривать с девушкой, быстро-быстро двигая пальцами.

— Боже мой! — Павлик сполз с подоконника, зажмурив глаза. Ему казалось, что он задыхается. Он не испытывал такого ещё ни разу в своей жизни. Машинально, не чувствуя боли, он стал колотить по подоконнику. На стук прибежала его мать:

— Павлик, чего стряслось?

Он не мог ничего сказать, в глазах стояли слёзы отчаяния и стыда за самого себя.

ОЖИДАНИЕ

Виктор Иванович Кругликов — учитель истории в сельской школе. Село Березниково старинное, с церквушкой на пригорке, с резными наличниками и крылечками у домов. Школа разместилась в каменном здании с колоннами — бывшем помещицком доме. У школы прекрасный сад с аллеями и прудочками. Это тоже перешло к школе по наследству. Если бы не десятки поколений учеников и учителей — всё давно бы пришло в запустение.

В Березникове всё дышит историей, и Кругликову работать интересно. Он часто копается в краеведческих книгах, выискивая что-нибудь о селе, о пятивековом его существовании. Есть при школе небольшой музейчик. Прялки, самовары, сундучки, документы и биография колхоза «Красный пахарь».

Больше всего занимает Кругликова разгадка названий ближних деревень. Раньше просто так названия не давались. За каждым — какая-то тайна. Многих уже нет, иные доживают, может быть, последние годы. Ведь деревня только тогда деревня, пока жив в ней хоть один человек. Потому-то и разволновался Виктор Иванович, когда узнал, что в дальней лесной Паклихе здравствует одна-единственная старушка. Председатель сельсовета (если по-прежнему) говорил о ней с раздражением. Сидит, мол, там, как лешачиха, не соглашается перебраться к людям и всю спокойную картину ему портит. А Кругликов вдруг душой потянулся к старушке — он сам из такой же породы. Выпускник столичного педвуза мог поехать по распределению и в город, а захотел к себе на родину, в это далёкое от магистралей Березниково. И теперь потянуло его в Паклиху познакомиться с отшельницей.

В воскресенье, наполнив рюкзачок тёплым хлебом и продуктами из магазина, он отправился в путь. Денёк был чудный. Кругликов с удовольствием слушал шум леса и птичий щебет.

Долго ли, коротко ли, вскоре в просвете между деревьями мелькнуло что-то похожее на крышу. Тропинка пошла вниз, лес поредел, солнце уже не прыгало от дерева к дереву, а хлынуло неудержимым потоком. От ручья в овражке тропка повела вверх и поднялась к деревеньке в четыре дома. Зброшенный вид имели три из них.

У крайней избы копошились куры, к колышку была привязана коза. А из конуры, возле крыльца, высунула голову растрёпанная рыжая собачонка, она и затыкала лениво, с паузами.

Из дома на лай никто не вышел. Никто не откликнулся и на его стук в дверь. Присел учитель на крылечко, включил транзистор. Батарейки были свежие, громко раздались позывные «Маяка».

Тут из-за дома и явилась маленькая старушонка. В аккуратном фартучке, в выцветшем платочке, босая.

Кругликов поспешно выключил приёмник, встал:

— Здравствуйте, бабушка!

— Здрав будь, милоч!

Старушка подошла поближе утиной, вразвалочку походкой. Слезящимися глазами пытливо посмотрела на незнакомца:

— Ты кто ж будешь: гость али прохожий человек?

Кругликов смущённо улыбнулся. Голос у старушки басовитый, никак не подходил к её облику. Не только из-за небольшого роста. Черты лица были мягкими, округлёнными.

— Как сказать? — пожал он плечами. Ему не хотелось её беспокоить, ведь для гостя нужно стол накрывать, так уж ведётся в деревнях. Даже для незваного.

— А я всё одно рада. Что гостю, что прохожему. Посиди, посиди, коль не спешишь. И она кивнула на крылечко. Отряхнула руки и сама, кряхтя, опустилась на горячие, нагретые солнцем, доски. Её глаза сияли радостью и приветливостью.

Он присел рядом.

— А я в огороде роюсь и — батюшки мои, радива запела! У меня давно его нету. Вот я и думаю, кто там? — голос её, несмотря на басовитость, приобрёл дивную напевность. — Ты сам-то из каких будешь? — Глаза её стали пытливыми.

— Березовский я, учительствую в школе.

— Вона как, — она оправила выбившиеся волосы под платочек, — далёконько забрёл-то. По нужде, чтой, какой?

— Признаюсь всё же, к вам в гости. И на Паклиху посмотреть.

Старуха горестно вздохнула:

— Нету уж Паклихи. Я осталась, да Жучка, да козёнка Манька, да курёнки. Вот живём одне уж, почитай, года два, как шабёр Терентьевич помер. Одно слово, доживаем.

— Боязно, наверное, одной?

Собеседница улыбнулась:

— Чево мне бояться? Волков нонче нет. Да и Бог бережёт.

— А не лучше ли поближе к людям, в село или деревню ближнюю какую? — осторожно спросил Кругликов.

Старушка помолчала, как бы раздумывая:

— Оно, конечно, може и полегше было бы. Да кто его знает, как лучше-то...

Она оборвала речь, поджала губы, что-то не договаривая.

Виктор Иванович почувствовал, что задел больную струнку. Лицо её напряглось, насторожилось. Она даже отвернулась от него. Видимо, поднадоели ей уговаривальщицы. Он поспешил переменить разговор и стал вытаскивать из рюкзака продукты:

— Я думаю, это не лишнее будет вам.

Она прищурилась, оживилась:

— Ох, мил человек, рази хлебушек бывает лишним? Сразу не съем, так сухарики насушу, — её голос вздрогнул. Она некоторое время держала всё, что давал ей Кругликов, в руках, потом складывала в подол и при этом повторяла: — Спаси Бог, спаси Бог!

Растрогалась, вытерла выступившие слёзы концом платка:

— Как же тебя, заботник мой, звать-величать?

— Да называйте просто Витей, — смутился он, чувствуя себя при ней мальчишкой, которого вдруг похвалили за что-то хорошее.

— А как вас зовут?

— Да баба Груня я.

От этого имени на Кругликова повеяло детством. Мало уже осталось стариков с такими именами.

А баба Груня вынула из кулька кусок сахара и кликнула Жучку. При этом виновато взглянула на Виктора: не обидится ли гость, что скармливает гостинец собаке:

— Больно она у меня сладенькое любит. Мне-то больше по сердцу кисленькое.

Жучка быстро-быстро мотала хвостом, и на зубах её хрустел сахар. Потянулась к бабке и коза:

— Вона, и тебе гостинца хотца?

Козе старушка протянула хлебного мякушка. А набежавшим курам покрошила корочку.

— Ну вот, всех оделила, — и вдруг встrepенулась, — а тебя-то, кормилец мой, и не приветила! — встала, придерживая рукой конец фартука.

— Да я есть не хочу, — быстро отозвался Кругликов, — вот может, попить.

— Пойдём, пойдём, квас у меня в самой поре. А то — молочка козьего? — и так это она сказала, что трудно было отнекиваться.

Он зашёл за ней в сени, а там и в избу. Обстановка была самая простая: деревянный самодельный, покрытый клеёнкой стол, тройка венских стульев с размашистыми дугами спинок. В углу иконки. Широкая русская печь с лежанкой, как в любом деревенском доме. На полу разноцветные половички. По стенам в рамках многочисленные фотографии: бородатые деды, молоденькие парни в пилотках и женщины в платочках. Над столом — ходики, под ними — отрывной календарь. Вот и всё богатство бабы Груни.

— Ну-ка, милок, попей пока, — вышла она из чуланчика, держа в руке большую кружку с пенящимся квасом. Такого кваса Кругликов нигде не пил, только, наверное, давно когда-то у бабушки. Холодный, ядрёный, вкуснящий.

А потом баба Груня потчевала его окрошкой да гороховой кашей — всем, что у неё оставалось. Порезала на стол и хлеб, но Виктор Иванович взял лишь маленький кусочек.

— Как у вас хорошо, покойно, — вырвалось у него.

Обстановка в избе, вид леса, подступившего к самому окну, вся эта естественность обволакивала сердце и тревожила полузабытыми картинками детства.

— Не всегда гоже-то, Витенька, — раздумчиво покачала головой баба Груня. — Вот намедни чего-то в грудях схватило, никак не вздохну. Ну, думаю, всё, помираю. Слягу, дак никто и не хватится, так и сгнию, прости Господи, — повернувшись к иконам, перекрестилась она своей тёмной худой рукой.

От этих её суровых слов сразу разрушились романтические грёзы Кругликова, а баба Груня продолжала:

— Ты поди думаешь, вот кака капризна старуха: и то не так, и эдак не так... Звала меня в ваше Березниково племянница. Она тоже одна живёт. Зимовала у ней, дак всё сердеченько изболелось. Во, гляди, патреты, — баба Груня показала на стенку с фотографиями, — мужик мой, трое сынов. Самого-то да Гришу с Петей давно похоронила, а вот Коленьку никак не могу. А ведь как ушли все четверо на войну, с той поры и не видала. По всем отревелась, а по нём — нет, похоронки не прислали, ничегошеньки. Хорошай, красавнай, ласкавай. Надежда моя — вот и жду. А коль уеду куды, придёт он, погорюет — изба заросла, заброшена, поди, и мать на погосте. Ну, как мне всё бросить? А люди думут: дура, мол, кобенится. Рази всем объяснишь... — баба Груня снова горестно вздохнула и покачала головой...

Кругликов остался ночевать в Паклихе. Раздумывал: десять музеев не заменят одной такой встречи. Вот где живая трепетная память. И открывается она не всем, а лишь в ответ на доброту. Хранить эту память надо не на пыльных музейных полках, а в сердцах.

Он лежал на постеленном бабой Груней матрасе. В приоткрытые окна врывались давно забытые звуки ночного леса, и, засыпая, он лелеял очистительную для себя мысль, что надо сделать всё, чтобы бабе Груне здесь, в Паклихе, было не тяжело ждать своего сына Коленьку.





АЛЕКСАНДР КРАМЕР

ДРУГИЕ

КИКИ

Его зовут Кики. Нет, Кики — это не настоящее имя. Так попугайчика звали, который жил в его комнате, ещё когда он был маленький, ещё когда родители были живы. Попугайчик умел говорить и по сто раз на дню произносил своё имя, вот он его и запомнил. Никаких других слов, к сожалению, больше так и не выучил.

Когда не стало родителей и он вынужден был переселиться в дом для инвалидов, то по всякому поводу произносил, да и теперь произносит, любимое слово — так оно к нему вместо имени и прилепилось.

Кики маленький, кругленький и почти как две капли воды похож на своих сородичей из племени даунов. Впрочем, мы японцев с китайцами тоже друг от друга не очень-то отличаем, но это я так...

Кики добрый. Улыбается целыми днями и готов всегда выполнить всё, что бы ни попросили.

Кики трудолюбивый. Он работает в маленьком цехе, где собирает коробочки из картонных заготовок. Сто коробочек, двести коробочек в смену, а то и все триста. Неделями, месяцами, годами... Уму непостижимо, сколько коробочек наберётся за все эти годы, но его привели однажды сюда, посадили, показали, что надо делать, — и он собирает.

Кики прилежный и аккуратный. Всё, что нужно ему для работы, стоит у него на столе в строго определённом порядке; стоит хоть чуточку этот порядок нарушить, он тут же это заметит, тщательно всё поправит и лишь после этого продолжит работать.

Кики собирает коробочки и ни на что не отвлекается. Разве на пару минут, когда, например, бабочка в цех залетит или зайдёт незнакомый кто, или... Впрочем, всё достаточно однообразно, поводов для отвлечения не слишком-то много, только иногда бывает приятно на что-нибудь переключиться, когда ты день за днём собираешь и собираешь одни и те же коробочки.

Периодически, раз, а то и два раза за день, коробочки эти Кики осточертевают, достают до печёнок прямо. Тогда он внезапно срывает с себя очки, швыряет их на пол (благо пол с мягким покрытием и стекла из пластика не разбиваются), затем, что есть силы, швыряет в пространство очередную коробочку и начинает вопить на одной единственной ноте: «Ай-йй-йй-йй-яяйй...». Замолкнет на секунду — и снова: «Ай-йй-йй-йй-яяйй...». И снова... И кулаками размахивает. И слёзы текут по щекам.

Так он кричит, бедолага, пока не устанет или пока на него снова не наденут очки. Тогда Кики стихает, сникает, голова его опускается, и он задрёмывает на считанные

минуты. Очнётся — и вновь, как ни в чём не бывало, начинает очередную коробочку складывать.

Мне однажды захотелось понять, что же это такое с ним происходит. Я нашёл себе стол, принёс ящики с заготовками и стал, как и Кики, из заготовок коробочки складывать. Какое-то время было мне даже и интересно: я старался работать как можно быстрее, точнее, даже соревнование сам с собою устроил. Но развлечением это оставалось недолго. Стало надоедать. И чем дальше, тем больше. И когда через неделю Кики завершал в конце смены своё «ай-йй-йй», мне вдруг захотелось швырнуть всё к чёртовой матери и заорать вместе с ним — что есть силы. После этого я на себе эксперименты не ставил.

До чего же хорошая штука — свобода выбора. Жаль, что Кики об этом никогда не узнает.

СТРАУС

Вначале было больно и страшно. Будто наказали — неизвестно за что — и забыли простить. И не захотели простить. А потом он стал страусом. И все страхи, и боль ушли понемногу. И, казалось, совсем, навсегда.

1

ЗПР иногда называют — задержка развития. Это когда твои сверстники болтают уже давно смешные всякие глупости, а ты всё молчишь и молчишь, все малыши рисуют уже и лепят, а ты всё никак... Это когда ты почти совсем такой же, как все, но только почти.

А ужасное самое, что эту задержку и ты сам, по тому, как относятся, тоже чувствуешь, понять только не можешь, за что, отчего же так!

2

Отставание было совсем-совсем крошечное, так что и читать, и писать, и считать — всему выучился, вот только с логикой выходило всегда плоховато, но школу, пусть специальную, по облегчённой программе, закончил всё ж таки.

После, когда стал жить в маленькой общежитской комнатке — сам, даже не сразу привык, что больше никто задевать, потешаться, бить и мучить не станет. Но внутри ещё долго какое-то гадкое ожидание оставалось, что сейчас войдёт кто-то и что-нибудь очередное пакостное и выкинет. А когда стучали, аж вздрагивал. Но понемногу проходить опасения эти стали, и внутри заживало всё, успокаивалось.

3

Долго не мог ни к какому делу прибиться, никакой работы не находилось, никак. Очень хотелось, во-первых, чтобы получалось всё сразу, но так не выходило, а его, как казалось, донимали за это, подначивали, и он смириться не мог, понять, что это нормально, что у всех сначала так... Слишком уж в интернате досталось, чтобы снова терпеть. А во-вторых, где попало работать не мог и не собирался. Обдирающий руки ржавый и жирный металл, вонючие жидкости, гудящие конвейеры, грохот кузни — всё это было ужасно, отвратительно, казалось бездушным и потому — безобразным.

Так много месяцев продолжалось, пока не занесло однажды в парк аттракционов. Здесь и остался работать, страусом, потому что никто не шпынял, не дёргал, да и учиться ничему особенному не пришлось: он ходил по аллеям, раздавал воздушные шарик и играл с малышами — всё просто и замечательно.

4

Он отчего-то выделил её, сразу; ужасно понравилась, просто не передать; всё замирало внутри, когда видел; иногда переходил потихоньку за ней с аттракциона на аттракцион — любовался; и даже дома светился потом, будто праздник.

Она чуть не каждый день приходила, после обеда, и уже, почти что всегда, до закрытия оставалась. Вот только он всё никак подойти и познакомиться не осмеливался — стеснялся.

Наконец, отважился и вечером, в свой выходной, дождался у выхода, подошёл, протянул тёмно-красную розу и застыл — безмолвный, смущённый, весь внутренне сжавшись от робости, переживания... Но она только хмыкнула с надменной улыбочкой, глазки широко-широко открыла, плечиком повела, губками пошевелила, будто что-то сказать хотела да передумала, и удалилась, а он следом пошёл, поодаль чуть; проводил до самого дома, счастливый и этим — донельзя.

И назавтра пришёл. Тоже с розой. И когда цветок протянул, вдруг смутился необыкновенно, ещё больше, чем в первый раз, пунцовый такой сделался... даже сам нестерпимый жар этот чувствовал. А она снова хмыкнула, гримаску капризную скорчила... Протянула небрежненько:

— Ладно, поклонник, пойдём, где-нибудь посидим. — И пошла себе не оглядываясь, с вялой полуулыбочкой.

5

Пять раз уже виделись. Только она никогда весёлой такой не бывала, как на качелях и горках. А так хотелось развеселить, увидеть замечательную улыбку, услышать, как хохочет от удовольствия... Тем более, что не сказал, где работает.

Он подошёл неожиданно к ней на аллее в своём страусином нарядном костюме, преподнёс галантно красную розу и внезапно... вместе с шеей снял страусиную голову.

Она сначала совершенно оторопела, как вкопаная замерла, а потом на губах вдруг гримаса прорезалась — чудовищная, уничтожающая, хохотать начала — презрительно, и смотрела, как на пакость какую-то, и стучала себя по лбу, и у виска крутила, и такую гадость сказала!.. Так к выходу и направились: оборачиваясь, гримасничая и крутя у виска; а он без сил на лавочку опустился и застыл — подавленный, уничтоженный — полуживой...

6

— Ты что, сломался? — строго спрашивала огненно-рыжая девчушка в замечательном розовом платье, настойчиво теребя его за рукав. — Сломался, да? Почему ты молчишь как рыба! Отвечай!

— Нет, не сломался. — Он, наконец, вынырнул из ниоткуда и мотал головой, не в силах сосредоточиться, осмыслить, кто же это и чего от него хотят. Наконец, удалось всё же взять себя в руки, собраться:

— Ты глупая, человек сломаться не может. Он не машина, — и внезапно улыбнулся непроизвольно, такая она была серьёзная и смешная, — я просто устал, понимаешь?

— Понимаю, конечно. Только почему ты сидишь здесь без головы? Разве без головы отдыхают? Ладно, я вижу, ты уже хорошо отдохнул. Надевай свою голову и идём искать мою маму. Я, кажется, потерялась.

— Ну вот, с головою намного лучше. Теперь бери меня за руку и идём, наконец, искать, а то мама, конечно же, вся избегалась... А тебя каждый день здесь можно найти?

— Почти каждый, я же работаю.

— А выходные?

— Выходные у меня в понедельник и вторник, а в другие дни я обязательно (под ноги смотри), обязательно в парке.

— Я смотрю. Мы тебя здесь тогда в невыходные найдём и будем вместе гулять — я, ты и мама. Договорились?

МУЗЫКАНТ

Когда одним и тем же автобусом едешь изо дня в день, к одному и тому же времени, то большинство пассажиров узнавать начинаешь и даже здороваешься. Вот мы с ним таким образом около года и сталкивались.

Он где-то раньше садился. Когда я входил, он уже сидел на своём излюбленном месте в центре салона и, отрешённо уставившись перед собой, слушал какую-то музыку.

Был он ужасно худой, нескладный, щёки запавшие, узкие губы совершенно бескровные, жидкие волосы висели длинными прядями и редко бывали расчёсаны, а в руки влезло какое-то бурое вещество, с которым он, видимо, постоянно работал; и всегда у него на шее висел яркий плеер, а в ушах торчали наушники.

Спокойно он не сидел ни минуты, что-то всё время беззвучно напевал, осторожно, боясь зацепить соседа, водил перед собою руками — дирижировал, даже подпрыгивал несколько от возбуждения; при этом некрасивое, длинное лицо его постоянно менялось: он улыбался — восторженно, осторожно, саркастически и вдохновенно ... он гневался и печалился, отчаивался и вновь надеялся... Лицо его отражало бесконечную гамму чувств и их всевозможных оттенков. Я за это про себя называл его «музыкантом».

Дважды мне удалось музыканта увидеть вне автобуса. Первый раз он шёл с какой-то седой женщиной — такой же, как он, худой и к тому же невероятно высокой. Плеера в этот раз на нём не было и, может быть, потому музыкант выглядел жалким, чем-то невероятно напуганным: голова его была низко опущена, бедняга шарахался от прохожих, вздрагивал, если вдруг к нему кто-то нечаянно прикасался, двумя руками цеплялся за руку худой великанши, зябко жался к ней... Так карманная собачонка, спущенная на землю, без всякого повода в страхе жмётся к ноге хозяйки.

А второй раз музыкант был один, и родной его плеер был с ним. Двигался музыкант довольно плохо: ноги при ходьбе заплетались, тело раскачивалось, голова на худой длинной шее моталась, как маятник... Но при этом он даже не шёл, а летел, глаза были полузакрыты, руки двигались широко и свободно, точно он управлял невероятно огромным оркестром; ещё, казалось, он пел — восторженно, упоённо, и лицо его при этом освещалось ликующей, победной улыбкой.

День был субботний, центр кипел праздным, хаотично шатающимся народом, но ему было всё равно: в своём самозабвении он люд этот просто не замечал; он врзался

в него, как форштевень врезается в воду, и толпа, как вода, расступалась, не в силах устоять перед этим напором, перед этой энергией всепоглощающего вдохновения.

И я поймал себя вдруг на том, что завидую музыканту, завидую остро тем удивительным чувствам, которые он, должно быть, теперь испытывает. Правда, должен признаться, что зависть моя продолжалась всего одно только микроскопическое мгновение.

НИНЕЛЬ И ИРАКЛИЙ

Когда-то она была очень красива! Удлиненное лицо обрамляли волнистые волосы цвета гречишного мёда, глаза были светло-зелёные, колдовские, а веснушки придавали лицу чудесную прелесть и просто сводили с ума. А потом она заболела. Так же, как и брат, которого теперь уже нет. Болезнь неумолимо заковывала её тело в панцирь, почти сразу отняла возможность ходить, а теперь уже даже руки двигались еле-еле. Недуг прогрессировал, но происходило всё мучительно медленно, и каждый новый день нёс новую невыносимую боль; никто во всём мире ничем не мог ей помочь.

Чтобы не оставаться всё время одной и хоть как-то отвлечься от боли, она попросилась на работу в маленький цех предприятия для инвалидов, где укладывала какие-то инструкции на дно картонных коробочек — это она могла пока ещё делать. Здесь они и познакомились.

В равнодушной своей жестокости природа дала ему силу и красоту, а разум отняла почти весь: он не разговаривал, не читал, не писал, но понимал и мог делать довольно много. И работа в прачечной была у него, по меркам этого заведения, сложная и ответственная.

А тут он её увидел, и с ним что-то случилось — непонятное, необъяснимое, что оказалось сильнее ущербного разума, выше издевательской воли природы. Будто душа его непонятным образом разглядела в этом бесплотном, неподвижном почти существе с реденькими тусклыми волосиками, ввалившимися щеками и узким беззубым ртом — изящную, удивительную красавицу, какой была она множество лет назад.

Он носил в кошельке её фотографию, ту, где она сидит в кресле и протягивает к нему руки, и улыбается, и всем подряд — знакомым и незнакомым — фотографию эту показывал. Подойдёт, достанет бережно из портмоне, поддержит недолго у вас перед глазами, будто жалуясь, разведёт руками недоумённо и пойдёт, сокрушённо качая кудлатой большой головой.

Стоило выпасть свободной минуте, как он немедленно шёл в упаковочный цех, к её столику. Подойдёт, снимет с неё пепельный паричок (не любил отчего-то), натянутый, точно шапка, до самых бровей, и гладит, гладит по голове, потом поцелует осторожно бескровные губы и пойдёт по своим делам.

На этой работе, как и на всякой другой, людям положен отпуск. Ну, и ему дали отпуск, две недели сказали на работу не приходить. Но он, к удивлению многих, всё равно приходил к началу каждого рабочего дня, и стоял неподвижно у двери, и подолгу, неотрывно смотрел на неё.

С тех пор, что он появился, жизнь изменилась так сильно! Стоило ей его только увидеть, только почувствовать его приближение, как на серых щеках проступала бледная краска, на бескровных губах появлялось подобие слабой улыбки, боль отступала, и она вся подавалась ему навстречу.

Какое же это необыкновенное счастье, когда есть замечательный друг, которого можно попросить о чём угодно. Он часами катал её по дорожкам парка, осторожно

кормил мороженым из ложечки, водил в кино, гулял с ней по городу, завозил в магазины и безропотно ждал, пока она насладится чудесным видом нарядной одежды, обуви, украшений... Боже мой, сколько же удовольствий и радостей пришло вместе с ним! Изредка они даже отправлялись в маленькое путешествие: он закатывал её в электричку, и они ехали, ехали... Он даже домой к ней заходил иногда, но только вёл себя очень странно: сядет в низкое кресло, упрётся локтями в колени, обхватит лицо ладонями и сидит неподвижно часами, смотрит не отрываясь, не дыша, а потом встанет вдруг и уйдёт; даже не поцеловал её дома никогда, ни единого раза.

Работа — это работа, от неё устаёшь, особенно когда неподвижно сидишь в инвалидном кресле, и даже позу переменить нет ни малейшей возможности. Когда эта усталость становилась невыносимой, она протягивала к нему худенькие, бессильные руки, и он немедленно, сломя голову спешил к ней на помощь. Поднимет из коляски, прижмёт к себе, как драгоценность, нежно и крепко, и ходит, и ходит кругами по цеху, будто танцует, а она положит голову к нему на плечо, обнимет за шею и улыбается тихо, и глаза сияют, будто два тихих, чудесных огня, будто два тихих, чудесных, уже нездешних огня...

МАРТИН

1

И всегда одни и те же унылые стены. И всегда одни и те же опостылевшие, невзрачные, постные лица. И вечно одно и то же, одно и то же! Совершенно ничего, никогда в тоскливой, безнадёжной этой и безотрадной жизни не происходило. И так годы, и годы, и годы...

И вдруг в этом заунывном, безотрадном, мышинном существовании возникает — парк аттракционов! Карусели, качели, паровозик и горки; океан сумасшедшего, необузданного веселья, заразительного, неудержимого хохота; нескончаемый парад клоунов, карнавальные шествия, уморительные кортежи; и петарды, и гроздь разноцветных шаров, и толпы беспечального люда... и музыка, музыка, живая развесёлая музыка, до самых бездонных, голубых с зелёным небес...

А перед самым уходом — в громадном кафе под разноцветными зонтиками — их напоили превкусными, ароматными соками и накормили мороженым в огромных вафельных фунтиках, которые, хохоча и заигрывая, разносили по столикам расфуженные огненно-рыжие клоунессы и игривые ведьмочки; и было так весело, так необычайно весело...

И на память об этом ошеломительном, волшебном событии остались у Мартина оранжевый резиновый шарик с какого-то аттракциона и чайная ложечка, которой он ел мороженое.

Ложечка была из блестящей красной пластмассы и такая необыкновенно красивая, что он моментально прикипел к ней всем своим существом и больше ни на минуту расстаться ни с ней, ни с шариком оказался не в состоянии. Потому что и шарик, и ложечка были дивным, неизгладимым воспоминанием, отголоском чудесного, давным-давно растворившегося во времени, но ни капельки не позабытого, не потускневшего в памяти праздника.

С этих пор шарик всегда лежал у него под подушкой, и Мартин перед сном обязательно с ним прощался. А ложечку он повсюду носил с собою, и ел всё только ею. То, что нельзя было есть драгоценной ложечкой — не ел вовсе. Только на ночь выпускал её из своих рук, клал под подушку рядом с оранжевым шариком, последний раз до неё дотрагивался и только тогда засыпал.

Дом, в котором он прожил почти всю свою жизнь, уже и до того, как он в нём поселился, был очень старым, но за последнее время он обветшал совершенно, и однажды им объявили, что в нём надо сделать основательный, капитальный ремонт, и поэтому все они — все до единого — переселяются. За годы, что он здесь провёл, у него, как и положено, накопилось множество разнообразных вещей. Всё подряд забрать на новое место почему-то не разрешили, и он, не в силах решить, с чем можно расстаться, весь свой драгоценный скарб бесконечно перебирал, сортировал, перекладывал... Времени отвели совсем мало, суета в доме стояла из-за этого страшная, нервотрёпка ужасная... и когда они все, наконец, переехали, оказалось, что оранжевый шарик на месте, а ложечка, его драгоценная красная ложечка — потерялась. Нигде, нигде её не было!!!

Он бродил и бродил по новым комнатам как потерянный. Слезы то и дело наворачивались на глаза. Дыханье спирало. Одна щека от безостановочной нервотрёпки стала подёргиваться. Ему казалось, что здесь всегда холодно. Есть он больше не мог, потому что есть стало нечем. Никакие другие ложки и вилки он не признавал, видеть не мог... Через несколько дней голод, видимо, стал таким невыносимым, что он попытался есть суп из кастрюли горстями — это оказалось так мерзко, что он тут же бросил и больше ни к какой еде вообще не притрагивался.

Его всякими способами старались уговорить, предлагали хотя бы попытаться есть что-то руками — например, курицу или мясо. Он устроил скандал, закатил невиданную истерику, и даже попробовать хоть кусочек чего-нибудь — наотрез отказался.

На шестой только день у медицинской сестры, наконец, появилась здравая, но совсем не простая идея — ехать в парк аттракционов. Попытка — не пытка. Всё лучше, чем ждать и надеяться неизвестно на что. Кто назвался, тот, как говорят, и попался: по этому принципу медсестру же в поездку и отрядили.

Она возвратилась из командировки лишь поздним вечером, уже после ужина, и — о чудо — привезла две точно таких же красных пластмассовых ложечки! Одну из них сразу (на всякий пожарный случай) спрятали в надёжное место, а другую — выманив Мартина из его комнаты — положили ему под подушку, рядом с резиновым шариком, где она ночью всегда и лежала — будто сама отыскалась, будто, как в сказке...

И он, наконец, успокоился и мог снова есть и дышать. И, хотя бы на время, стал счастлив.

МАТРЁН И МАТРЁНА

1

Матрёна всегда первая появлялась. Придёт утречком, часам к десяти, сядет на лавочку под навесом возле центральной почты, платочек цветной или шарфик на шею поправит, руки чинно на толстых коленках сложит и сидит неподвижно — ожидает. Потом Матрён прибывает. Неспешно движется, невозмутимо, и подсолнух пластмассовый — чуть не в настоящую величину — перед собой несёт гордо, с сознанием собственной значимости. Едва Матрён к скамейке приблизится, Матрёна встаёт, глазки скромно потупит, с ноги на ногу переминается, ладошку, ковышню сложившую, Матрёну протягивает. А Матрён здороваться не торопится, в небо глядит, о чём-то важным раздумывает, вроде как Матрёну и не замечает: он тощенький, ниже Матрёны на полголовы, но мужское своё достоинство блюдёт неукоснительно. Наконец, заметит-таки, любезность её и скромность кивком головы одобрит, руку подаст, цветок

любимый, к которому никому дотронуться даже не позволяет, Матрёне протянет, по плечу благосклонно похлопает, и усядутся они после всех этих церемоний на лавочку рядышком: улыбаться станут, в пространство глядеть и радоваться друг дружке.

Сидят не очень и долго. Ровно столько, наверное, чтобы приятное общество ни капельки не надоело, чтобы радость общения нисколько не притупилась. Потом, почти одновременно, встают, и Матрёна первым делом, глазки потупив, владельцу подсолнух замечательный возвращает; Матрён подсолнух возьмёт, осмотрит придирчиво, листочки погладит, удостоверится, что цветку ни малейшего вреда не причинили, и лишь после этого милостиво Матрёну по плечу крутому погладит; затем «поручаются» друзья на прощанье и до завтра в разные стороны разойдутся. И всё это без единого слова, без единого лишнего жеста — ритуал, церемониал, театральное действо.

2

Матрёна умерла ночью, внезапно. Заключение врачей был кратким: апноэ — остановка дыхания. Матрёну никто, разумеется, о смерти Матрёны не сообщил — кому бы это было нужно, зачем? — и он, как всегда, пришёл к лавочке возле почты, стал как вкопанный перед пустым местом, где его бессчётное число лет неизменно встречала Матрёна, и стал ждать, не в силах представить, что она не придёт.

День шёл своим чередом. С каштана у почты падали на Матрёна жёлтые листья, мимо сновали равнодушные люди, катились машины, трамваи... Иногда набегала туча и недолго шёл дождь. Прекращался. Набегал коротко снова... Матрён стоял неподвижно в мелкой лужице среди опавшей листвы, держал крепко, двумя руками подсолнух и ждал. Ждал, ждал и ждал.

Уже стало смеркаться, когда мама-старушка нашла Матрёна там, где и не ожидала найти — ведь он только утром сюда и приходил, никогда больше к почте не возвращался. Она попыталась было заставить его вернуться домой, но он ни за что не хотел уходить, стал кричать, упираться... Старушка плакала, уговаривала, пока не поняла, что сегодня самой ей с сыном не сладить, — и вызвала «скорую».

Матрён ещё несколько раз приходил к заветному месту, но только теперь, по просьбе матери, почтовики вызывали врачей немедленно; а потом, когда медикам стало понятно, что просто так навязчивость эту не устранить, бесконечно долго держали Матрёна в больнице, кололи, давали таблетки, и после ещё много месяцев без сопровождения вообще никуда не пускали.

С тех пор Матрён с утра до ночи бродит с подсолнухом, как неприкаянный, по всему городу, по центральным улицам и глухим переулкам... Иногда появляется он и возле центральной почты, но никогда возле лавочки не останавливается, даже к ней не приближается.

Не знаю, может, он понял что-то и Матрёну свою где-то в других местах ждёт и ищет, а может, это только домысел мой. Не знаю...

ТИНА

Видели ли вы когда-нибудь, как Тина здоровается? Ах, не видели! Тогда вам непременно нужно это увидеть, непременно.

Комната, где складывают инструкции для берушей, довольно большая. В ней сидит человек двадцать, каждый за своим столиком. У Тины тоже есть такой столик, он стоит у окна, прямо возле входа, но она никогда не сядет за него сразу, а сначала

остановится в дверях и надменным, всевидящим взором оглядит помещение — все ли на месте. Затем не спеша, с достоинством высокородной дамы подойдёт к каждому, небрежно, снисходительно даже, протянет крошечную полную ручку и голосом еле слышным, расслабленным, с интонацией высокомерной, даже презрительной несколько... нет, не произносит, выдавливая: «Тина. Здравствуйте».

Да и как ещё можно с вами здороваться и к вам относиться, если вы даже не помните, что ели на завтрак первого мая прошлого года. И вообще, что вы помните?! Пять дней рождений, десять праздников? А дни рождения всех, кто с вами знакомился когда-либо? А все поездки за город в мелочах и подробностях? А где вы находились... Да что с вами, слабопамятными, без толку разговаривать.

В столовой у Тины своё персональное место. Другие могут сидеть, где хотят, но она — Тина — должна сидеть только здесь и ни за что не потерпит, чтобы её права ущемлялись; и если кто ненароком займёт её место, мгновенно превращается в фурию. Её полное, надменно-робкое личико багровеет, она вопит что-то нечленораздельное, щёки прыгают, губы дёргаются, руки грозно молотят воздух, даже может ударить.

Здесь к такому поведению не привыкли, поэтому Тина всегда одна-одинёшенька, с ней даже не разговаривают, а вот напугать могут запросто, чтобы хоть как-то отомстить за противный характер. Напугать её очень просто. Достаточно крикнуть: «собака», как Тина приходит в ужас, забивается в дальний угол, дрожит там и плачет. А уж вида живой собаки совсем не выносит и на прогулке её нужно крепко-прекрепко держать за руку, потому что если любую, даже карликовую, собачку случайно увидит — убежит — не догоните.

Зато работает Тина превосходно. Ни у кого нет такого рабочего места! Всё разложено наилучшим, наирациональнейшим образом, в строгом порядке — неукоснительно соблюдаемом. Потому получается всё замечательно, с максимальной скоростью, чисто и аккуратно. Мало того, она ещё успевает в окно поглядывать и всё, что там происходит, запоминать до мельчайших, невероятных подробностей: кто, когда приезжал, что делал, с кем разговаривал, во что был одет... Проверять бесполезно: всё будто вгравировано в память.

Если вы как-нибудь попадёте в комнату, где складывают инструкции для берущей, Тина обязательно поднимется с места, подойдёт, в своей единственной и неповторимой манере протянет вам руку, назовётся и непременно спросит, как зовут вас и когда у вас день рождения. Если вы ей это расскажете, можете быть абсолютно уверены — теперь, в этом эгоистичном и беспамятном мире, есть кто-то, кто будет вас помнить всегда.



ВАСИЛИЙ БЕЛОВ: СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ



ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ РУССКОГО БЫТИЯ

Художественный мир Василия Белова в конце прошлого века стал своего рода гимном русской крестьянской культуры. Городская цивилизация, самонадеянно решившая, что её рационалистический уклад вполне самодостаточен, вдруг ощутила некую пустоту в своём пространстве, которая не заполнялась ничем, а с течением времени становясь только шире, приобретала свойства тягостной болезни, непонятной и неизлечимой никакими «интеллектуальными» лекарствами. И перед русским народом и всеми иными этническими образованиями тогдашнего Советского Союза, словно волшебный и почти беспредельный мир, как бы из небытия или глухой неизвестности внезапно возник огромный материк традиционной русской народной жизни, воплощённой в слове, в образах, живых примерах, в деталях, именах, умениях и распорядке. Таково было впечатление от прозы писателя, проникновенно повествующего о простых людях, их радостях и бедах, о биографиях, вписанных в бытие великой страны и растворившихся в нём, доносящихся до нас теперь только говором и лицами, да ещё отрывочной памятью о больших и малых событиях.

Тогда казалось, что большая страна обратится к русскому фундаменту жизни, найдёт в нём необходимую опору и построит царство труда и справедливости, возблагодарив всех тех, кто неимоверными усилиями нёс на собственных плечах бремя социалистической идеи.

Шли годы, крепло течение литературы, посвящённой русской почве. Но рядом и на ключевых точках литературного ландшафта напивывалась соками нашей земли иная словесность, национально выхолощенная, наделённая какой-то дистиллированной кровью. Она отодвигала наследников отечественной художественной традиции на обочину литературного процесса, превращая в пошлый фельетон сердечные слова, вышедшие из самой глубины земной. И народ, по душе русский, а внешне всё ещё советский, незаметно для себя начинал говорить о малозначащем, задумываться над ничтожным, находить разумные объяснения низкому и уродливому.

Писатели, которых литературные говоруны называли «деревенщиками», на страницах своих рассказов и повестей, стихотворений и романов сражались за свою страну, спасая уже самые её основы от поругания и уничтожения. Однако государство, в котором происходили эти невидимые битвы, было уже обречено — и собственной вненациональной доктриной, и людьми, вскормленными западной манной и находящимися на ключевых постах державы.

Вся история советской «деревенской», а на самом деле подлинно русской литературы являет собой трагическую летопись поражения. С этим можно не соглашаться, однако стоит помнить евангельские слова о зерне, которое должно умереть, чтобы затем возродиться. Именно так стоит понимать подвиг писателей-«деревенщиков», потому что они — не представители творческого цеха, в котором можно менять по своему усмотрению приёмы и литературные механизмы. На самом деле — они внуки русской

литературной классики, которым выпало разбираться с наследством дедов и отцов под присмотром цепких конвойных, на морозе и зное, преодолевая слабость тела и прислушиваясь к далёким голосам, идущим из смутной толщи памяти.

Василий Иванович Белов судьбой своей был призван в первую линию этого духовного и творческого ополчения. Поразительно острое зрение и речевая свобода позволили ему создать множество литературных героев, которые стали близкими и дорогими всякому человеку, спокойно и с достоинством говорящему о себе: «Я — русский». Удивительный лиризм его прозы даёт нам право назвать Василия Белова сердцем русской литературы последних десятилетий. Он чувствовал народную жизнь как никто другой и считал, что отечественная классика коснулась важнейших почвенных сюжетов лишь в очень малой степени. Ему не удалось воплотить все многообразие современной подлинно русской жизни — не хватило физических сил, и он ушёл, оставив нам свои книги, с которыми придётся жить бок о бок уже не поколению 60-летних, а новым молодым.

Его повести и рассказы являются продолжением той кристальной литературы, к которой принадлежат Толстой и Чехов, Достоевский и Лесков. Не отображение быстротекущей жизни, а погружение в народное бытие — вот главное качество произведений Белова. Конечно, на первый план при таком понимании его творчества выходят вещи философские и орнаментально-житейские, однако поразительное напряжение любви к своим героям от автора передаётся читателю, и уже он, дитя нынешнего столетия, горюет и плачет, смеётся и вздыхает над живыми страницами писателя. Это — литературная часть творческой судьбы Василия Белова, но есть ещё и другая её сторона, связанная с книгой «Лад».

Существует целая полка книг, посвящённых русскому характеру и народным обычаям. Все они писались в эпохи, когда Российская империя не стыдилась слова «русский», а либеральный лай в отношении этнической основы государства имел свои пределы. В позднее советское время эти книги стали переиздаваться, хотя в середине XX века были изъяты из круга массового чтения и доступны лишь специалистам. Между тем, такие исследования и очерки — продукт учёного ума или публицистического, пусть и глубоко положительного, взгляда на вещи.

Соединение предметной точности, широты охвата того или иного явления, любви к изображаемому и осознанной собственной принадлежности к русскому народу — подобный культурологический и художественный синтез в книге «Лад» явлен нам впервые. Сегодня зрелый человек и подросток, только начинающий понимать своё место в нынешнем почти «вавилонском» столпотворении этносов, найдут в произведении Василия Белова координаты, в которых необходимо строить собственную жизнь и семейный уклад, налаживать чуткое взаимопонимание с природой. Всё это может показаться химерой современному городскому человеку. Хотя в действительности он сам представляет собой только пыль от движения стран и народов через времена и пространства.

Пройдёт совсем немного лет, и русская молодёжь обратится к творению Василия Ивановича Белова в надежде найти на его страницах духовно верную карту отечественного бытия. И уже здесь, в нравственном, культурном и интеллектуальном поле традиции, будет обозначен чёткий вектор дальнейшего развития родной страны. Вот почему «Лад» можно считать не только бесценным художественно-историческим документом, но и воспринимать как побуждение к действию. Как программную книгу, в которой заключены сохранившиеся коды древней русской цивилизации.





ПЁТР ТКАЧЕНКО

ЧТО БЫЛО ВПЕРЕДИ?

Тридцать лет назад был опубликован роман Василия Белова «Всё впереди» (Наш современник. № 7, 8, 1986; Роман-газета, № 6, 1987). Теперь по прошествии времени и ввиду свершившихся событий — происшедшей в России новой, очередной, на этот раз «либерально-демократической» революции, можно уверенно сказать о том, что роман этот занимает особое место в русской литературе второй половины XX века и в русской литературе в целом. Занимает он особое место и в творческом наследии выдающегося писателя.

Прежде всего, это роман — *мировоззренческий* и даже *идеологический*. А значит и должен быть оценён именно с этой точки зрения. Роман с претензией на предсказание будущего, что было замечено даже его непримиримыми критиками.

А потому не только юбилей романа Василия Белова «Всё впереди» явился поводом и причиной снова обратиться к нему. А то обстоятельство, что предсказываемое в нём сбылось — в России произошла очередная революция, причины и, скажем так, «механика» которой и были представлены в романе. Точнее было бы сказать так: какой тип сознания людей, получивший преобладание в обществе, непременно приводит к социальному нестроению и революционному анархизму.

Кроме того, Василий Белов в своём романе коснулся извечного противоборства *цивилизации* и *культуры*. И — только России присущего, нигде более в таком виде не встречаемого соотношения народа и интеллигенции, конфликта между ними. Автор романа «Всё впереди» изобразил новую интеллигенцию, так называемых «шестидесятников», которые пришли на смену «советской интеллигенции» как образованной части общества. Это же была идеологически озабоченная, революционно настроенная, переполненная критицизмом к власти, государству и народу часть интеллигенции, дерзнувшая на мировоззренческое и идеологическое водительство.

По сути, эта часть интеллигенции, вернувшись к своей прежней дореволюционной природе, подготовила революцию начала XX века. Она вернулась к своему феномену, не встречаемому в других странах и обществах. Ведь, «говоря о русской интеллигенции, мы имеем дело с единственным, неповторимым явлением истории... Как известно, это слово, то есть понятие, обозначаемое им, существует лишь в нашем языке» (Г. Федотов). Опять превратилась в «особого рода соединение», которое вступило в весьма знаменательные «отношения с «народом», со «стихией», именно — отношения борьбы» (А. Блок). Но почему произошло такое перерождение интеллигенции в «шестидесятничество»? Ведь «революционная Россия изжила противоположение интеллигенции и народа. Правда, в значительной мере ценой уничтожения интеллигенции» (Г. Федотов).

Такое перерождение интеллигенции в советский период истории стало возможным потому, что в обществе нашем к тому времени сложилось уникальное положение, когда реально происходившие духовно-мировоззренческие и социальные процессы не соответствовали их идеологическому обеспечению. Образовался, по сути, вакуум идеологии, брешь, в которую хлынули обломки былых и случайных воззрений... Что было впереди? Впереди была новая, очередная революция в России. Так нужно понимать название романа Василия Белова — «Всё впереди».

Ко времени выхода его в свет в нашем обществе была уже провозглашена *«революционная перестройка»*. Именно — революционная... Иными словами, была предпринята революция сверху. Хотя на декларативном уровне всё происходящее представлялось как *реставрация*. И тут был сокрыт главный обман творцов новой революции. Реставрационные процессы в нашем обществе начинались всё-таки в середине тридцатых годов, но никак не в 1991–1993 годы.

Но новая революция была выставлена как реставрация, как якобы установление справедливости, порушенной катастрофой начала XX века... Последовала отмена коммунистической идеологии. Вслед за ней опять-таки *революционный*, чёрный передел собственности. Возвращение к варварству классового буржуазного общества с его социал-дарвинизмом, звериным «естественным отбором». Афишировалось всё это как выход из советского «тупика» с его семидесятилетним «падением» и возвращением к «исторической России». Такая мировоззренческая невяница вызывала полную прострацию в умах и душах людей, родившихся, выросших и состоявшихся в советский период истории. Впрочем, эта идеологическая манипуляция в «демократической» революции нашего времени требует более пристального анализа. Мы же касаемся её лишь в той мере, в какой это необходимо для понимания романа Василия Белова.

Это роман о том, как и почему люди, являющиеся, так сказать, продуктом советского образа жизни, доставшегося дорогой ценой, не приспособленные жить ни в каких иных условиях, кроме этих, оказались неистовыми, непримиримыми противниками этого образа жизни?.. Но тут нет ничего нового. Это выходит из самой природы всякой революции, которая является не столько социальным феноменом, сколько духовно-мировоззренческим, психологическим и даже психическим. Во всякой революции в результате духовных насилий люди впадают в невменяемость: «Что делать, ведь каждый старался свой собственный дом отравить» (А. Блок).

Роман Василия Белова «Всё впереди» был встречен единодушным его неприятием и отрицанием. Трудно, в самом деле, принять за литературную критику то, что вменялось в «вину» писателю. Скорее, творцы «демократической» революции нашего времени узнали себя в этом романе. И их пишущая обслуга повела с ним беспощадную борьбу.

Это был целый вал статей, удивительно однообразных, с предельной критикой не только романа, но и самого писателя. Причём авторов — исключительно либерал-революционных воззрений. Кажется, только статья Вячеслава Горбачёва «Что впереди?» противостояла этому, какому-то и вовсе самодовольному и разнузданному критиканству (Роман-газета. № 7,8, 1986; Молодая гвардия. № 3, 1987). Становилось совершенно ясно, что такой тип сознания — либеральный и революционный — получил в нашем обществе к тому времени абсолютное преобладание. Но как теперь припоминается, не верилось в то, что это может привести к столь печальным трагическим революционным событиям. Причём не верилось всем.

Но зададимся вопросом: а ново ли это для такого рода мировоззренческих, пророческих романов? Не только не ново, а, можно сказать, абсолютно неизбежно.

Припомним, что уже роман «Некуда» Н. Лескова крайне не понравился либеральной общественности из-за своего «направления». Д. Писарев поставил Н. Лескова в ряд «свирипых истребителей будущего». Но примечательно ведь — прозрение будущего, того, что впереди, названо его противоположностью — «истреблением будущего»... Но был ведь ещё у Н. Лескова пророческий роман «На ножах». Однако писателю так и не простили его пророчеств. Либеральный сыск оказался для него пострашнее всякого иного. До такой степени, что Н. Лесков, в творчестве которого «был слышен голос народной России», и до сих пор остаётся, по сути, «прозванным гением», хотя М. Горький ставил его рядом с Л. Толстым и Ф. Достоевским.

Известно, как духи революции, узнавшие себя в романе «Бесы», мстили Ф. Достоевскому. Вычёркиванием из литературы, неизданием почти во весь советский период нашей истории. И жестоким наказанием филологов, изучавших творчество великого писателя. Понятно, что мстили за его невероятную пророческую силу, о чём позже писал Н. Бердяев: «Когда в дни осуществления революции перечитываешь «Бесов», то охватывает жуткое чувство. Почти невероятно, как можно было всё так предвидеть и предсказать».

По сути, то же самое произошло на наших глазах и с романом Василия Белова «Всё впереди». Начали, кажется, сразу с «тяжёлой артиллерии», с выступления заведующего кафедрой теории литературы МГУ П. А. Николаева на Всесоюзном совещании заведующих кафедрами общественных наук. Вооружённый, разумеется, «передовой» теорией, заведующий кафедрой обвинял писателя в некомпетентности в рассуждениях «о таких понятиях, как цивилизация и культура, интеллигенция, нравственность, христианство, город и деревня»: «А ведь это чревато творческими поражениями (среди них я бы назвал роман «Всё впереди» В. Белова, только что опубликованный журналом «Наш современник»). Нашим писателям-деревенщикам не следует слишком торопливо судить о городе. Конечно, из деревенской избы видно многое, но не всё» (Московская правда. 4 октября 1986).

Почему Василий Белов, родившийся в деревне, но с юности являющийся городским жителем, теоретiku литературы представлялся в «деревенской избе»? Да потому, что предварительно лучшая часть прозы была обозвана «деревенской», которая якобы ниже рангом, чем вся остальная, «решающая проблемы». А лучшая поэзия обозвана «тихой лирикой», не в пример «эстрадной» поэзии, не удержавшейся ни на площадях, ни в душах...

Словом, писателю, обозванному деревенщиком, отказано размышлять о том, что дозволено лишь избранным, стоящим на страже «скинии откровения», то есть — чистоты марксистско-ленинской идеологии.

«Городских людей, московских жителей, попытался написать Василий Белов в романе «Всё впереди»... Трудно узнать тут Белова, признанного мастера литературы, прекрасно разрабатывающего «деревенскую» тему» (Ольга Кучкина. Странная литература// Правда. 2 ноября, 1986). И опять-таки, как аргумент, как высший довод выдвигается принадлежность писателя к «деревенской» теме. Забавляет ирония критикессы о «наличии дьявола» в романе. Дескать, чего это вдруг персонажи его размышляют о дьяволе. Что тут скажешь? Диковинное племя, отрицающее духовную природу человека, для кого он лишь «материальная скотина» (Н. Гоголь), не ведает ни о Боге, ни о дьяволе...

Прямо-таки писатель якобы изменил самому себе, обратившись к городской теме. Не станешь же признавать, что это роман мировоззренческий и идеологический, даже если автор его «писатель-деревенщик». А потому и обозвали его семейно-бытовым, городским. Да к тому же он явно отличается от всего, созданного писателем ранее.

И, значит, роман «не удался». «Роман «Всё впереди» В. Белова к удачам этого талантливой писателя не отнесёшь, даже если очень того захочешь» (Ю. Суровцев. Огонёк. № 11, 1987). Какое там «хотение» при столь всеобщем негодновании на писателя, дерзнувшего изображать «дичающую» интеллигенцию, ведущую людей туда, где никого ничего хорошего не ждёт. В том числе и саму эту интеллигенцию, точнее «интеллигентщину» (Н. Бердяев).

Но такого рода идеологические романы по самой природе своей уступают в избразительности и «объективированности». А потому вменять им это в вину нет никаких оснований.

Д. Урнов, дабы сказать о якобы несостоятельности романа, выискивал «проблему» о «соотношении авторского взгляда с точкой зрения персонажей» (Вопросы литературы. № 9, 1987). Поди узнай, где точка зрения автора, а где персонажа, если всё сотворённое — и положительное, и отрицательное — во всяком художественном произведении есть плод ума и души писателя. Ничто ниоткуда *помимо него* в текст не привносится...

Василий Белов, «как это уже знают все» (примечательный аргумент) «сделал назад не шаг, и даже не два, а ещё больше» (Дмитрий Иванов. Огонёк. № 2, 1987).

«И это — Белов? Таким вопросом задаёшься почти на каждой странице его последнего романа. Неужели это он, Василий Белов, признанный мастер языка, замечательный художник, одним существованием которого гордилась — и не без оснований — наша словесность, неужели он написал — это?» (Вопросы литературы. № 9, 1987). И уже не текст анализировал, а выносил приговор самому писателю: «смута, чёрные, нечистые чувства овладевают душой писателя».

Да что же это такое? В чём тут дело?! Наблюдая весь гвалт вокруг романа «Всё впереди», так мог спросить простодушный и доверчивый читатель. А. Мальгин это «откровенно» объяснил. Оказывается, один из персонажей романа Миша Бриш — не того, как следовало бы, роду-племени... И идеолог от литературы А. Мальгин разразился демагогической, дежурной для такого рода осуждений тирадой. Разумеется, не имеющей никакого отношения к тексту романа «Всё впереди» уже потому, что ничего подобного в романе «Всё впереди» нет: «Скажу откровенно, называя вещи своими именами: мне, русскому человеку, стыдно, горько было читать те страницы романа, на которых когда намёками, а когда и впрямую поощряется национальное высокомерие, утверждается рознь между представителями разных народов и народностей нашей страны. Нет, никогда не сеяла великая русская литература рознь между народами, никогда не играла на тёмных инстинктах читателя, никогда не унижала представителей других национальностей. Подлинный патриотизм не имеет ничего общего с шовинистической спесью...» (Вопросы литературы. № 9, 1987).

И — с угрозой, что, дескать, разговор о русском «шовинизме»... «ещё впереди»... Печально, что эту русофобскую демагогию, никаким образом не выходящую из текста романа «Всё впереди», разделил журнал «Вопросы литературы», претендовавший на некоторую академичность, в приписке «От редакции»: «Что касается статьи А. Мальгина, то надо прямо сказать: редакция разделяет общую оценку критика и считает этот роман явной творческой неудачей одного из наших ведущих прозаиков».

Таковыми ещё совсем недавно были литературные нравы. Теперь, когда никакие осуждения литературы невозможны по причине того, что литература изъята из общественного сознания, когда вместо литературно-художественного процесса устроен премиально-фуршетный дурман, и писатели с ног сбились, сшибая гранты и премии, невольно думаешь о том, что, может быть, и лучше, что подобная демагогия

не отравляет души образованной части общества, следившей за литературой и её обсуждениями...

Ну, писала же вполне серьёзно «прогрессистка» Наталья Иванова о романе Василия Белова, что «сама авторская позиция носит в романе черты мещанской растерянности перед движением времени» (Знамя. № 1, 1987). Каким оказалось это «движение времени», теперь уже вполне ясно. Очередная трагедия крушения страны и общества, исход которого ещё не вполне ясен, оказалась далеко не оптимистической... Да и могло ли быть иначе, если идеологическое обеспечение нового потрясения строилось на обмане — откровенная апология революции выдавалась за *эволюцию*. Ведь предлагались не реформы, и уж тем более не новое, демократическое обустройство государства, а *слом народной идентичности*, перековка человека, столь памятная по предшествующей революции начала XX века: «Слом традиций привычного образа жизни... Россия сегодня имеет уникальный шанс сменить свою социальную, экономическую, в конечном итоге историческую ориентацию, стать республикой «западного» типа» (Егор Гайдар. Государство и эволюция. М., Евразия, 1995). Неужто это — *эволюция*, а не *революция*?..

Да, роман «Всё впереди» непривычен для писателя. Во всяком случае он явно выбивается по своему стилю из ряда его предшествующих произведений. Но это не даёт никаких оснований считать его неудавшимся, как почти в один голос твердили его критики. Это общее свойство таких мировоззренческих, идеологических романов, в которых изобразительность, например, сама уступает место их «философичности». Ф. Достоевский отмечал, что в его романе «Бесы» тенденция преобладает над художественностью. А потому общее свойство такого рода романов выставлять в качестве их недостатка просто несправедливо.

Даже название своему роману «Всё впереди» Василий Белов взял из романа Николая Лескова «На ножах». Именно так называется одна из главков в романе Н. Лескова. Казалось бы, что непримиримые и неистовые ниспровергатели романа В. Белова «Всё впереди» должны были бы скорее упрекать писателя в том, что он слишком уж покорно следует за классиком, чем напрочь отрицать его, уверяя читателей в том, что писатель в этом романе якобы потерпел неудачу. Есть и другие переключки в романах Н. Лескова и В. Белова. Можно даже сказать, что роман «Всё впереди» написан как бы с оглядкой на роман «На ножах». Но этого как раз и не было замечено. А это значит, что в романе «Всё впереди» было нечто такое для критиков неприемлемое, что они напрочь отвергли его без всякого анализа. Бесы и духи революции, действительно, узнали себя в этом романе и повели с ним непримиримую борьбу, как якобы консервативным, только мешающем торжеству их «передовых» и «прогрессивных» идей, таковыми, как теперь уже совершенно ясно, не являвшимися.

В самом деле, в романе «Всё впереди» есть и сюжетные, и смысловые переключки с романом «На ножах», которые уж никак нельзя посчитать случайными. Скорее всего, идя на такие переключки, Василий Белов тем самым указывал на то, какой именно традиции в русской литературе в данном случае он придерживается. Традиции мировоззренческого, идеологического, социального романа, которая с наибольшей силой и невероятной прозорливостью и даже пророчеством сказала в творчестве Н. Лескова и Ф. Достоевского.

И само это понятие — «всё впереди» — несколько неопределённое, романтическое порывание в неведомое будущее, как уход от прошлого и неумение жить настоящим, и в романе «На ножах», и в романе «Всё впереди» связано не столько с мужским, сколько с женским началом.

В романе В. Белова это — Люба Медведева, учительница музыки одной из московских школ, которая «всегда жила завтрашним, вернее, послезавтрашним днём, думая только о будущем, не замечая настоящего и совсем не вспоминая о прошлом». Не обременённая ни прошлым, ни настоящим, погружённая в эту романтическую мечтательность, она, естественно, считала, что самое прекрасное у неё впереди. В романе Н. Лескова, это — Лариса Платоновна Висленева: «Вся жизнь Ларисы ещё впереди».

В романе «Всё впереди» как некое видение появляется белая лошадь. Наркологу Иванову она показалась *цыганской*: «Увидел белую, скорее всего, цыганскую лошадь». Такое определение можно понять как некую неприкаянность. Миша Бриш заключает пари с Аркадием, своим другом, на бутылку виски «Белая лошадь» — соблазнить Любу и наставить рога «жлобу Медведеву»...

В романе «На ножах» «Ларка роковая» тоже сравнивается с лошастью, но уже *калмыцкой*: «Её, как калмыцкую лошадь, один калмык переупрямит».

Поразительно, что как в романе «На ножах», так и в романе «Всё впереди», есть сходная и неприглядная интрига. Бодростина говорит Горданову, подбивая его соблазнить Ларису Висленеву: «Ударь за Ларой, — она красавица и, будь я мужчина, я бы сама её в себя влюбила».

— Потом?

— Потом, конечно, соблазни её, а если не её — Синтянину, или обоих вместе — это ещё лучше! Вот ты тогда здесь нарасхват!»

В романе «Всё впереди» Миша Бриш, одноклассник Любы Медведевой, а потом её второй муж, после того, как Медведев попал в тюрьму за халатность, допущенную в научном эксперименте, подбивает своего друга Аркадия соблазнить свою будущую жену:

— Если бы ты наставил рога этому жлобу Медведеву, я бы только приветствовал, — сказал Михаил Бриш. — Но это исключено.

— Хочешь пари? — ответил весело голос.

— Говорю тебе, ты проиграешь. А что ставишь?

— Бутылку лучшего виски.

— Я согласен на «Белую лошадь».

Примечательны сюжетные совпадения в романах, говорящие о том, что они входят в единой литературной традиции. А потому вовсе неслучайно упоминание о «шестидесятничестве» в романе «На ножах». В исповеди Александры Синтяниной: «Попала под колёса обстоятельств, накотивших на моё отечество в начале шестидесятых годов. ...Без всякого призвания в политике я принуждена была сыграть роль в событиях политического характера».

В этих романах, отстоящих друг от друга на столь большом временном расстоянии, представлен тот тип сознания, та система ценностей, какую люди принимают в своё оправдание, тот образ жизни, который неизбежно приводит к революционному анархизму. В том и в другом случае — это средство показать то, что «полоса смутений на Руси ещё не прошла: она, может быть, только едва в начале» (Н. Лесков).

Как в романе «Всё впереди», так и в романе «На ножах» является Париж, эта родина переворотов и революций. Является как некое безусловное мерило, как испытание и проверка человека на духовный стоицизм.

В романе В. Белова Люба Медведева совершает туристическую поездку в Париж. Париж в её душе живёт в расхожем, романтически-мечтательном смысле, свойственном натурам неглубоким и несамостоятельным: «И так радостно билось сердце: Париж! Город, о котором столько сказано и написано всеми людьми земли. И это её,

Любу Медведеву, ждёт удивительная, теперь уж такая близкая встреча с Парижем. Неужели это не сон?»

Потому-то она стыдится своего, родного: «За границей Любе всё время было стыдно. Ей казалось, что на них оглядываются, что москвичи многое делают не впопад. Она то и дело краснела». Это психология лакея Яши из «Вишнёвого сада» А. Чехова: «Если опять поедете в Париж, то возьмите меня с собой, сделайте милость. Здесь мне оставаться положительно невозможно... сами видите, страна необразованная, народ безнравственный... Насмотрелся на невежество — будет с меня».

Поездкой в Париж и поверяется истинная натура Любы Медведевой: «Поездка за границу только проявила её всегдашние, коренные свойства. Обычная заурядная баба...».

В романе «На ножах» нет романтически-мечтательного восприятия Парижа, свойственного временам последующим. Но есть констатация его беспощадной экспансии: «Париж играет, а Петербург пляшет под звуки волшебной флейты». Но не только в таком значении предстаёт он в романе. Но и в более глубинном, как извечное соотношение *цивилизации и культуры*. Причём в довольно неожиданном ракурсе:

— Наплевать на такую волю, чтобы петь да дышать только: мне больше нравятся звуки Марсельезы в рабочих улицах Парижа, — ответил Форов.

— Париж! Город! — воскликнул с кротким предостережением Евангел. — Нет, нет, не ими освятится вода, не они раскуют мечи на орала! Первый город на земле сгордил Каин; он первый и брата убил. Заметьте — создатель города есть и творец смерти; а Авель стадо пас, и кроткие наследят землю. Нет, сестры и братья, множитесь, населяйте землю и садите в неё семена, а не башенные стройте, ибо с башен смещение идёт.

Именно в таком соотношении цивилизации и культуры предстаёт город в романе «Всё впереди» В. Белова. Но и в несколько ином. Как некий фантом, вышедший из человеческого повиновения: «Вышедший из человеческого подчинения, гигантский город расширился по зелёной земле, углублялся в её недра и тянулся ввысь, не признавая ничьих резонов».

А потому является непростительным упрощением сложнейшее соотношение цивилизации и культуры сводить к проблемам урбанизации нашей жизни. А то и вовсе какое-то оглушение. Будто бы в художественном мире Василия Белова город — это исчадие зла, а деревня — добро.

«Белов посягает на такое противопоставление, как противопоставление культуры и цивилизации», — несколько высокомерно писал Игорь Золотусский (Знамя. № 1, 1987). И тут же: «Но я не могу принять его нелюбви к городу вообще, как и не могу признать, что деревня — это «лад», а город гнездо бесовства». Ну не так же у В. Белова: «Насилие над природой выходит из-под нравственного контроля». А город: «Он жил по своим законам, созданным им же самим и лишь для себя».

Соотношение же цивилизации и культуры не такое простое, во всяком случае, далеко не сводящееся к урбанизации. Это — два соперничающих миропонимания, находящихся друг к другу вовсе не в альтернативном, не взаимоисключающем друг друга положении. По всякой логике они должны уравнивать друг друга. Но далеко не всегда они находят это необходимое равновесие.

Цивилизация предлагает парадигму прогресса: развитие от простого к сложному, от несовершенного к более совершенному. Но человек не подчиняется такой парадигме. И мы видим, что он не становится ни лучше, ни совершеннее. Культура контролирует цивилизацию, не даёт человеку сгореть в огне цивилизации...

Цивилизация не объясняет мир, но загромождает его. Она мстит культуре за то, что по самой природе своей та бессильна постичь целостное многообразие этого

мира. Она не может смириться с неразрешимыми тайнами мира и человека. Не может простить культуре конечную непознаваемость этого мира («Не жди последнего ответа. Его в сей жизни не найти», — А. Блок). А потому, может быть, и невольно покушается на духовную природу человека, отрицая и подавляя её. До такой степени, что в наше время человек остановился в некоторой растерянности, видя, что блага, даваемые цивилизацией и прогрессом, соизмеримы с теми потерями для духовного здоровья человека, которые они приносят. Именно на этом пути признания непознаваемости мира Дмитрий Медведев из романа «Всё впереди» и находит равновесие и примирение с этим миром: «Уже несколько лет он жил в том новом для себя состоянии, когда ум, оскорблённый и принижённый неизбежностью смерти, перестал задавать вопросы, на которые — Медведев знал это — никогда не будет ответа. Уважение к великим человеческим тайнам стало нормальным медведевским состоянием. Оно избавило от изнурительных дум о бессмысленности существования. Для Медведева стало личным открытием то, что гордая ненасытность голого рационалистического ума, казалось бы, призванная служить свободе, парадоксальным образом закрепощала ещё больше...».

И, наконец, ещё об одной перекличке в романах «На ножах» и «Всё впереди». О соотношении мира вещного и незримого, в коем и совершается брань духовная как непрременное условие человеческого бытия. О добре и зле.

Есть в романе «На ножах» глава «Тёмные силы», в которой Н. Лесков пишет, как видно по всему, с некоторой иронией. По всей видимости, потому, что в его времена это соотношение не подвергалось сомнению и осмеянию: «В этом романе читателям уже не раз приходилось встречать сцены, относительно которых, при поверхностном на них взгляде, необходимо должно возникнуть предположение, что в разыгрывании их участвуют неведомые силы незримого мира — тогда как учёным реалистам нашего времени достоверно известно, что нет никакого иного живого мира, кроме того, венцом которого мы имеем честь числить нас самих...».

Современное же позитивистское сознание не усомнилось отвергнуть само понятие о добре и зле. Оно переводит представления духовно-мировоззренческие в область социальную, и они становятся для него неразличимыми. Вот как поизгалялся над романом «Всё впереди» Андрей Мальгин в статье «В поисках «мирового зла», демонстрируя всё убожество позитивистского разума: «Итак, существует тайная дьявольская сила», — иронизирует он, несколько не сомневаясь в том, что никакой незримой силы зла в действительности не существует. Она-де «использует в нашей стране» порочные наклонности человека для... Хочется прервать и возразить: да не «в стране», а — в душе человеческой...

В комментарии «От редакции» журнал «Вопросы литературы» дал прямо-таки убийственную характеристику «козням дьявола». Причём в качестве некой общепризнанной нормы: «Идея эта ложная и совершенно непродуктивная, поскольку и полезнее, и нравственнее не на дьявола пенять, а на себя оборотиться».

Надеюсь на то, что приведённое мной сопоставление романов «На ножах» и «Всё впереди» убеждает в том, в какой именно традиции создан роман Василия Белова. Именно в такой последовательности и преемственности понятны и злободневны пророчества романов: «На ножах» Н. Лескова, «Бесы» Ф. Достоевского, «Всё впереди» В. Белова. Ну а то, что роман Василия Белова был атакован так же, как и романы великих предшественников его, свидетельствует о том, что автор не творческое поражение потерпел, а одержал победу. Духи новой, «демократической» революции узнали себя в нём. Единообразное, абсолютно демагогическое, вне литературной традиции отрицание романа является тому подтверждением.

Те же переключки с романом «На ножах», которые мы находим в романе «Всё впереди», конечно же, не являются какой-то преднамеренностью. Скорее, тут сказалась закономерность, о которой говорил сам В. Белов: «Все русские писатели испытывали влияние своей национальной классики» (Литературная учёба. № 6, 1985).

Но сопоставляя «шестидесятничество» XIX века, уготовившего революцию в России начала XX века, с «шестидесятничеством» нашего времени, идеологически обещившего «демократическую» революцию, становится как-то жутковато от того, насколько они сходны и неизменны, словно мы не движемся вперёд сквозь метафизические провалы, а кружим на месте по какому-то топкому болоту...

Александр Блок в статье «Герцен и Гейне» писал о «шестидесятничестве» XIX века: «Эти далёкие и слабые потомки Пушкина одиноко *дичали*, по мере того как дичала русская интеллигенция. Шестидесятничество и есть ведь одичание; только не в смысле возвращения к природе, а в обратном смысле: такого удаления от природы, когда в матерьялистических мозгах заводится слишком уж большая цивилизованная «дичь», «фантазия» (только наизнанку), слишком уж, так сказать, — «не фантастическая». Но это полностью, без каких-либо уточнений относится и к «шестидесятничеству» XX века.

Дискуссий о литературе ныне вообще нет. Их вести стало некому и негде. В извечном противостоянии и противоборстве «цивилизации» и «культуры» победила, кажется, окончательно «цивилизация». Надменная цивилизация отомстила-таки культуре. В полном согласии с либерально-демократической идеологией, которой культура вроде бы и ни к чему. Декларативная борьба, вроде бы, за человека, забота о его правах и свободах обернулась своей противоположностью — умалением человека, уничтожением его.

Это невообразимое и, казалось, невысказанное у нас в России, самой литературоцентричной стране, бедствие, чреватое трагическими для народа последствиями, только подтверждает пророческую правоту и злободневность романа Василия Белова «Всё впереди».





КАМЧАНИН

В чём истоки творчества? Мастера всегда питает родная земля, её ландшафт, то вещество, которое, как лава, формировалось в течение столетий... Пейзажи художника Павла Самойлова раскрывают перед нами картины древней, пульсирующей, полной самоцветов закомской земли. Обозреваешь нескончаемые амфилады крутых берегов, соприкасаешься с памятниками древнего зодчества, видишь хозяев-духов этих мест и осознаёшь, что ты очутился в пространстве Вселенной. Самовозникающие краски, подобно молнии, ведут тебя по склонам и извилистым тропам, массивам непроходимых лесов, и ты понимаешь, что это светящийся задник природного театра.

Талант Павла Самойлова — продолжение метаморфоз великой воды — Камы-Чулмана. Он неиссякаем, неповторим: его максимализм, азарт, дар перевоплощения наверняка передала ему эта пульсирующая река, соединяющая народ с мифологией РА, цивилизациями великого трансконтинентального Шёлкового пути, с его ликами, как бы высвеченными феерическим объективом. За музыкальными одухотворёнными пассажами просматриваются предшественники Павла Самойлова: неистовый, ни на кого не похожий Чюрленис, а так же великие лицедеи театра Л. Бакст, А. Головин, К. Коровин, М. Шагал. Все они — заложники вечности. Такие шедевры пейзажной живописи Самойлова как «Рождение нового дня», «Лунная дорожка», «Цвет черёмухи», «Вечная весна», «Чайки над Камой» говорят о том, что автора не зря называют — Камчанин. Ибо сама Кама движет его кистью, не даёт ему покоя, зовёт к повседневному фанатическому действию. Художник способен импульсивно перемещаться в пространстве и во времени.

Сиюминутность, божественную данность монументальных фантазийных пейзажей сменяют его беглые, метафорические опусы в графике (монотипия), они воскрешают далёкие прообразы Древней Греции, Египта, древних булгар. Эти пазлы творчества грациозно замыкает серия Пушкинианы, которая через абрисы видений, воплотивших сакральные мгновения, раскрывает поклонение автора жажде совершенства, красоты, гармонии.



Я помню чудное мгновенье. Бумага, тушь.

Особый вектор в творчестве Павла составляет скульптура. Это пластика в чувственно-экспрессивной форме, призванная составить эмоциональный пик пространства города. Скульптурные композиции Самойлова призваны вписаться в культурную инфраструктуру Чистополя и составить бренд некогда купеческого города, хлебной кормилицы Российской империи (Стахеев, Челышев, Скорятин), духовного убежища выдающихся корифеев отечественной литературы XX века: Пастернака, Фадеева, Леонова, Федина, Тарковского. Музею Пастернака города Чистополя Самойловым преподнесён в дар горельеф поэта.

Впрочем, творчество художника-отшельника не уместается в рамки провинциального города, претендует на столичный и мировой уровень, как дар природы, как самобытная, нескончаемая песнь души, не признающей оков.

Земляками Павла Ефимовича Самойлова являются известные художники: керамист, заслуженный деятель искусств республики Татарстан А. Шубин, И. Тумашев, М. Чулков, А. Пашин и другие. Чистопольская земля богата на таланты. В 1962 году Самойлов уехал в Краснодарский край, в город Сочи, там учился в молодёжной студии у преподавателя С. А. Радаева. В 1967 году, отслужив в Советской армии, вернулся в Чистополь, работал художником-оформителем. В 1970 году поступил в художественное училище Нижнего Тагила на театрально-декорационное отделение. Его композиции, пейзажи, портреты обрели декоративность, монументальность, символичность. С 1974 года Самойлов активно работал художником-постановщиком при народном театре Чистополя. За 12 лет оформил около 50 спектаклей, показываемых в разных городах СССР. Одновременно художник вёл творческую деятельность в живописи, графике, скульптуре, участвовал в городских, республиканских, всероссийских выставках, зональных выставках «Большая Волга». На многих объектах Чистополя выполнял монументальные настенные росписи, в частности, роспись, посвящённую Марине Цветаевой, в Доме учителя. Работал над спектаклями, оформлял фасад Дома учителя, где в войну располагался Союз писателей СССР.

Пассионарный характер художника запечатлён не только в серии оригинальных автопортретов. Павлом Ефимовичем написано много стихов и рассказов, представляющих малую родину и великую родную реку Каму. Образ Камы ассоциируется у него с девушкой-чайкой. Его сатирические, гротесковые и фантазийно-мистические рассказы ассоциируются с рассказами Салтыкова-Щедрина, Чехова. Читателям журнала «Аргамак» ещё предстоит познакомиться с прозой Самойлова в следующих номерах.

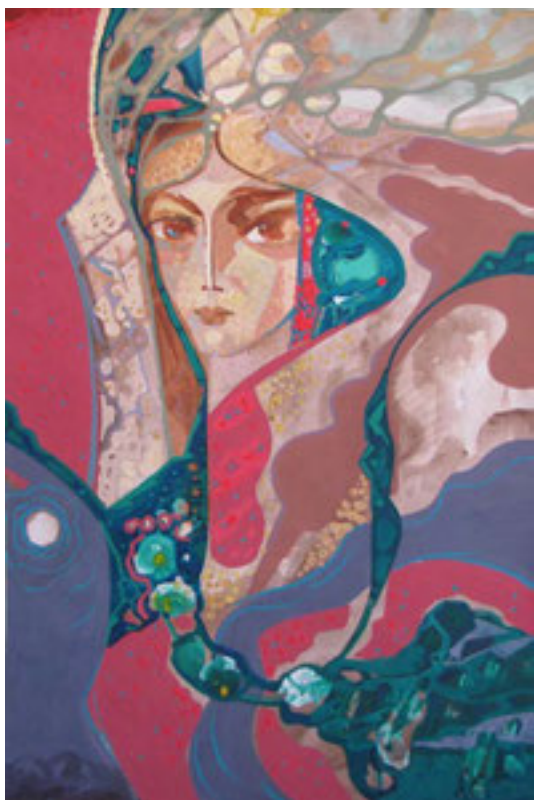
Ещё одна грань его таланта — педагогика. Несколько лет он преподавал в художественной школе. Организовывал свои выставки и мастер-классы. Дарил картины и рисунки в художественные, музыкальные и общеобразовательные школы. И ныне Павел Самойлов живёт и творит в родном Чистополе. Дух его высок, он полон замыслов.



ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Художник Павел Самойлов



Аэлиита. Картон, акрил



Золотая осень. Картон, акрил



Октябрь уж наступил. Картон, акрил



Осеннее зеркало. Картон, акрил

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Портрет в жёлтой шляпе. Картон, акрил



Синий бант. Картон, акрил



Чайки над Камой. Картон, акрил



Радуга над Джекитау. Холст, масло



Лунная соната. Картон, акрил



Осенняя мозаика. Картон, акрил

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



Багрянец осени. Картон, акрил



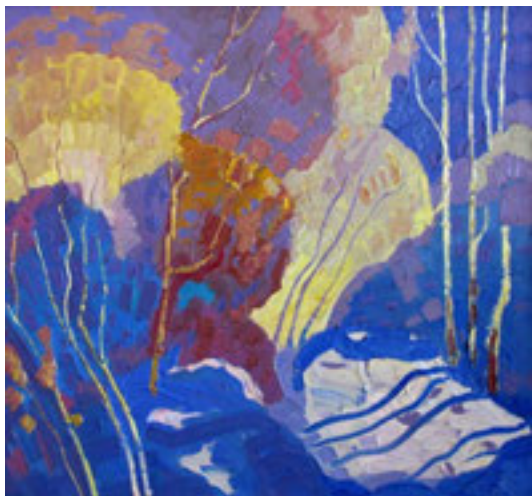
Вербное воскресенье. Картон, акрил



Март. Картон, акрил



Долгожданная весна. Картон, акрил



Только синь сосёт глаза. Картон, акрил

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ...



*Монументальная роспись в литературно-музыкальном комплексе (Дом учителя)
в Чистополе. Масло*



*Кама и Волга. Скульптурный проект
для Нижнего парка города Чистополь*



*Плодородие. Скульптурный проект
для города Чистополь*

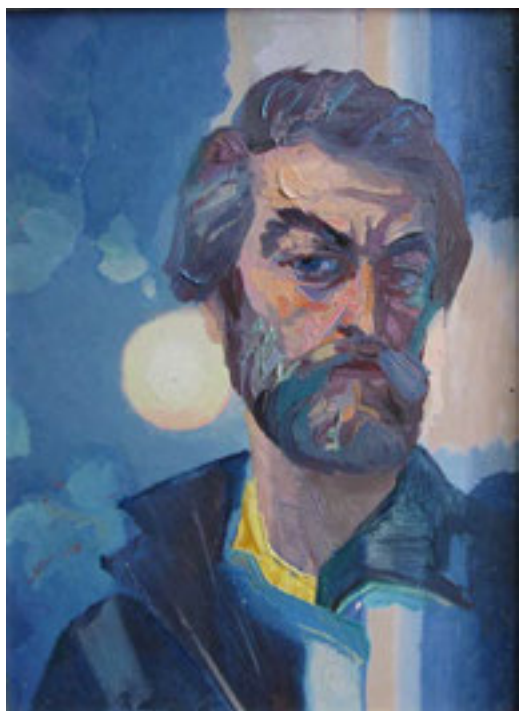


Триптих. Эскиз росписи. Картон, акрил



Полынь. Эскиз для спектакля. Картон, акрил

ХУДОЖНИК ПАВЕЛ САМОЙЛОВ



Автопортрет. Картон, гуашь



Скульптура (муза). Глина



Борис Пастернак. Горельеф для музея в г. Чистополь



Автопортрет на красном фоне. Картон, акрил



Александр Блок о музыке бытия

Певец и рыцарь Прекрасной Дамы, очарованный странник Серебряного века, символист-мистик, «поэт-философ» и «первый конкретизатор философии Соловьёва» (А. Белый), «последний поэт-дворянин» и «истинный поэт катастроф» (К. Чуковский), «волею божией поэт и человек бесстрашной искренности» (М. Горький), «человек-эпоха» и «трагический тенор эпохи» (А. Ахматова), «поэт непревзойдённой певучести и исключительной лирической актуальности» (Н. Асеев) — все эти характеристики относятся к Александру Александровичу Блоку (1880–1921 гг.), великому русскому поэту начала XX века». Важную роль в творчестве Блока играет символ-категория «музыка», несущая в себе универсальный и многозначный смысл. Для нашего великого поэта музыка — это не только художественное творение композитора, которое символически зафиксировано в нотах и может быть сыграно на музыкальных инструментах, но и динамическое творение стихийной игры мировых сил, способное становиться гармонией и выражаться в виде «звучания мирового оркестра». Короче говоря, музыка — это характеристика не только искусства, но и всего бытия, символическое понятие, имеющее как эстетический (оценочный), так и онтологический (бытийный) смысл.

Музыкальность как существенная особенность восприятия действительности Блоком нашла своё яркое отражение и в его поэзии, и в его публицистике философско-эстетического характера. Данной теме в блоковедении посвящены работы В. Жирмунского, В. Гольцева, Д. Максимова, Вл. Орлова, С. Волкова, Р. Редько, Р.-Д. Клуге, Д. Поцепни, Д. Магомедовой и др. В своей статье я обращаюсь к блоковской концепции музыки с целью раскрытия её идейно-теоретических истоков и показа метафизических оснований творчества поэта.

Впервые о музыке в метафизическом смысле Блок высказался в своём письме к А. Белому от 3 января 1903 года. Письмо было написано под впечатлением, вызванным статьёй Белого «Формы искусства», в которой автор исходил из идей А. Шопенгауэра и Ф. Ницше и говорил об универсальном вселенском характере музыки, объединяющей разные миры. С одной стороны, Блок в письме заявляет о том, что он ничего не понимает в музыке, лишён музыкального слуха и не может рассуждать о музыке как искусстве. Но с другой — он утверждает о голосе музыки, поющем у него внутри и будящем творческую интуицию, и признаёт



«мысль о нуменальном характере музыки, объясняющей тайну бытия» очень важной (Блок А. *Собр. соч. в 6-ти т., т. 6, Л., 1983, с. 38; далее при ссылках на это издание будут указываться только номера тома и страниц*). Именно эту мысль развивал Белый в указанной статье, говоря о том, что будущее, более глубокое постижение музыки раздвинет картину восприятия Вселенной и позволит раскрыть тайную сущность искусства и новые пути его развития, поскольку любое из искусств имеет музыкальные корни (Белый А. *Символизм как миропонимание. М., 1994, с. 101*). Впоследствии Белый кратко охарактеризовал музыку как «символ души мировой стихии», связанный с вечностью (т. 6, с. 314).

Блок и Е. Книпович заявлял, что ему «медведь на ухо наступил». Протестуя против этого, Книпович пишет в своих воспоминаниях о поэте: «Я никогда не могла понять (и сейчас не понимаю) «взаимоотношений» Блока с музыкой как искусством. Если «медведь на ухо» — так откуда же такое глубинное ощущение гениальности Мусоргского, страсть к Вагнеру?» (*Литературное наследство. Т. 92. Александр Блок. Новые материалы и исследования. Кн. 1, М., 1980, с. 27*). Но таков был Блок, слишком критически оценивающий свои музыкальные способности. Конечно, поэт обладал чувствительным музыкально-поэтическим слухом, о чём прямо свидетельствуют его удивительно певучие, наполненные своей гармонией, стихи. Так, по мнению Вл. Орлова, известного исследователя творчества поэта, «Блок — музыкальнейший из русских поэтов» (*Орлов Вл. Здравствуйте, Александр Блок. Л., 1984, с. 63*). Да и сам поэт признаётся: «Во мне есть инструмент, хороший рояль, струны натянуты» (т. 5, с. 181). Это не означает, что он, глубоко чувствуя музыку стиха, разбирался в тонкостях симфонической музыки и был её знатоком. Но прослушивание музыкальных шедевров рождало у Блока целый спектр разнообразных чувств. Это выражено в его стихотворении:

*Я никогда не понимал
Искусства музыки священной,
А ныне слух мой различал
В ней чей-то голос сокровенный.*

*Я полюбил в ней ту мечту
И те души моей волненья,
Что всю былую красоту
Волной выносят из забвенья.*

*Под звуки прошлое встаёт
И близким кажется и ясным:
То для меня мечта поёт,
То веет таинством прекрасным*

(т.1, с. 128–129).

Блок говорил о великой роли музыкального начала в жизни и творчестве. Вот как рассказывает поэт о том, как у него рождается очередное стихотворение: «Когда меня неотступно преследует определённая мысль, я мучительно ищу того звучания, в которое оно должно облечься. И, в конце концов, слышу определённую мелодию (выделено мною — **К.Х.**). И тогда только приходят слова. Нужно следить за тем, чтобы они точно ложились на интонацию, ничем не противоречили ей. Всякое стихотворение прежде всего — мысль. Без мысли нет творчества. И для меня она почему-то прежде всего воплощается в форме какого-то звучания. Я, очевидно, *неудавшийся музыкант* (выделено мною — **К.Х.**). Но только моя музыка не в отвлечённых звуках, а в интонациях человеческого голоса» (*Александр Блок в воспоминаниях современников в 2-х т.*

Т. 2, М., 1980, с. 207). Таким образом, мысль в своём музыкальном звучании и рождает стихотворные слова. Возможно то, что Блок считал себя неудавшимся музыкантом, и объясняет его столь критическую оценку своих музыкальных способностей. Да, Блок не стал композитором, сочинителем музыки, но он умел её глубоко воспринимать как нечто, выходящее за рамки искусства. Его слух был широко открыт для восприятия любых звуков мира, в которых он искал их музыкальный или антимузыкальный смысл. Более того, с помощью понятия музыкальности Блок пытался характеризовать те или иные явления и события, имеющие место в жизни и истории. Современникам поэта даже казалось, что поэт был способен воспринимать музыку будущего, каких-то грядущих великих событий, изменяющих жизнь. Вот мнение К. Чуковского о Блоке и его особом музыкальном восприятии мира: «Он всегда не только ушами, но всей кожей, всем существом ощущал окружающую его «музыку мира». В предисловии к поэме «Возмездие» он пишет, что в каждую данную эпоху все проявления этой эпохи имеют для него один музыкальный смысл, создают единый музыкальный напор. Вслушиваться в эту музыку эпох он умел как никто. Поистине, у него был *сейсмографический слух* (выделено мною — **К.Х.**): задолго до войны и революции он уже слушал их музыку» (Чуковский К. Александр Блок как человек и поэт//К. Чуковский. Сочинения в 2-х т., т. 2, М., 1990, с. 407).

У Блока есть стихотворные строки, в какой-то мере говорящие в пользу такой точки зрения:

*Не жди последнего ответа,
Его в сей жизни не найти,
Но ясно чует слух поэта
Далёкий гул в своём пути.*

*Он приклонил с вниманьем ухо,
Он жадно внемлет, чутко ждёт,
И донеслось уже до слуха:
Цветёт, блаженствует, растёт...*

(1, с. 151).

Трудно теперь сказать о том, было ли у Блока на самом деле то, что сейчас называют экстрасенсорным восприятием, т. е. была ли у него способность воспринимать информацию из будущего, но сам поэт говорил о том, что художник должен обладать особым слухом и зрением. «Художник — это тот, для которого мир прозрачен, кто обладает взглядом ребёнка, но во взгляде этом светится сознание зрелого человека; тот, кто роковым образом, независимо от себя, по самой природе своей, видит не один только первый план мира, но и то, что скрыто за ним, ту неизвестную даль, которая для обыкновенного взора заслонена действительностью наивной; тот, наконец, кто слушает мировой оркестр и вторит ему, не фальшивя» (Блок А. Собр. соч. в 6-ти т.. Т. 5. М., 1971, с. 323).

Таким образом, согласно Блоку, художник, обладая чистотой взгляда ребёнка и прозорливостью умудрённого взрослого человека, видит и слышит то, что недоступно обычному человеку. Главным при этом оказывается достижение ощущения единства с миром, с игрой «мирового оркестра». Поэт сравнивает душу «настоящего» (то есть талантливого) человека с самым нежным и певучим инструментом», способным звучать в гармонии с «мировым оркестром». И задача такого человека быть в единстве с этой гармонией, не превращая свою душу в «расстроенную визгливую скрипку», своим звучанием нарушающую «стройную музыку мирового оркестра», тем самым утрачивая чувство ритма происходящих в мире перемен (там же, с. 322–325). Утрата ритма в творчестве и жизни, в развитии культуры и ходе истории оценивалась Блоком крайне негативно.

Блок не считал себя философом и теоретиком искусства и не хотел, чтобы его таковым считали другие. Но, так или иначе, у него сложилась своеобразная концепция музыки, ставшая во многом основой его мировоззрения. Эта концепция исходит из давней традиции рассмотрения музыки в качестве универсальной мировой сущности, а не только как вида искусства. Начало эта традиция берёт в пифагорействе, продолжается у Григория Нисского, иенских романтиков (Новалиса и Вакенродера и др.), получает дальнейшее развитие в трудах таких разных деятелей культуры и мыслителей, как Н. Гоголь, А. Шопенгауэр, Ф. Ницше, Р. Вагнер и Т. Карлейль. Особое впечатление на Блока произвела книга Ницше «Рождение трагедии из духа музыки», которую он частично законспектировал, заноса свои записи в дневник. Очень понравилась Блоку и мысль Карлейля о том, что углубление познания мира человеком ведёт к раскрытию его музыкальной сущности: «Проникайте в вещи достаточно глубоко, и перед вами откроются музыкальные сочетания; сердце природы окажется во всех отношениях музыкальным, если только вы сумеете добраться до него» (цит. по: Максимов Д. Е. *Поэзия и проза Ал. Блока. Л., 1975, с. 362–363*).

Следует отметить, что идея музыки как сущности бытия развивалась не только в западной, но и восточной философии, в частности, в суфизме, утверждавшем: «Наше чувство музыки, наша привязанность к музыке показывает, что существует музыка в самой глубине нашего существа. Музыка стоит за работой всей вселенной» (*Хазрат Инайят Хан. Мистицизм звука. М., 1997, с. 104*). Великий суфийский поэт Персии Хафиз говорил о том, что «жизнь сама есть музыка». Именно такое понимание жизни открывает путь к Высшей Истине.

Шопенгауэр и Ницше исходили из того, что музыка — это выражение мировой Воли, являющейся стихийной динамической первоосновой всего сущего. С их точки зрения, тайну мировой Воли не способны ухватить рациональное мышление и научное познание. Но к этой тайне способно приблизиться искусство, что интуитивно чувствовали древние, и они в своих песнях, плясках и мистериях символически стремились выразить игровую стихию вселенской Воли и слиться с ней.

Появление профессионального искусства, в том числе музыки как его высшего вида, как продукта творчества «музыкальных гениев» — композиторов, углубило и расширило область взаимоотношений человечества с Волей как первоосновой бытия. Это искусство обогатило и стало совершенствовать души людей. Приходит понимание музыки как ритмической последовательности звукосочетаний в качестве универсального языка природы и культуры для всех существ, обладающих слухом. По существу, музыка — это общечеловеческий язык, не требующий перевода. И если захотеть, то музыку в виде колебаний, волнового процесса в пространстве и времени можно обнаружить везде.

Все виды искусств, в том числе и поэзия, имеют музыкальное основание и поэтому стремятся подражать музыке. «Вот как мы представляем себе единственно возможные взаимоотношения между поэзией, между словом и звуком: слово, образ, понятие ищут выражения, соответствующего музыке, чью власть они... испытывают на себе» (Ницше Ф. *Рождение трагедии из духа музыки* // Ф. Ницше. *Философская проза. СПб., 1993, с. 156–157*).

Ницше предлагал оценивать то или иное произведение искусства по мере выраженности в нём духа музыки. Последний есть сила гармонии, но сила скрытная, не желающая выдавать свою тайну. Человеческий ум и язык не способны её раскрыть. Как отмечал Ницше: «...Язык как орган и символ явлений никогда не сможет вывернуть наизнанку глубины музыки, и когда он пойдёт на то, чтобы подражать музыке, её связь с нею всё равно навсегда останется лишь поверхностной...» (Ницше Ф. *Указ. соч., с. 158–159*). В музыке присутствует не только физическое звучание, но и метафизическое начало, которое есть «вещь в себе».

Мысль о музыке как о «вещи в себе» в своё время подчёркивал Шопенгауэр. Из непостижимого духа музыки рождается художественная трагедия, раскрывающая узловые моменты и ситуации, боли и страдания, характерные для человеческой жизни.

Но неожиданным и парадоксальным образом в музыку трагедии врываются волевые нотки радости освобождения. По мнению Ницше, эта музыка освобождает человека от чувства одиночества, позволяет услышать хор мирового оркестра и почувствовать своё слияние с «Всеединным», осознать вечность мировой жизни и своё участие в ней, несмотря на индивидуальную смертность... «Лишь дух музыки поможет нам понять радость, приносимую уничтожением индивида... Но это уничтожение не затрагивает вечного существования Воли. «Мы верим в вечную жизнь», — провозглашает трагедия, а непосредственной идеей этой жизни является музыка» (Ницше Ф. *Указ. соч.*, с. 207–208).

Для Блока, остро чувствующего трагизм человеческого бытия, мысль о том, что трагическое мировоззрение совсем не обязательно ведёт к торжеству пессимизма, была очень важной. Поэт выделял это пронизанное духом музыки мировоззрение как единственно способное дать «ключ к пониманию сложности мира», оценивая в то же время оптимизм и пессимизм как односторонние и упрощённые виды мировоззрения (т. 4, с. 338). Неслучайно, конечно, в блоковской поэме «Роза и крест» один из её героев Бертран формулирует «закон сердца», согласно которому «Радость — Страдание одно!» (т. 3, с. 154). Сам Блок часто жил в предчувствии грядущих катастроф, и в его стихах порой звучало даже упоение своей предстоящей гибелью. Смею утверждать, что Блок дальше развил концепцию музыки как универсальной сущности, а не только повторил, что было сказано о метафизике музыки у Шопенгауэра, Ницше, Вагнера, Карлейля или у русских авторов А. Белого, Вяч. Иванова и А. Скрябина.

Поэт «омыкаливает» всю реальность, предлагает посмотреть на мир и историю, на развитие искусства, культуры и цивилизации с музыкальной точки зрения, увидеть в жизни человека её движущее музыкальное начало. «Ритм (мировой оркестр) музыки дышит, где хочет: в страсти и творчестве, в народном мятеже и в научности труда [, в революции]» (т. 5, с. 130). И в самом широком смысле вывод таков: мир движется музыкой.

Свои основоположения метафизики музыки Блок записал в своём дневнике. «Вначале была музыка. Музыка есть сущность мира. Мир растёт в упругих ритмах. Рост задерживается, чтобы потом «хлынуть». Таков закон всякой органической жизни на земле и жизни человека и человечества. Волевые напоры. Рост мира есть культура. Культура есть музыкальный ритм» (т. 5, с. 263).

В тезисной сжатой форме здесь утверждается положение о музыке как сущностной основе мира и как движущей силе развития земной и человеческой жизни, а также культуры. Главное в самой музыке — её сила, волевой напор и, конечно, ритм.

Блок обращается и к характеристике внутренней сути музыки, пытается представить её исходные элементы и духовные источники. «Музыка потому самое совершённое из искусств, что она наиболее выражает и отражает замысел Зодчего. Её нематериальные, бесконечно малые атомы — суть *вертящиеся* вокруг центра точки. Оттого каждый оркестровый момент есть изображение системы звёздных систем — во всём её мгновенном многообразии... Музыкальный атом есть самый совершённый — и единственный реально существующий, ибо — творческий. Музыка творит мир. Она есть духовное тело мира — *мысль* (текущая) мира... Музыка — предшествует всему, что обуславливает» (т. 5, с. 133). Поэт пытается очертить контуры некоей музыкальной космогонии, заставляющей вспомнить древнегреческую философию, в частности, атомизм Демокрита и объективный идеализм Платона.

Как возникает музыка? Она складывается из особых мельчайших вращающихся атомов, имеющих духовную природу и, выступая как динамическая мысль (идея) мира, оформляет его духовное тело. У этой музыки есть композитор, названный «Зодчим». В древней Греции его именovali Демиургом. В роли композитора может выступать или Бог, или его представительница — Мирова Душа, которой в образе Вечной Женственности, Небесной Возлюбленной Блок посвятил огромное количество стихов. Мысль о Мировой Душе как композиторе поэт не развивает и акцент делает на другом: эта Душа есть вселенская любовь.

Следует подчеркнуть, что стихи Блока о любви несут в себе глубокий музыкальный смысл и по звучанию необыкновенно музыкальны. Но в них редко встретишь слова «люблю», «любовь», «влюблённость». Поэт с непревзойдённым мастерством умеет выразить любовное чувство в неожиданных музыкально-поэтических образах и как бы погрузить своего слушателя или читателя в светящееся и поющее, динамическое и живое пространство любви. На это обратил внимание Иннокентий Анненский: «Но я особенно люблю Блока вовсе не когда он говорит в стихах о любви. Я люблю его, когда не с искусством — что искусство? — а с диковинным волшебством он ходит около любви, весь — один намёк, один томный блеск глаз, одна, чуть слышная, но уже чарующая мелодия, где и слова-то любви не вставить» (Анненский И. Книга отражений. М., 1979, с. 362).

Любовь, как и многие другие человеческие чувства, ситуативна, и через неё могут слышаться разные мотивы. В стихах о Прекрасной Даме преобладает мотив радостный и в то же время тревожный, мотив ожидания и страстного желания встречи лирического героя с небесной таинственной Возлюбленной:

*Вхожу я в тёмные храмы,
Совершаю бедный обряд.
Там жду я Прекрасной Дамы
В мерцании красных лампад.*

*В тени у высокой колонны
Дрожу от скрипа дверей.
А в лицо мне глядит, озарённый,
Только образ, лишь сон о Ней.*

*О, я привык к этим ризам
Величавой Вечной Жены!
Высоко бегут по карнизам
Улыбки, сказки и сны.*

*О, святая, как ласковы свечи,
Как отрадны твои черты!
Мне не слышны ни вздохи, ни речи,
Но я верю: Милая — Ты.*

(т.1, с. 243–244)

В качестве земного воплощения небесной Прекрасной Дамы Блок тогда представлял свою будущую жену Любовь Менделееву.

В стихах, посвящённых любви к Снежной Деве (Н. Волоховой), громче других звучит мотив безудержного полёта в ночной снежной метели куда-то во мглу, на встречу каким-то звукам:

*...Ветер взвихрил снега.
Закатился серп луны.
И пронзительным взором
Ты измерила даль страны,
Откуда звучали рога
Снежным, метельным хором.*

*И мгла заломила руки.
Заломила руки в высь.*

Ты опустила очи,
И мы понеслись.
И навстречу вставали новые звуки:
Летели снега.
Звенели рога
Налетающей ночи

(т.2, с. 13).

В стихах, поющих о Кармен (Л. Дельмас), звучит могучая космическая сила любви, превращающая всё в музыку и свет:

Сама себе закон — летишь, летишь ты мимо,
К созвездиям иным, не ведая орбит,
И этот мир тебе — лишь красный облак дыма,
Где что-то жжёт, поёт, тревожит и горит!

И в зареве его — твоя безумна младость...
Всё — музыка и свет: нет счастья, нет измен...
Мелодией одной звучат печаль и радость...
Но я люблю тебя: я сам такой, **Кармен**.

(т.2, с. 223).

Блок — великий лирик, а лирика не может не быть музыкальной. И здесь больше нечего добавить.

Поэт постоянно прислушивался к окружающей действительности. По существу, ему нравилось быть в роли живой антенны, улавливающей многозвучье мира. И даже когда наступала тишина, он стремился поймать какие-то звуки:

Я вышел в ночь — узнать, понять
Далёкий шорох, близкий ропот,
Несуществующих принять,
Поверить в мнимый конский топот

(т.1, с. 228).

Блока интересовало всё, что звучит: голоса живых существ (людей, животных, птиц), слышимая игра природных стихий (дождя, грозы, ветра, морского прибоя и др.), какие-то бытовые стуки, шорохи, скрипы и шумы, вибрации, производимые транспортом, техникой и др.

Приближается звук. И, покорна щемящему звуку,
Молодеет душа

(т.2, с. 180).

В приходящих к нему звуках поэт искал свидетельства не только настоящих событий, но и будущих встреч:

Давно уж не было вестей,
Но город приносил мне звуки,
И каждый день я ждал гостей
И слышал шорохи и стуки

(т.1, с. 231).

В конечном счёте, Блок в хаотических или ритмических потоках слышимых звуков стремился воспринять музыку бытия как некую целостность, в которую его «Я» входит составной частью. В своих размышлениях о динамике происходящих в мире изменений Блок большое внимание уделял рассмотрению стихии как таковой. Последняя также выступает в качестве важного образа — символа, характеризующего мировоззрение поэта.

Что есть стихия? Это — хаотическая среда, в которой происходит мощная игра раскованных мировых сил. В неё включены и природа, и ход истории общества, и развитие культуры, и человеческая жизнь, и, наконец, сознание людей. Стихия неразумна и нейтральна по отношению к добру и злу. Она может угрожать человеку разрушительными катастрофами, поворотом хода событий в совершенно нежелательную сторону, с ней приходится бороться, и в то же время её энергия может быть использована человеком в своих интересах. Стихия питает творческое начало в человеке и, отвергая всякий застой, не даёт ему остановиться на достигнутом и, так или иначе, устремляет его к обновлению. Проникаясь энергиями стихий, человек в возрастающей мере ощущает свободу, столь необходимую для творчества. У него возникает желание рисковать во имя свершения великих дел и скорейшего продвижения вперёд, где его ожидает победа, но не исключено и поражение. Блок считал, что у художника наиболее достоверны и совершенны те его творения, которые созданы в согласии с мировыми стихиями.

Вот к такого рода представлениям о стихии и её роли в мире приходил поэт в ходе своих размышлений. Он ненавидел застой, считая его омертвляющим пороком человеческой жизни, и поэтому полюбил стихию, всегда направленную против любого застоя и проявляющуюся в природе в виде ветра, вьюги, грозы, шторма, бури, а в обществе — в виде народного восстания и революции. Стихия пробуждала в поэте жажду жизни, что нашло отражение в следующих строках:

*Всегда хочу смотреть в глаза людские,
И пить вино, и женщин целовать,
И яростью желаний полнить вечер,
И песни петь! И слушать в мире ветер!*
(т.2, с. 47).

Образы-символы «стихия» и «музыка» в понимании Блока близки по смыслу, но всё-таки не совпадают. Стихия — это смесь всяких сил, как светлых, так и тёмных, как духовных, так и материальных, это их динамическое беспорядочное многообразие, несущее лишь «зародыши» возможных гармоний, но не саму гармонию. Музыка — это тоже стихия, но уже имеющая свой ритм и порядок, то есть гармонию, и выступающая как одушевлённо-природное или духовное, эстетизированное и творческое начало, определяющее целостность и законообразность^{*}. Правда, сам Блок не слишком заботился о строгом использовании этих образов-символов и часто отождествлял стихию вообще с музыкальной стихией. Между тем сама блоковская концепция музыки всё-таки требует этого различия. Но Блок был больше художником, поэтом, чем философом и последовательным мыслителем. Поэтому смешение близких по смыслу образов-символов для него вполне простительно.

Сам Блок ставил задачу превращения стихии в музыку. Когда произошла революция и запылали в сельской местности имения богатых, подожжённые крестьянами (это произошло и с семейным имением Блоков в Шахматово), поэт сделал такую запись в своём дневнике: «И вот *задача русской культуры* — направить этот огонь на то, что нужно сжечь; буйство Стеньки и Емельки превратить в *волевою музыкальную волну* (выделено мною — **К.Х.**); поставить разрушению такие преграды, которые не ослабят напора огня, но организуют этот напор; организовать буйную волю; ленивое тление, в котором тоже таится возможность вспышки буйства, направить в распутинские углы души и там раздуть его в костёр до неба, чтобы сгорела хитрая, ленивая, рабская похоть» (т. 5, с. 226). Иначе говоря, задача интеллигенции как культурной силы заключается в том, чтобы буйную и разрушительную силу восставших народных масс направить в созидательное русло, при этом через просвещение бороться с невежеством

^{*} Например, музыка как сущность мира должна определять его единство и общемировые законы.

и неграмотностью народа. Короче: революционная стихия должна в возрастающей степени обретать характер музыки благодаря культуре.

Октябрьскую революцию Блок с восторгом воспринял как торжество мировой музыки, в которой природные стихии, социальные и душевно-духовные устремления слились в единый вектор, направленный на всеобщее обновление. Он ещё больше стал смотреть на мир с музыкальной точки зрения и применять музыкальность в качестве универсального критерия оценки тех или иных явлений, событий, процессов или состояний души, человеческих качеств и жизненных установок. Например, для Блока музыкальны ветер, вьюга, волны моря, народ как хранитель духа и сила истории, родина, революция, культура, искусство, конечно, сам дух; такие человеческие чувства, качества и жизненные установки, как любовь, честность, стремление к свободе и правдивости, долг, героизм и др. Немзыкальны война, застой, консерватизм, цивилизация как механическая организация, бюрократия, буржуазия, мещанство, государство как строй насилия и несвободы; такие человеческие чувства и качества, как бездуховность, лживость, лицемерие, эгоцентризм, тоска, скука, тупая сытость, самодовольство и др.

Идея музыки как ритмического начала стихии определила и выбор соответствующей лексики Блоком. Это — лексика онтологии: «цельность», «гармония», «синтез», «равновесие». Лексика искусства: «мировой оркестр», «арфы», «скрипки», «мелодия», «песня», «петь». Лексика звучания: «звоны», «гул», «звук», «звучащая линия». Это — образование и использование метафор-символов: «музыка огня», «певучая руда», «золото поёт», «музыка будущего» и др.

С критерием музыкальности Блок подходил и к рассмотрению развития культуры и цивилизации и их соотношения. «Свои соображения на эту тему поэт, главным образом, выразил в статье «Крушение гуманизма». Для него культура — это символ музыки, а цивилизация — символ утраты музыкального начала. Развитие культуры приводит к появлению цивилизации, которая, теряя музыкальные ритмы, начинает умертвлять культуру и ведёт её к кризису и вырождению. Если культура — жизненна, динамична, целостно гармонична, духовно заряжена на высокое творчество, то цивилизация — жизнеподобна, суетлива, корыстолюбива, дисгармонично раздроблена, бездуховна и ориентирована на материальные ценности. Правда, поэт считал, что и культура не во всём благодетельна и упорядочена и допускал существование в ней демонического, то есть разрушительного хаотического начала (*т. 5, с. 255*).

Блок выступил как непримиримый критик современной цивилизации, обращая внимание на её многие негативные стороны. Отрыв человека от природы, утрата им понимания целостности своего естества, отчуждение людей друг от друга, равнодушие и безразличие к чужим бедам, конкуренция, культ наживы, засилие бюрократии, милитаризм, дробящая узкая специализация людей и знаний, приводящая к игнорированию общих интересов науки, культуры и общества, отрыв интеллигенции от народа — всё это Блок относил к «антимзыкальным» проявлениям цивилизации. Такие проявления он также усматривал и в сфере искусства, а именно в пошлости, цинизме, разъедающей иронии, искажающей истину, тенденциозности, беспринципности, мелочном эстетстве, безыдейности и т. п.

Следует отметить, что, критикуя цивилизацию, Блок всё же не оставлял надежды на её возрождение и возвращение к музыкальному, то есть подлинно культурному состоянию. Возможность этого возвращения он связывал с хранителями музыкального начала, хранителями, неуничтожимыми даже в самые тёмные и кризисные времена, — народом и его душой. Поэт верил в то, что, несмотря на всевозможные кризисы и катаклизмы, в народной массе никогда не умирает музыкальное начало, которое далеко не всегда звучит гармонично, а порой выступает и как «дикий хор». Но главное — оно всегда живое.

Важность связи с народной душой Блок подчёркивал для интеллигенции и особенно для творцов искусства. Блок полагал, что искусство не может замыкаться в самом себе,

ибо тогда утрачиваются внешние живительные музыкальные источники. Надо помнить, что «оно ведь рождается из вечного взаимодействия двух музык — музыки творческой личности и музыки, которая звучит в глубине народной души, души массы. Великое искусство рождается только из соединения этих двух электрических токов» (т. 5, с. 264). Здесь интересно и то, что Блок назвал музыку электрическим током. По существу, так ещё раз подчёркивался динамизм и энергетизм музыки как таковой.

Блок стремился услышать сокровенную музыку любимой России, её истории, и, думается, он её слышал, когда писал своё знаменитое стихотворение «На поле Куликовом». Мне кажется, что ритм этой музыки звучит, например, в таких строках:

*О, Русь моя! Жена моя! До боли
Нам ясен долгий путь!
Наш путь — стрелой татарской древней воли
Пронзил нам грудь.*

*Наш путь — степной, наш путь — в тоске безбрежной,
В твоей тоске, о Русь!
И даже мглы — ночной и зарубежной
Я не боюсь*

(т.2, с. 25).

Из концепции Блока вытекает то, что музыка существует на четырёх уровнях или в четырёх аспектах. Во-первых, на уровне отдельной личности (слушателя музыки или её сочинителя — композитора). Во-вторых, на уровне людских масс, народной души. В-третьих, на мировом уровне, то есть как музыка природы и человеческой истории. В-четвёртых, на метафизическом уровне, то есть как сущность мира. Музыка бывает искусственной, то есть кем-то сочинённой, и естественной, то есть спонтанно рождённой благодаря игре и взаимодействию стихий...

Поэзия своей сутью связана с музыкой на всех её уровнях и порождена музыкальным началом, живущим и в человеке, и в объективном мире. Блок назвал поэта сыном гармонии, которая есть «согласие мировых сил, порядок мировой жизни». В космическом плане он определяет роль поэта в мире. «Три дела возложены на него: во-первых, освободить звуки из родной безначальной стихии, в которой они пребывают; во-вторых, привести эти звуки в гармонию, дать им форму; в-третьих, внести эту гармонию во внешний мир» (т. 4, с. 414).

Вот как описывает Блок «безначальную стихию», то есть метафизический уровень бытия, с которым должен соприкасаться поэт в процессе своего творчества: «На бездонных глубинах духа, где человек перестаёт быть человеком, на глубинах, недоступных для государства и общества, созданных цивилизацией, — катятся звуковые волны, подобные волнам эфира, объемлющим вселенную; там идут ритмические колебания, подобные процессам, образующим горы, ветры, морские течения, растительный и животный мир» (т. 4, с. 415). Здесь не используется слово «музыка», но, по сути, речь идёт о ней, существующей на фундаментальном уровне бытия. Ведь музыка есть ярко выраженный волновой процесс со своими ритмами, переходами и паузами.

Стихотворчество оказывается аналогичным сочинению музыки. Если поэт стремится выразить музыку бытия, приходящую к нему с разных уровней, в ритмике и интонациях стиха, нередко внося мелодичность и певучесть и в его содержание, то композитор, вступая в резонанс с этой музыкой, записывает её в нотах, что открывает возможность неограниченного воспроизведения её на музыкальных инструментах не только автором, но и другими исполнителями. Композиторы говорят о неразрывной связи музыки с сущностными динамическими основами бытия. Так, например, композитор Леонид

Любовский утверждает: «...подлинная ценность и ничем незаменимость музыки — в её глубочайшем... уникальном постижении тех первооснов Мироздания, которые уводят нас в нашей генетической памяти к неясному шевелению живой плазмы, к самому началу всего сущего, к смыслу всех происходящих процессов, к Высокому Предмету, определившему и нас, и наше место в этом бесконечном движении. Музыка — порождение духовного» (Любовский Л. *Что есть музыка*. Казань, 1993, с. 30).

Мир полон тайн, и у него есть скрытые измерения, обозначающие присутствие иных миров. Музыка выражает и это. Как романтик и символист Блок ставил искусство выше науки, полагая, что только искусство способно касаться иррациональных тайн бытия (т. 4, с. 154). Наш замечательный философ А. Лосев в молодости утверждал: «Мир ненаучен. Мир — музыка, а наука — его накипь и случайное проявление» (Лосев А. Ф. *Из ранних произведений*. М., 1990, с. 227). Это, конечно, категорическое утверждение, вызывающее возражения. Но Лосев прав в том, что в мире существуют феномены, которые никак не улавливаются и не изучаются рационалистической наукой. Но наука движется вперёд и сейчас пришла к точке зрения, согласно которой наша Вселенная имеет скрытые и как бы свёрнутые измерения. Благодаря созданию теории так называемых суперструн учёные рисуют парадоксальную картину 11-мерной Вселенной, в которой непрерывность пространства рвётся и восстанавливается, а вся материя в ней порождена вибрациями микроскопических струн. Но самое удивительное и интересное заключается в том, что возникает образ Вселенной как грандиозной космической симфонии, играемой вибрациями этих ультрамалых струн, пребывающих в самой глубокой основе природного бытия. Один из создателей теории суперструн, американский физик, математик и космолог Брайан Грин назвал сутью этой теории *музыку*. Вот так-то! Музыка в смысле того, что она есть фундаментальная творческая сила, порождающая всё многообразие элементарных физических частиц. «То, что представлялось различными частицами, на самом деле является различными «нотами», исполняемыми на фундаментальной струне. Вселенная, состоящая из бесчисленного количества этих колеблющихся струн, подобна космической симфонии» (Грин Брайн. *Эlegantная Вселенная. Суперструны, скрытые размерности и поиски окончательной теории*. М., 2004, с. 102). Таким образом, совершенно неожиданным оказывается то, что представления о музыке как творческой сущности и движущей силе бытия, развиваемые Блоком, Белым и другими символистами, перекликаются с новейшими взглядами науки на строение и динамику развития микромира и Вселенной. Не являясь сторонником противопоставления искусства и науки, я считаю, что они играют одинаково важную роль в человеческой культуре и, обладая разными подходами и способами постижения бытия, дополняют друг друга.

Слышимая музыка, доступная человеческому уху, — это, образно выражаясь, лишь макушка айсберга, скрывающего музыкальное разнообразие бытия, его бесчисленные ритмы. Но Блок считал, что, если не прятаться от ритмов мира и ощущать себя в его центре, настраивать своё тело и душу на восприятие ритма происходящих в мире изменений, то в какой-то мере станет доступной и музыка, находящаяся за пределами обычного слуха (т. 5, с. 144, 262). В январе 1918 года, когда поэт писал статью «Интеллигенция и революция» и поэму «Двенадцать», ставшую столь знаменитой, ему неоднократно слышались шумы и гул, которые он оценивал как выражение революционных потрясений, как проявления музыки революции (т. 5, с. 234, 238). Блок эту многоголосую музыку ярко выразил в поэме «Двенадцать». Он полагал, что музыка революции говорит о будущем, и указанную статью закончил призывом: «Всем телом, всем сердцем, всем сознанием — слушайте Революцию» (т. 4, с. 239).

Музыка революции — великая сила обновлённого мира, но она далеко не всегда благозвучна и гармонична, а часто звучит грозно и негармонично. Направленная на

разрушение старого «страшного» мира, она выражает неизбежность насилия, жертв и нарушение морали. По мнению Блока, встаёт вопрос: как согласовать революцию и её музыку с моралью? Увы, это очень нелегко, и надо пройти трудный путь разрушений, потерь и жертв, «...чтобы музыка согласилась помириться с миром» (*т. 5, с. 244*). Здесь ничего не поделаешь, но только музыка может спасти в трудные времена, и лучше и нужнее её ничего нет на свете. Эту мысль Блок неоднократно повторяет. В его юбилейном приветствии, посвящённом 50-летию М. Горького, говорится: «...чего не сделает в наши дни никакая политика, ни наука, то может сделать музыка» (*т. 4, с. 326*).

Да, велика была вера поэта в силу музыки. И великой трагедией для Блока стало то, что он перестал слышать музыку не только революции, но и жизни вообще. Наступила тишина, и рухнули все надежды. Неизбежным стал духовный и творческий кризис Блока, во многом определивший его трагическую мучительную смерть в 1921 году. Поэт умер не только из-за своей тяжёлой болезни — септического эндокардита, но и из-за того, что его покинула музыка как источник творчества и воли к жизни. Это было связано с тем, что он разочаровался в большевистской власти, которая в послереволюционное время стала последовательно устанавливать в обществе режим несвободы и отрицания вольнодумства, в том числе и в области литературы и искусства. А без свободы, как известно, не может существовать подлинное творчество. Эту мысль Блок подчёркивал в своей прощальной речи «О назначении поэта», посвящённой Пушкину (*т. 4, с. 423–420*).

В заключении хочу отметить следующее. Я считаю Блока поэтом-космистом, масштабно смотревшим на мир, человека и человеческую историю. Темы жизни и судьбы, смерти и бессмертия, России и её будущего, назначения искусства и поэзии он пытался раскрывать в космическом плане. Концепция музыки Блока также во многом обусловлена космическим мироощущением поэта. Для того, чтобы объявлять музыку сущностной ритмикой и движущей силой бытия, звучанием вселенского оркестра, надо на себе почувствовать своё единство со Вселенной и её вибрациями, проходящими через тело и душу. А в том, что Блок испытывал такие вибрации, нет никаких сомнений. Ощущение своей связи с небом, звёздами, космосом поэт ярко выразил уже в своей ранней лирике — в «Стихах о Прекрасной Даме». Однако тема «Космизм Александра Блока» — это предмет специальной статьи.

Отвечу на последний вопрос: почему Блок, несмотря на осознаваемый им весь трагизм человеческого бытия, упорно повторял, что мир и жизнь прекрасны? Да потому, что их основой он считал именно музыку как гармонизирующую силу и эстетически прекрасное начало. В музыке ему слышались победа бытия над небытием, жизни над смертью и торжество духа бессмертия и вечности. И сейчас поэтическое и идейное наследие Александра Блока звонкой и певучей скрипкой продолжает звучать в огромном оркестре русской и мировой художественной литературы.

Всем читателям этой статьи в целях обретения ощущения энергетики и космичности музыки, её роли в качестве бытийной и жизненной основы, рекомендую прослушать такие выдающиеся музыкальные произведения, как «Прометей» А. Скрябина, «Вселенная» Ч. Айвза, «Гармония мира» П. Хиндемита, «Сириус» К. Штокхаузена, «От каньонов к звёздам» О. Мессиана, «Атмосферы» Д. Лигети, «Звучащее пространство» В. Люгославского, «Космогония» и «Мера времени и тишины» К. Пендерецкого, «Вспышка» П. Булеза и «Поток» А. Шнитке. Музыка надо соответственно ощущать и понимать, а для этого требуется умение её слушать и слышать.





ОЛЬГА КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ

ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ

От редакции: сердечно поздравляем члена редколлегии журнала «Аргамак» Ольгу Владимировну Кузьмичеву-Дробышевскую с выходом новой книги, которая жанрово разнообразна и не совсем обычна. Стихи в «Янтарной бусине» (так называется книга) перемежаются лиричными миниатюрами в прозе. И в стихах, и в прозе главенствуют лаконизм, череда точных художественных образов и многозвучие – неотъемлемые качества поэзии и музыки, что тоже не случайно. Ольга – не только член Союза российских писателей, но и одарённый музыкант, автор-исполнитель, певица, известная не только в своём городе Набережные Челны, но и в Казани, Москве и в других городах России. Звуковые волны, о которых упоминал Александр Блок в своей знаменитой речи «О назначении поэта» не проходят мимо её души и сердца, а талант позволяет найти единственно точное слово, услышать свою неповторимую мелодию...



ПОДАРОК

*Иль тайна тайн во мне опять.
Анна Ахматова*

Капли монотонный колокольчик
умолк, осиротел мой подоконник.
А я листаю старый мамин сонник –
не спится мне весенней этой ночью.

Разгадкой тайн шуршат в тиши страницы,
желтеющие в свете ночника...
Упала книга. Свесилась рука.
И сладко-сладко смежились ресницы...

Приморский город, здания старинны,
восходит солнце, золотом маня,
по улице мощёной, узкой, длинной
я к морю тороплюсь, там ждут меня,
пока не знаю кто, но сердце бьётся,
трепещет в ожиданье встречи важной.

А улица – пустынна, лентой вьётся
по городу чужому. Но однажды,
мне кажется, я здесь уже бывала,
по этим вот булыжникам, блестящим
от утренней росы, уже ступала.
Да, это было...
в прошлом?..
в настоящем?..
Со мною?
Нет, как будто не со мною,
но чувство прорывается в сознание:
я помню этот свежий запах моря
и это долгожданное свидание...

Дорога привела меня к причалу.
А небо будто в море окунулось,
в нём утопив страдания и печали...
Я к изначальной мудрости вернулась,
услышав голос радостный, родной:
– Любимая!
– Владимир!
– Марта, здравствуй!
– Как я соскучилась!..

...О Боже мой! –
моряк широкоплечий, нежный, страстный,
он... мой отец!..
Всевышний, дай понять мне,
а кто же я сейчас? я... – моя мать?!
И я к нему бегу, бегу в объятья,
чтоб тайну тайн скорее рассказать...

Проснулась. Поняла: я *помню* это
свидание у моря, солнце, лето.
Я там была! Ещё не рождена,
но я уже была сотворена.

Под утро растрезвонилась капель,
сосульки заиграли акварелью.
Сегодня, накануне дня рожденья,
чудесный сон мне подарил апрель.

2008 г.

ЛАСТОЧКИНО ГНЕЗДО

Снова в пути. Снова в разлуке...

На привокзальной площади – небольшой современный магазинчик из стекла и белого пластика. Вхожу туда, чтобы купить что-нибудь в дорогу. Только переступила порог, как

над головой, словно ветер – «прх-х!» И журчащий короткий колокольчик – «трик». Посмотрела под потолок и обомлела. Внутри тамбура магазинчика, у входной двери, на стене, в углу, над небольшой коробкой, к которой тянутся провода, приклеено маленькое тёмно-серое гнездо. Из него торчат, подрагивая, три круглые головки: чёрные «шапочки» опущены ниже бровей, белые щёчки важно надуты, клювики приоткрыты, словно птенцы беззвучно смеются. Глазки их – меньше булавочных шариков – смотрят с любопытством, без страха.

Мимо меня торопливо протиснулись покупатели – вошли, а затем с покупкой вышли, – я посторонилась, не сводя глаз с маленьких воронок: надо же, не бояться, будто люди – безобидные ходячие птицы... Как же они тут живут? Огляделась: дверь с улицы заботливо привязана снаружи к углу тамбура; работает только вторая внутренняя. Открыла её и вошла в пахнущее хлебом и сладостями небольшое помещение.

– Здравствуйте. Давно они у вас? – спросила я продавщицу, кивнув в сторону гнезда.

Строгое лицо женщины приветливо просияло. Хозяйка нагнулась над прилавком, привычно облокотилась и ласково посмотрела сквозь стеклянную дверь на своих «постояльцев».

– Второй год, – она в улыбке поджала губы. Пару раз кивнула, подтверждая свой ответ, и тихо добавила: – Угу...

– Странно, обычно воронок гнездо строит у каменных стен, редко даже у деревянных, а тут – пластик... Неужели второй год?

– Ага... в прошлом думала, случайные залётные гости, а нынче вот – снова... Похоже, одна и та же парочка.

– Никто не обижает?..

– Какой там... шмыгают туда-сюда и не видят их в высоком-то уголку...

– А как же ночью?

– Так мы ж круглосуточно... Мамашка ихняя... думаю, она это, не различишь их... так вот она всегда остаётся. А папашка иногда где-то гуляет... тепло, дверь не закрываем, а как быть?.. Пожа-алста, летайте... тут им хорошо-о, – протянула довольная разговором женщина, – не льёт, не дует, чё ещё?.. Мошек всяких полно, окраина всё ж...

– Умные птицы, – согласилась я.

– Приноровились... хм, – покачала головой хозяйка, любовно глядя на птенцов, – забавные карапузы...

Выходя из магазина, я ещё раз посмотрела на маленькое чудо: скоро, наверное, встанут на крыло... Вспомнилось: «Край земли. Полоска дыма тянет в небо, не спеша. Одинока, нелюдима вьётся ласточкой душа»...

Эх, забыла сделать покупку, но это неважно.

2014 г.

БОМЖ И СОЛОВЕЙ

Три часа утра. Во дворе запел соловей – неутомимый глашатай рассвета... Невольно вспомнила старую добрую песню: «И с полей уносится печаль, из души уходит прочь тревога...». Вышла на балкон. Тепло. Звёзды померкли. Солнце ещё не взошло, но глубокое чудесно синее небо уже отражает его лучи – ещё холодные, без примеси розового, а всё же ласковые. Люблю этот горящий синий цвет. Когда закрываю глаза, часто его вижу, он дарит ощущение тихой радости...

Благоухают цветы, ароматы поднимаются до моего балкона: внизу, у подъезда, будто вспикел большой сиреневый куст; у самых окон две липы распушили белёсые мелкие гроздья; в дальнем углу двора – черёмухи и рябины, уже отцветают; а в центре

– две огромные берёзы наливают соком упругие серёжки. Под берёзами растянулась, как во сне, большая скамейка, рядом отдыхает песочница, набираясь сил перед дневной атакой детворы. И над всем двором – виртуозные трели соловья. Идиллия. Даже машины, заполонившие дорогу, уютно вписались в рассветный пейзаж: нарядно, словно яркие звёзды, вспыхивают синие огоньки безмолвной сигнализации; и мне показалось, они подмигивают небу, мол, мы с тобой...

Вдруг послышался необычный шум. Пригляделась. Из дальнего угла двора по тротуару идёт человек, в руках – белые большие мешки, но мужчина несёт их легко. Стала за ним наблюдать. Он не спеша следует от подъезда к подъезду нашего длинного многоэтажного дома. Подходит ко всем урнам, проверяет их, вынимает пластиковые бутылки и жестяные банки, старательно мнёт (не ногами топчет, как это обычно делают пьянчужки, а сминает в руках, наверное, чтобы сильно не шуметь), и складывает в мешки. Судя по объёму ноши, поработал уже на славу. Вот и к песочнице подошёл и обнаружил там богатый «урожай»: накануне вечером вокруг скамейки стоял гвалт – «культурно» отдыхали некоторые представители нашего двора и засорили банками и бутылками не только предназначенные для этого ёмкости, но и детскую площадку. Сначала подумала: почему этот человек «охотится» на рассвете? Потом сообразила: он торопится до выхода на работу дворников – те с пята утра начнут сметать его драгоценную добычу. И ему не до соловья...

А солнце – оно щедрое – всему дарит свет, как любовь. И лишь она «долготерпит... не раздражается... всё покрывает... всегда надеется...»

2015 г.

ВЫСОТА

Ехала в автобусе. Увидела в небе большую птицу. Она летела высоко, и я не смогла разглядеть, кто это: может быть, ворон, а может быть, орёл. Полёт птицы был уверенным и стремительным, но вдруг навстречу – сильнейший порыв ветра. Сейчас он собьёт её с пути: крылья начнут выламываться; не хватит сил противостоять стихии, и птица неизбежно упадёт!

И что же сделала птица? Она распластала крылья и, словно доверившись ветру, легла на поток. Он понёс её в сторону, немного назад, но в какой-то момент она, уловив невидимую опору, оттолкнулась и взмыла вверх!.. И оказалась выше потока. Отдохнув в коротком парении, она мощно взмахнула крыльями и дальше – в полёт.

Вот так и надо – выше – над страхом... над болью...

2013 г.

ЯНТАРНАЯ БУСИНА

Середина лета. Город детства. Прошло 40 лет, но... тот же знойный ветер со смешанными запахами песочной пыли, степной полыни, стойкой придорожной лебеды и разгорячённых тополей. То же необъятное белёсо-голубое небо. Та же улица с тем же сквером и фонтаном. Тот же дом...

Помню, мне было – пять. Во дворе, под окном, рос пышный куст акации. У его корней я закопала «секретик» – так мы называли одно из любимых развлечений, в котором главным было, спустя какое-то время, не забыть, где именно спрятан секрет. Потом осторожно, чтобы никто не видел, найти укромное место, присесть пониже, бережно разгрести над «се-

кретиком» землю, легонько сдунуть осыпающиеся песчинки и увидеть самую сердцевину тайны. О, как приятно знать о чём-то таком, о чём никто не знает! Лелеять это чувство в душе, вынашивать его, выращивать до того момента, когда им вдоволь насладишься. И тогда приходит желание выплеснуть тайну, открыть кому-то секрет. Но зачем? Может быть, затем, чтобы утвердиться в своей значимости, испытать опасность, ведь секрет могут украсть, а его всё-таки хочется сберечь. Тогда кому открыть тайну? Конечно же, верной подруге. И наступал самый торжественный момент – секрет открывался. Дух захватывало!

Тот «секретик» я запомнила навсегда, потому что под тонким осколком зелёного бутылочного стекла, на блестящем конфетном фантике покоилась драгоценная слеза янтаря – капля старых бабушкиных бус. Однажды они рассыпались, и под мою кровать закатилась одна бусина. Я утаила её, когда бабушка нанизывала жёлтые округлые камешки на новую нить.

Теперь понимаю, что бабушка догадалась о моей тайне, но ни о чём меня не спросила. Просто, пересчитав бусины, грустно сказала:

– Чётное число. Одной не хватает, а на ожерелье из янтаря должно быть нечётное количество камней – тогда, говорят, бусы приносят своей хозяйке здоровье.

– Что же теперь делать? – прошептала я, и щёки предательски вспыхнули.

– Ничего. Я просто уберу одну бусину. Держи. А если у тебя вдруг окажется чётное число камней, например, два, то подари один своей любимой подруге. Пусть и с ней янтарь делится теплом.

– Хорошо, – опрометчиво согласилась я. Камешек, скатившись в мою ладонь, будто обжёг меня. – Он и вправду очень тёплый! Он что, живой?

– Конечно, ведь он сделан самой природой, – голос бабушки зазвучал глубоко и ласково. – А природа, в любом проявлении, живая.

– А нам в садике говорили, что есть живая и неживая.

– Может быть, это и правильно. Но так считают люди. А природа? Не знаю. Если бы люди не только всматривались и вслушивались в неё, но видели и слышали, то, возможно, жили бы в согласии с ней.

– А с чем же они не согласны? – я всё крепче сжимала в кулаке бусину.

– С тем, что природа сильнее. Что она, «неживая», живёт дольше, может быть, вечно, не зря в одной большой книге сказано: «Поколение уходит, и поколение приходит, а земля остаётся на века».

– А что такое «поколение»?

– Ну, это люди, рождённые и живущие в одно время... Я принадлежу к одному поколению, моя дочь – твоя мама – к другому, ты – её дочь – к третьему...

– А у тебя есть эта большая книга? – перебила я. – Почитай мне.

– Нет. Её теперь трудно достать. Может, когда ты вырастешь, то сама найдёшь и прочтёшь...

Вскоре бабушка умерла. Как я плакала, чувствуя себя виноватой в том, что бабушка заболела и уже не выздоровела, – ведь я не отдала ей чудесную нечётную бусину.

Помню, боль жестокой ломотой скручивала тело. Она смешивалась со страшной тайной, разрасталась во мне до невыносимых размеров и, терзая, искала выхода. И выходила слезами. Я плакала, плакала, плакала... Потом вдруг догадалась: боль станет меньше, если расскажу о тайне, о янтарной бусине. Но кому? Бабушки нет. Кому же?.. Кому больше всего на свете верю – маме. В тот же вечер я во всём призналась.

Мама усадила меня на колени, вытерла слёзы и, поцеловав, тихо сказала:

– Маленькая моя, ты ни в чём не виновата. Бабушка заболела не из-за того, что потеряла бусину.

– А из-за чего?

– Из-за того, что стала старенькой. Таков закон природы: люди рождаются, живут и умирают. Им на смену приходят другие. Я – бабушкино продолжение, ты – моё...

– Да, бабушка говорила... А ты тоже умрёшь?

– И я тоже. Но, надеюсь, не скоро, а лишь тогда, когда ты вырастешь, станешь сильной, когда у тебя у самой будут дети – мои внуки.

– Значит, и я когда-нибудь умру?

– Так устроена природа. Всею своё время. Но ты не думай об этом, живи и радуйся... Я тебя очень люблю.

Мама крепко прижала меня к груди. Коснулась горячими губами макушки и, баюкая, запела знакомую с рождения колыбельную. Мелодия и мамино дыхание словно текли по моему затылку, лёгкими толчками пробивались в горло, нежно щекотали в груди, наполняя покоем. И боль утихла, растворилась в мамином голосе. Стало тепло и легко. Я нащупала в кармане бусину. Украдкой взглянула. Она перестала казаться зловещей. Она вновь засветилась маленьким жёлтым солнышком.

Прошло 40 лет. Уже нет и моей мамы. А я давно-давно живу в другом городе. Но приехала погостить в город моего детства, где меня встретил тот же знойный ветер со смешанными запахами песочной пыли, степной полыни, стойкой придорожной лебеды и разгорячённых тополей. Та же улица с тем же сквером и фонтаном. Тот же дом... Всё так же, как в детстве, только немного меньше. Теснее стали двор и сквер, более узкими – улицы, ниже – потолки в доме. Но совсем не изменились запахи, они живы, как родовая память. И таким же огромным осталось небо, даже цвет его – прежний: в полдень – белёсо-голубой, в полночь – глубинно-чёрный, с яркими стразами звёзд. Да и ночи – те же: тёплые, наполненные многоголосием сверчков и стрекотанием кузнечиков.

И пусть современные девочки не закапывают «секретики» в песок, а прячут их в памяти компьютеров и сотовых телефонов. Но они испытывают те же чувства, что и я когда-то, дышат тем же ветром, ходят по той же траве, их ступни обжигает та же горячая земля. И в фонтане так же, как и прежде, плещутся дети. «Нет ничего нового под солнцем». Нет даже времени, только течение жизни...

Помню, когда узнала, что стану матерью, почувствовала себя бесконечной вселенной. О, как приятно знать о чём-то таком, о чём никто не знает! У меня появились ещё одни глаза и уши, которые стали видеть и слышать мир изнутри меня. И открылся ещё один секрет: «глаз не насмотрится всласть, вдоволь не наслушается ухо».

Когда-нибудь приеду в город моего детства вместе с внучкой. Я открою ей «секретик» и подарю ту самую янтарную бусину.

2012 г.

ЛЕДЯНОЙ ДОЖДЬ

Конец октября выдался морозным: температура воздуха неожиданно упала до десяти градусов ниже нуля. Да, именно неожиданно, потому что бабье лето, отступив в тёплом сентябре, вновь вернулось в остывшем октябре и торжествовало золотыми днями до самой его середины. И вдруг...

Однако согласно календарю уже давно прошёл Покров день, а значит, снег и морозец — явление законное. И раньше в наших краях на Покров частенько выпадал первый снег. Издревле белоснежное полотно на земле сравнивали с покровом Богородицы.

Сравнивали и с подвенечной фатой, даже примета в народе бытовала — чем больше снега выпадет в праздничный день, тем больше свадеб случится в этом году; да и сам праздник всегда все старались провести как можно ярче. Вот и мы с Верой, несмотря на нечаянный мороз, сели в машину и смело отправились за яркими впечатлениями в Москву. Вера — поэт, сказочница, кроме того, ещё и опытный водитель. Нередко мы бываем в разных городах: Вера читает, я пою — неплохой творческий тандем.

От предчувствия добрых встреч настроение было приподнятым. И погода вдохновляла солнечным морозцем. Чистый прозрачный воздух, потемневшие после уборки и уже уснувшие поля, полупрозрачные притихшие леса, весёлые на их фоне сосенки и ёлки — всё вокруг безмятежно желало нам доброго пути. Но лишь осталось позади милое Свяжское раздолье, как потянувшиеся просторы Марий Эл и Чувашии оказались не просто заснеженными, но и покрытыми толстым панцирем льда. Виды — удручающие. Целые рощи, придавленные тяжестью неведомой силищи, почти лежали на земле. Заледенелые берёзы обездвиженными дугами горестно склонялись к обочинам. И асфальт в ледяных колдобинах напоминал не дорогу, а схваченную внезапным морозом реку с застывшей вздыбленной рябью.

Вера сбросила скорость. Мы, ошеломлённые, ехали молча, с единственным желанием — скорей оставить злополучные места. Но картина за окном становилась всё мрачней и мрачней. Повсюду, куда хватало глаз, из ледяного наста разреженным частоколом торчали сломанные деревья, точно обрубленные жестоким дровосеком.

— Будто костлявая косою прошла, — горько выдохнула Вера.

Я промолчала. Закрыла глаза. Потом вновь посмотрела в окно: порушенный лиственный лес сменили молодые сосны и ели — они мне показались похожими на заблудившихся инопланетян, — стояли, как обречённые, скованные серебристыми скафандрами...

Колдовскую нереальность тяжёлого зрелища усилили ранние сумерки. Мы поехали совсем медленно. А стремительно опускавшаяся ночь заставила ещё сосредоточенней вглядываться в трудную дорогу. Свет фар продолжал вырывать из темноты следы небывалой стихии.

— Сфотографировать бы всё это, — неожиданно прозвучал голос Веры. Она осторожно остановила машину у обочины, расцехлила мобильный телефон и вышла.

Я тоже достала фотоаппарат, но вылезать из тёплого салона не хотелось. Опустив стекло, я вытянула руки к освещённой панораме ледяного Берендеева царства и несколько раз — со вспылкой и без — щёлкнула затвором. Когда Вера вернулась и, поёживаясь от холода, уютно вжалась в кресло с подогревом, мы полистали получившиеся кадры. Разочарованно отметили, что «глаза» наших фотоустройств не видят той глубины, не охватывают того простора, что воспринимают наши зрачки. Снимки получились блёклыми, вовсе не передающими то, что видим мы... и уж тем более — что чувствуем.

— Ладно... — махнула рукой Вера и сменила тему: — Похоже, до Нижнего сегодня не доберёмся... хоть к полуночи бы очутиться в Лысково, там неплохая гостиница...

Без пяти двенадцать машина остановилась на ровной, словно отутюженной, площадке перед мотелем. Ярko горели придорожные фонари. Снег под ногами празднично искрился. Зазывно моргали разноцветные огоньки над входом в гостиницу, а жёлтые окна манили теплом. Все эти краски жизни никак не вязались с моим настроением. Вспомнилась «Песенка про пять минут»: так и зазвучал в голове озорной голос юной Гурченко. С чего бы?.. Может, оттого, что снег здесь какой-то волшебной снежинки в свете фонаря, выются вокруг одной главной фразы: «Но бывает, что минута всё меняет очень круто, всё меняет раз и навсегда»?..

Долго ли шёл этот ледяной дождь? А сколько теперь лет понадобится, чтобы природа восстановилась?.. Целые леса! Страшно...

Однако уютное тепло гостиничного номера, искренняя — не дежурная — улыбка дежурной, вкусные запахи кухни рассеяли тревожные мысли. Напившись горячего чая, мы блаженно рухнули в чистые постели.

— Будильник заводить не будем, надо выспаться... я так устала, — протяжно зевнула Вера...

Утром солнечные лучи, тоже за ночь отдохнувшие, весело светили на дорогу. Следы отбушевавшей стихии теперь встречались не часто — лишь небольшими полосами: видать, ледяной дождь прошёл здесь не сплошняком, тем самым пощадив Нижегородскую область. А может быть, дождь просто обессилел, пока сюда добрался. Берёзы уже не гнулись к земле, а лишь задумчиво склоняли тонкие макушки. Стволы и ветви отливали хрустальным блеском, а не успевшие опасть листья, сверкали на солнце радужными слюдяными пластинками. Ясное голубое небо казалось покойным, ласковым, и трудно было представить, что оно способно обрушивать на землю всякие напасти.

— Странное явление — ледяной дождь... — Вера закурила и приоткрыла окно.

— Я помню такой в декабре 2010-го в Москве. До сих пор многие деревья так и не поднялись... Первый раз в жизни тогда увидела, узнала, что в природе бывает такое... Да и само понятие «ледяной дождь», мне кажется, новое... Может, это явление двадцать первого века? Ось Земли сместилась, климат изменился... А может, мы — люди — виноваты... И Андерсен свою «Снежную королеву» ещё полтора века назад написал, как предупреждение человеку, мол, загордишься — и попадёшь в вечное царство льдов...

— Что сказки?! Ведь были ледниковые периоды... Может, эти ледяные дожди — просто предвестники новой ледниковой эры, а мы — свидетели её начала.

— Может... Вот только документальных свидетельств мы потомкам не оставим, фотоаппараты вчера не сработали, — попыталась я пошутить.

— Зато слово в литературе оставим, — с весёлым вызовом, успокоенная хорошей дорогой, сказала Вера.

— Ну да... Если не вымерем, как мамонты.

— Вот-вот. От мамонтов хоть бивни остались, а от нас... Интернет — не скрижали.

Мы ненадолго умолкли. Вера докуривала. А у меня перед глазами, как на фотоплёнке, всё проявлялся и проявлялся ночной чёрно-белый лес. Берёзы, застывшие в глубоких поклонах, будто молились — смиренно, тихо. Маленькие ёлочки, словно беззащитные дети, пугливо вглядывались в небо. Деревья — ни в чём не повинные — гибли... за чужие грехи... Страшно!

Вера закрыла окно. Прибавила газу и, будто подхватив мою мысль, но поддавшись солнечному настроению, перевела её в мажорный лад:

— А всё же, хоть и ледяная, хоть и страшная, а — красота-а-а!.. Согласись?

— Да, — прошептала я, голос не слушался. Чуть шевеля губами, я начала вспоминать: — Пресвятая Богородица... Покрый нас честным Твоим Покровом и избави нас от всякого зла...

— Что говоришь? — Вера не отрывала от дороги глаз.

— Красота, говорю. Убийственная красота...

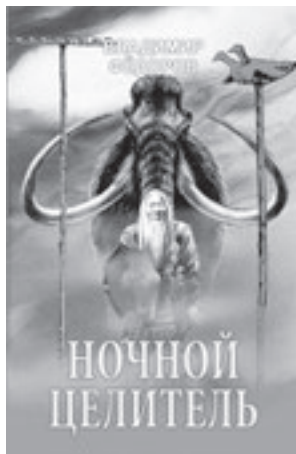
2014 г.

P.S. Книгу «Янтарная бусина» вы можете заказать, написав автору: helga-ovk@mail.ru



НОЧНОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ

Не бывает ничего случайного на этом свете. Случайные встречи, неожиданные находки или прозрения — всё это промысел Божий. И нам, смертным, не пропустить бы эти небесные знаки, откликнуться на них и сделать для себя какие-то выводы, которые иной раз могут открыть новые направления в судьбе. И название «Ночной целитель» — книги повестей и рассказов сибирского писателя Владимира Фёдорова — тоже, наверное, не случайно, так как, читая её, ощу-



щаешь очищающее и примиряющее воздействие текстов, как целительных молитв. И ещё возникает радость от сознания того, что наша покорёженная смутным безвременьем перестройки литература исцеляется такими хранителями чистейшей русской речи и народного духа, с одной стороны, сохраняя и продолжая традиции и достоинство нашей литературы, с другой стороны, явно двигаясь вместе со стремительным временем вперёд. Сколько раз уже Сибирь не только сохраняла, но и освежала русскую литературу. Начиная с Ершова с его «коньком-горбунком», Шишкова с «Угрюм-рекой», Павла Бажова с его сказами, а в советское время — с продолжателями традиций: Валентином Распутиным, Александром Вампиловым, Анатолием Ивановым, Василием Фёдоровым, Василием Шукшиным, Виктором Астафьевым, которыми созданы целые миры, населённые работающими сибиряками, любящими

и сохраняющими свой суровый родной край, ощущающими себя неотъемлемой частью всей огромной России. Вряд ли случайно, что именно сибиряки вливают свежую кровь в отечественную литературу. Я полагаю, что частично секрет успеха их творчества в том, что Сибирь — не только кладовая природных ископаемых, залежей руды и самоцветов, нефти и газа, не только бескрайние просторы тайги, обильные пушным зверем, но и хранительница традиций, культуры и чистого языка (не без влияния минувших эпох, конечно) в среде потомков старообрядцев, предки которых во времена раскола русской православной церкви в большом количестве пришли сюда из центральной России. До сих пор всевозможные фольклорные экспедиции по собиранию старинных песнопений и сказов организуются с маршрутами по Сибири, по её духовным кладовым и неиссякающим народным родникам творчества.

Казалось бы, ну кому ныне будут интересны воспоминания мальчика из деревни, затерявшейся где-то в бескрайней сибирской глухомани? Но — о, чудо! — с первых же страниц поселяешься и живёшь уже душой там. И, что удивительно, чувствуешь себя свободно, комфортно, по-свойски в незнакомом и таком далёком месте. В чём секрет? Да, у многих читателей детство так или иначе связано с деревенскими впечатлениями.

Но вот один мой друг, выросший в военной семье, прошедший детство по различным гарнизонам, с не меньшим упоением и опять-таки узнаванием каких-то своих далёких чувств читает эти волшебные рассказы Владимира Фёдорова. Значит, надо отдать должное мастерству писателя, умеющего нас погрузить в свой мир, вызвать соучастие и сопричастность к описываемому бытию. Ведь, например, об Оливере Твисте читая, мы тоже испытываем и родственные чувства, и сопереживание, хотя действие происходит в другой стране и в другую эпоху. С прозой Фёдорова всё ощущается, конечно, намного сильнее и проникновенней. Автору, описывающему в целом незнакомый нам край, условия жизни и повседневное поведение людей, удалось показать наиболее общие нравственные черты жителей нашей огромной страны, независимо от того, на каком краю света они живут и каким делом занимаются. Вот почему герои рассказов становятся нам сразу знакомы и близки. Попутно мы познаём, насколько же непроста — на грани выживания — жизнь в районах полярного круга, где дети даже яблоки, привычные в наших краях, считают редким угощением, не говоря уже о каких-либо экзотических южных плодах. Удивляет, как мальчишки запросто могут соорудить и поставить силки или капканы, владеют стрельбой из ружья, выручая охотничьей добычей и свои семьи, и соседей в трудные дни, когда рядом нет взрослых. Показана в тех суровых условиях естественность взаимовыручки и заботы об одиноких стариках или убогих, общинность, готовность поддержать семьи, оставшиеся по той или иной причине без кормильца. Особо подчёркнуто умение жить в коллективе, бережное отношение к человеческой чести, потеря которой практически делает индивидуума духовным изгоем. Описываются маленькие радости таёжного бытия, тяжкий, но необходимый и естественный труд для прокорма семьи и для благополучия страны. И при всём при этом у читателя складывается устойчивое впечатление, что герои рассказов живут счастливо и достойно, в необходимом достатке, без грабительского отношения к природе, и себя считая частью её. Невольно рождается ностальгия по тому времени, по тому государству порушенному, в котором люди жили, хоть и небогато, но достойно и по-братски. В ту эпоху не могло быть выражения, какое бытует нынче: «Это — ваши проблемы». Беда соседа становилось проблемой всего села, и она решалась общими силами. Вот, на самом деле, то самое дорогое, что мы потеряли.

Поскольку действие происходит в Якутии, где проживают разные народы, видно, как происходит взаимопроникновение культуры быта, взаимопомощь и простая человеческая дружба. В области сознания живут одновременно и христианские заветы, и устои язычества, аккумулирующие в себе нормы человеческих взаимоотношений и сбережение природы, как живого существа. И порой уже в сознании людей не разграничиваются обстоятельства и персонажи реальные или мифические, — они все — суть от жизни, от природы. Поражает, насколько мастерски, буквально несколькими мазками автор живописует облик окружающей среды, природы. Портреты людей, например, он очерчивает кратко, но одновременно точно и всеобъемлюще: ни рост, ни одежду, ни черты лица не перечисляет, а лишь с музыкальной точностью передаёт речь описываемого героя, его интонации, его национальный акцент, местный колорит. При этом в сознании читателя вырисовывается абсолютно живой, с множеством неописанных деталей человек. Как это получается — загадка. Видимо, писатель, зная секрет генетического кода языка, непосредственно воссоздаёт облик человека по сконцентрированной в его речи, как в зёрнышке, информации о внешних чертах и характере. Так под магическую мелодию дудочки факира на арене цирка на глазах изумлённой публики из маленького росточка вырастает целое дерево.

Есть среди рассказов сборника исторические экскурсы, которые тоже поражают подлинностью художественного изображения. Погружение в эпоху осуществляют не

только картины и даты событий, но и речь того пласта: словарный состав, манера диалогов и специфические выражения, характерные именно для этого времени и места. А ведь места-то описываются каторжанские и — в последствии — спецпоселенческие. Какие духи демонов бунтарства и протеста носились над этими местами! И какие духи добра и милосердия примиряли их с бытием и давали покой, а порой и второе рождение! Немало в повествованиях присутствует и элементов фантастики, в том числе научной — с соответствующей терминологией и обстановкой. Практически автор легко и непринуждённо, как в машине времени, перемещает читателя в любую точку исторической шкалы времени, причём очень достоверно и убедительно. Так, с помощью новейших космических технологий герой одного из рассказов достигает дальних звёздных миров, куда душа человека, покидая этот свет, попадает на сороковой день... И в то же время веришь увлекательным рассказам Мюнхгаузена о его неизвестных ранее приключениях в Якутии, куда его, ничтоже сумняшеся, помещает Владимир Фёдоров, используя приём телепортации героя в другую эпоху и обстановку. И через восприятие бессмертного барона начинаешь ещё больше уважать труд людей в суровых сибирских условиях, веришь в искренность открывателей Северного морского пути по наказу царя Петра Первого, веришь в их самопожертвование во имя Отечества. Насколько мне известно, даже учёные, сначала относящиеся скептически к некоторым изысканиям Фёдорова в области истории, после дополнительных исследований и знакомства с архивными материалами подтвердили удивительную точность его предположений. С другой стороны открывается, казалось бы, негероическая жизнь артистов в арктической обстановке, требующая постоянного напряжения и примирения с колымской действительностью. Вряд ли жители размеренной Европы или изнеженных южных стран способны жить в таких условиях. У читателя рождается законная гордость за соотечественников, за свою страну. Так, наверное, и рождается потихоньку тёплое чувство патриотизма. Обо всех героях, со всеми их заковками и чудачествами автор пишет с доброй улыбкой и любовью. Это ведь наши люди, какие ни есть!

Когда читаешь прозу Фёдорова, то просто живёшь в ней, не задумываясь, каким образом автор совершает своё волшебное преображение, если не в участников событий, то, во всяком случае, в лиц, ощущающих живое дыхание персонажей. Действие рассказов совершается, сотворяется непосредственно во время чтения. Странно — ведь не вёл же деревенский мальчик дневников для будущих произведений. Значит, автор, умея вызвать и передать чувства ребёнка, его радости детским языком, создаёт художественными средствами новую реальность по своим детским воспоминаниям. А высочайшей образностью он обязан поэзии. Стихи Владимира Фёдорова, с которыми я тоже знаком, очень певучи, в строках уже слышна мелодия. Это умение ощущается и в прозе. Картины природы описываются в раздольном ритме, а какие-то жаркие события — уже в другой, учащённой ритмике. Единство формы и содержания — непереносимое условие настоящего искусства — помогает ему образно живописать обстановку, природу и людей. У него каждое слово лучится, благодаря внутреннему ритму произведения, а не является просто статистом в многоплановом произведении.

А ещё возникает тайная мысль: «А не шаманит ли русский писатель, родившийся и выросший в таёжных условиях?» Может, неучтённые небесные силы помогают ему оживлять образы пережитых дней и окружающих его людей? Может быть, я недалёк от прозрения — одна из книг его стихов называется «Небесные тетради». Как настоящий патриот, Фёдоров глубоко изучает историю своих предков и своей земли. Так, от него узнаёшь, что якуты, в среде которых он живёт, пришли когда-то в северные земли из Средней Азии и принесли с собой культуру коневодства и скотоводства, вывели в сибирских условиях специальные породы низкорослых выносливых лошадей и коров.

Этот тюркоязычный народ, исповедуя религию огнепоклонников «Тенгрианство» (Тенгри — Бог Солнца, теньга, деньга — монета — маленький образ солнца), затем освоил и присовокупил шаманизм, создал свою религию и изустный эпос с очень сложной иерархией Богов и уровней различных миров. Именно к ним обращаются шаманы во время своих камланий, входя в состояние транса, чтобы получить информацию либо о каких-то событиях, либо о способе исцеления того или иного больного.

Не таким ли же методом пользуется Владимир Фёдоров, чтобы черпать художественную информацию с различных уровней о мироздании и о душах персонажей своих произведений? Есть, есть загадка в творческих силах писателя, если учесть, что он является и автором ряда пьес, которые ставятся на сцене, и кинодраматургом, по сценарию которого снимается фильм, и главным редактором «Общеписательской Литературной газеты», а когда-то был самым молодым в СССР главным редактором толстого литературного журнала «Полярная звезда». На Родине благодарные земляки срубили творцу книг о них домик для творчества на берегу Лены, эдакое маленькое индивидуальное «Переделкино». Это ли не народное признание!

В ноябре-декабре минувшего года наша страна традиционно отметила очередную годовщину битвы под Москвой. На южных рубежах столицы танки немецкой армии Гудериана стояли у самой Каширы. Прорыв обороны на этом участке мог открыть врагу дорогу на Москву. Отогнала фашистов от Каширы и погнала их дальше конная армия генерала Белова, костяком которой были якутские конноармейцы. Какая небесная сила помогла им и посеяла страх в рядах железной танковой армии Гудериана? Какие шаманы молились о победе наших войск? Кстати, это был самый первый эпизод войны под Москвой, когда фашистскую армаду поворотили вспять. Знать, не простая духовная сила у сибиряков, которые и в суровых природных условиях, и в тяжёлых жизненных обстоятельствах, не считая это героизмом, преодолевают трудности бытия. Да и в творчестве своём художественном куда как горазды!

Хайдар БЕДРЕТДИНОВ

«НИ РАЗУ Я СЕБЯ НЕ ОБМАНУЛ...».

Дневники, письма, стихотворения поэта и журналиста Константина Бельхина, павшего на Великой Отечественной войне. Курск, 2016. с. 360.

В нынешнем году мы будем отмечать 100-летие Октябрьской революции. Как это будет происходить — сказать трудно, коль не можем пока определить: что это было? Переворот? Так перевороты устраивает элита, а тут поднялись и рабочие, и крестьяне... Или это был величайший эксперимент, может быть, преждевременный, к которому никакие слои россиян не были готовы? И мы снова разделились. Радикалы, традиционалисты — всяк со своей оценкой событий столетней давности, их последствий влияния на сегодняшнее наше житьё-бытьё. А что до книги о Константине Бельхине, то она очень даже кстати — в разгар споров о Революции и социализме её выпустил писатель Геннадий Александров. Он написал вступительный очерк о герое, уточнил многие факты его биографии, собрал воедино воспоминания друзей и соратников. Наконец, книга насыщена замечательными стихами поэта, ярко



и эмоционально дополняющими его внутренний мир. Стихи здесь в полной гармонии с дневниковыми записями. Их в книге больше всего. Это и радует. Всё-таки рассказ или повесть — это домысел, а вот дневник — это другое, это самый откровенный, самый честный разговор автора с читателем. Из дневников вырастает правда эпохи. А эпоха Бельхина неоднозначна, противоречива — это 30-е годы минувшего столетия. Молодая Россия ещё залечивала раны Гражданской войны, но уже рокотали первые пятилетки — индустриализация страны шла полным ходом. Так кто же были эти люди, жившие в тех сложных 30-х? О чём мечтали, чему радовались, каким идеалам служили? Мы не задумываемся об этом, но, наверное, это счастье — быть нужным своему времени. Вот почему дневники Константина Бельхина не только интересно читать, но над ними ещё можно и поразмышлять — больше всего, о судьбе Родины, которой нужно было наращивать технический потенциал во враждебном окружении.

А ведь Константин Бельхин — наш земляк. Сын кустаря-одиначки, родившийся в 1912 году в деревне под Казанью, юноша не просто вписался в свою эпоху, он жил с ней слитно — одной задачей, одной идеей. Это было строительство социализма. А значит, жизнь его была нелегка. И без хлеба оставался, и без денег, и без ботинок, и без крова. Только за то, что приписал себе пролетарское происхождение, был исключён из комсомола и из университета. А ведь преуспевал. Но не обижался, переживал, раскаивался. И ведь каков характер, какова сила духа у 23-летнего молодого человека! Из дневника: «Подавлен до крайности. Боюсь потерять равновесие... Комсомол, институт, литература — всё уходит. Что делать? Жить! Отвоевать своё право в жизни и оправдать это право. Девиз моего курсного перевода — «Сила приобретается борьбой» — должен быть оправдан. Я сын своего времени, пусть имею вывихи, но время — великий костоправ. Я буду жить!» И учиться он будет, потому как знает, что ему нужно. «Быть специалистом, знать хорошо физику, математику, механику так же необходимо, чтобы познать мир, как и общественно-политические науки. Учиться, приложив всю энергию, впитать в себя всё необходимое, всё хорошее, что можно впитать, — вот к чему я пришёл... несмотря на нищенское положение семьи...»

Природа наделила Константина Бельхина многими талантами. Деятельный организатор, аналитик по природе, поэт (его стихи печатали многие издания 30-х), художник и даже, самостоятельно освоив инструмент, играл на баяне. Музыка влекла его столь же неудержимо, как и поэзия. Сколько страстных строк посвящено этому виду искусства в его дневниках! Но ум этого человека не воспринимал поверхностного знакомства с предметом. Ему было нужно доходить до глубин. Так же и с музыкой: он намеревался изучить музыкальную грамоту, в письмах просил друзей присылать пособия. Не перечислить названий прочитанных книг, упоминаемых в дневниках! Это те, которые произвели сильнейшее впечатление, а в целом, надо полагать, их значительно больше. Читал очень много. Не удивительно, что по окончании девятилетки (среднее образование по тем временам) был послан учителем в деревенскую школу. А когда служил в армии (в кавалерии), назначили полковым учителем. Везде и всюду Советская власть боролась с неграмотностью. Из дневника. «Группу неграмотных комиссар предложил сдать кому-нибудь из культармейцев, а самому заниматься с начсоставом по математике. Завтра веду первый урок... а с наступлением учебного года начнём атаковать науку всем полком». При этом много рисует, занимается в литературной студии, пишет стихи. Из стихотворения «Молодость»:

*Жадная,
ищущая,
неуёмная,
Она взрывается*

*в недра земли,
Взрывает толищу
тысячетонную,
Где клады древности
залегли.*

В этом стихотворении нет конкретного героя, но читаешь его и невольно думаешь: да вот же он — прототип — сам автор! Это про него! Это он не побоится любого дела, отстоит свои убеждения, не захнычет в неудаче, а возьмётся за молот: благо отец обучил профессии кузнеца. И она пригодилась Константину в трудную минуту. А когда отец написал сыну, что стал стахановцем, тот был счастлив безмерно... Да и как не радоваться, если единоличник работает теперь в коллективе, да ещё и передовик производства... А вокруг в стране грохочут стройки, встают новые заводы, электростанции, фабрики — как воплощение идей социализма. Из дневника: «Был на выставке проектов Казанского Дома культуры. Из пяти выставленных работ мне больше понравился проект Казанского архитектора Сперанского — грандиозность и лёгкость в нём хорошо гармонируют. Здесь красивая простота и сила. Я согласен прожить в подвале по Батулинскому переулку ещё столько, сколько прожил, чтоб иметь возможность войти потом в этот дворец с чувством гордости за всех живших по колено в грязи и строивших в то же время солнечное здание будущего. Я верю в это, ибо здесь не мистика, не иллюзия, а вполне реальное, осуществимое».

Вот так жили они, молодые люди 30-х годов. Одухотворённые идеей социализма, честные, одновременно романтики и прагматики, бескомпромиссные и прямолинейные. Как следует из дневников, юный Бельхин осуждал девчонок, своих сокурсниц, за кокетство, косметику, танцульки. И подругу он выбрал не из таких, а из среды своих друзей. Когда Юлия закончила физмат КГУ, они поженились и уехали по месту её распределения в Мурманск. Конечно же, Константин Бельхин первым делом принёс стихи в газету «Полярная правда», а редакция пригласила его на работу корреспондентом. Начались беспокойные журналистские будни. Где он только не побывал — у оленеводов, лётчиков, у рыбаков на сейнерах, в доках, у изыскателей, в стойбищах разных северных народов. А на газетных страницах появлялись разнообразные материалы о людях, достижениях, событиях древней Кольской земли, к которой он прикипел всем сердцем. И, конечно же, стихи:

*Вы были в Лапландии летом
На вызревшей на заре?
Когда в глубине ущелий
к радугам водопадов
всплёскивают форели
блёстками серебра,
И робко оленья стада
бредёт в голубую прохладу,
и дремлют косматые ели
над влажным дыханием трав?*

А вот о Мурманске:

*Мой город
на перепутье.
На север — простор океана.*

*Моря —
на восток, на запад.
На юг —
вся большая земля.
И знают
бывалые люди,
как хлебом
И словом желанным
мой город
Умеет встретить
сошедшего с корабля.*

Как и по всей стране жизнь на Севере не замирает ни на минуту. Уже спасли папанинцев, готовится новая полярная экспедиция — в плане освоения Севморпути, и как следует из дневников, Бельхин мечтает стать участником этого похода. И его утвердили. В редакцию идут радиogramмы — короткие и ясные — «как донесения с передовой». Масса впечатлений и наблюдений. Планирует, вернувшись из экспедиции, написать несколько очерков и статью «без восклицательных знаков», что означает критическую: в подготовке похода было немало пробелов, и пройти мимо этого журналист уж никак не мог.

Но он мог бы прожить замечательную жизнь. Написать книги стихов, целые выставки картин, а может быть, и цикл музыкальных произведений... Но ничего этого не случилось: на пороге встала война. Он тотчас явился в военкомат, мол, добровольцем... Ему ответили: завтра получишь повестку, с ней и приходи. Военкор капитан Бельхин участвовал в Сталинградской битве, в боях на Орловской и Курской дуге, погиб около г. Дмитриев-Льговский Курской области.

*Нас, победителей
времени злого,
Идущих в мир
сквозь огонь, сквозь дым,
Страна обнимет
горячим словом,
Мудрым, как жизнь,
как жизнь, простым.*

Итак, перед нами новая книга, прочитать которую хотелось бы пожелать всем от мала до велика. Особенно юношеству. Ведь она о небольшом документальном отрезке истории нашего государства на примере жизни конкретного человека. Книга вышла как бы в канун столетия октябрьской революции, которое мы намереваемся отметить. Но включите телевизор. Там идут настоящие политбои, где ярые антикоммунисты кричат те же слова — «декоммунизация», «десталинизация», а несогласные с ними кричат не менее яростно. Не дай Бог пережить нам ещё одну гражданскую войну. Случись с нами такое бедствие, то как, скажите, мы в Судный день будем смотреть в глаза тысячам Бельхиных?

Наталья ПЕРВОВА





МАМА, ПОЧИТАЙ

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА

РАЗБИТАЯ КОПИЛКА

ЖАДНАЯ ПРИЩЕПКА

Просил Ветерок
У Прищепки:
— Мадам!
Отдайте пиджак!
— Ни за что не отдам!
— Позвольте примерить,
Мне нравится он.
— Простите, не ваши
Размер и фасон.
— Устал быть бесцветным
За столько-то лет!
Мне очень подходит
Оранжевый цвет.

Прищепка сказала:
— Пусть даже и так!
И крепче вцепилась
В несчастный пиджак.

ПОСЛЕ ПРОГУЛКИ

Галдели Сапожки,
Вернувшись домой:
— А в парке дорожки
Покрыты листвою!
Все Лужи встречали
Приветливо нас.
Мы в них наступали,
Примерно, сто раз.
Как славно! Как мило!
Какой чудный путь!
И тапочкам было
Завидно чуть-чуть.

ПРО МЕНЯ И ПРО ОСЕНЬ

По яркой дорожке
Лечу, словно ветер,
Я в жёлтых сапожках
И в красном берете.

В плетёном лукошке
Грибов ровно восемь.
Хочу быть немножко
Похожим на осень!

ВОЛНУЕТСЯ МОРЕ!

Волнуется море —
И волны стеною.
А всё потому, что
Ждёт встречи со мною.

Ведь я обещал,
Что десятого, в среду,
К нему погостить
На неделю приеду.

Сумел, наконец-то,
До моря добраться.
И вмиг перестало
Оно волноваться.

Вот берег лазурный.
Вот чайки на воле.
Мне море шепнуло:
— Обнимемся, что ли?

МОЙ ПОРТРЕТ

В тумане я как будто,
 Меня счастливей нет –
 Красавица Анюта
 Рисует мой портрет.

Я не моргнул и глазом,
 (Раз надо – не вопрос!),
 Хотя уже три раза
 Чесался дико нос.

Готово дело это,
 И миг исчез туман.
 Смотрю, глядит с портрета
 Ушастый мальчуган,

Не спавший будто сутки,
 Взъерошенный, как ёж.
 Но я сказал Анютке:
 – По-моему, похож!



МАРСИАНСКИЙ КОТ

Кот сказал: «Я не сиамский,
 А посланник марсианский.
 Хорошо – с пути не сбился
 И на кухне приземлился.
 Неужели я не в сказке?
 Вижу сочные колбаски.
 Передам одну со шкуркой
 Марсианам Ваське с Муркой».

ПЕРЕДУМАЛ!

Проснулся День, открыл глаза:
 Кружит над лугом стрекоза,
 Порхают плавно мотыльки.
 Кругом ромашки, васильки.
 Течёт извиристо река,
 На синем небе облака.

Взглянул в блокнот – и сам не рад:
 Сегодня днём по плану – град!

День запах трав в себя вдохнул...
 И град в блокноте зачеркнул.

НЕСПРАВЕДЛИВО!

Тетрадка
 на Анну Петровну
 в обиде –
 за что она двойку
 поставила Вите?!

Не взялся решать
 пару нудных задачек?
 Зато он фломастером
 вывел собачек!

Отсутствует
 в центре окружности
 точка?
 Зато улыбается
 котик с листочка!

С ним рядом мышонок
 хохочет счастливо...
 Отметка поставлена
 несправедливо!

МАЛЬЧИК И МЯЧИК

Мой мяч с недовольством
Глядел на меня:
— Я нашу лужайку
Не видел три дня!
Лежать в коридоре –
Какой интерес!
А мне бы хотелось
Взлетать до небес.
Скорей ощутить бы
Родное «прыг-скок»
И солнцу подставить
Резиновый бок!

Мне было несложно
Свой мячик понять.
Я весело крикнул:
— Выходим гулять!

ЛУЧШЕ СРАЗУ СТАВЬТЕ «ДВА»!

Лишь сказал учитель-крот:
— Пишем, мышки, слово «кот».
Все возьмите в лапки мел...
Класс мгновенно опустел.

И слышалось едва:
— Лучше сразу ставьте «два»!

СТЕСНИТЕЛЬНАЯ СНЕЖИНКА

Домой по дорожке
Я топаю смело.
И тут мне снежинка
На варежку села.

Такую сравнить
И со звёздочкой можно!
Её я в подъезд
Заношу осторожно.

— Твоей красотой
Порадую брата...
Но вскоре снежинка

Исчезла куда-то!

Могли б любоваться
Мы ею до ночи.
Она ж оказалась
Стеснительной очень.

Я ТАЙНУ ОТКРЫЛ

Я тайну открыл –
Мне пришлось постараться.
Она не хотела
Никак открываться.

Попал молотком я
По цели не сразу –
Разбил по соседству
Стоящую вазу
И хвост отколол
У фарфоровой змейки...

В копилке лежали...
Четыре копейки!

В ИДЕАЛЕ!

Зарплату нельзя
Доверять нашей маме!
Не может она
Обращаться с деньгами!

Зачем-то потратила
Их на квартплату,
Купила мне куртку
И валенки брату,
И даже филе,
Чтобы делать котлеты...

А нет бы нам взять
На зарплату конфеты.
— Порадуйтесь, дескать,
Сыночек и дочка!
А завтра на сдачу
Мы купим щеночка!



ПРОБА ПЕРА

АНАСТАСИЯ КУДРЯВЦЕВА



От редакции: Настя Кудрявцева становится постоянным автором нашего журнала. Это её вторая публикация.

НАШИ ГОЛУБЫЕ ЕЛИ

Семь лет назад мы решили перед домом посадить несколько ёлочек. Для этого дедушка съездил в Чистопольский питомник и привёз оттуда небольшие, но очень красивые ёлочки цвета морской волны.

Был осенний субботний, солнечный день. Мы дружно выкопали ямки, полили в них водой и сделали жижу, аккуратно поставили туда ели и засыпали корни землёй, после чего ещё раз полили их. «Растите, ёлочки, на радость людям!» — сказали мы и были довольны своей работой.

Прошло семь лет, а когда мы их сажали, им было два года. Мне сейчас девять лет, значит, они мои ровесницы, но ростом ёлочки выше меня уже в два раза.

Очень интересно наблюдать за ними во все времена года.

Зимой они, окутавшись в белые лапы снега, выглядят сказочными, как будто специально разукрашиваются на Новый год. Смотришь на них, как заворожённый, что природа такую красоту создаёт, и трудно отвести от них глаза!

Весной, ближе к лету, у них появляются свечки-почечки. Ёлочки тянутся в высоту, а некоторые ветки в течение где-то двух месяцев борются за эту высоту.

Летом они становятся зелёно-голубые с переходом в бирюзовый. Приобретают более строгий, солидный вид, как бы охраняющий покой.



А осенью, особенно к позднему периоду, иголки наших ёлочек приобретают ещё несколько оттенков, становятся сладковатыми и очень колючими. И когда к Новому году мы хотим их украсить, ёлочки становятся словно ёжики, и к ним трудно подступиться.

Они словно стали членами нашей семьи! Ведь с ними можно поговорить, поделиться радостью, сказать сокровенное...

А они, качая ветками, отвечают нам!

ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ

Это было очень жарким июльским днём. Вода нагрелась до того, что издалека был виден пар.

«Ой, я начала подниматься в небо и подлетела к пушистой толстой тучке, где встретилась со своими братьями и сёстрами». Вдруг с нами решил поиграть ветер, который начал швырять тучу туда-сюда. Постепенно мы начали расширяться, и нам стало тесно в туче.

Туча пометалась, затем бабахнула искрами, и капельки рассыпались в разные стороны, падая в море, на землю и на людей. «Я сама попала в речку», — закончила свой рассказ бабушка Капелька, предупредив, что все молодые капельки будут тоже совершать подобные путешествия.

* * *

Незнайка гуляет по лунному свету,
Мечтает Незнайка слетать на Луну.
И верит он в чудо, что ждёт его где-то
Ковер-самолёт по кличке «Ро-ро»!
Он сядет в него, как заправский водитель,
Укажет дорогу и ввысь полетит,
И будут гордиться друзья и соседи,
Если Незнайка Луну покорит!



Наши авторы

стр. 240 БЕДРЕТДИНОВ Хайдар Сулейманович, 1945 года рождения, по профессии военный инженер. Стихи пишет с юности. Публиковался в газетах и журналах. Автор одиннадцати поэтических сборников. Член Союза писателей России. Лауреат ряда литературных премий. Участвует в работе ветеранской организации, выступая со стихами перед различными коллективами. Живёт в Москве.

стр. 39 БУЛАТОВА Галина Ивановна родилась в городе Горьком, окончила библиотечный факультет Казанского государственного института культуры. С 2008 года живёт в Казани. Лауреат международного поэтического конкурса «Пятая стихия» им. И. Царёва (2015). Победитель и призёр конкурсов перевода стихотворений Х. Туфана, Ф. Карима, Э. Браунинга. Стихи переведены на сербский язык.

стр. 120 ВАЛЕЕВ Разиль Исмагилович родился в 1947 году в селе Ташлык Нижнекамского района Татарстана. Народный поэт Республики Татарстан, лауреат Государственной премии имени Габдуллы Тукая и ряда других премий. Член Президиума Государственного Совета Республики Татарстан и председатель комитета по культуре, науке, образованию и национальным вопросам, председатель Попечительского Совета Национальной библиотеки Республики Татарстан, вице-президент татарского ПЭН-клуба. Автор более тридцати книг стихов и прозы.

стр. 48 ГАЛИЕВ Рамиль Якубович родился 11 марта 1958 года в Челябинске. В раннем детстве переехал с семьёй в Сочи, где окончил среднюю школу. После службы в армии переехал в Казань, где окончил химико-технологический институт и работал на заводе «Электрон». Фотокорреспондентом начинал в газетах «Вечерняя Казань», «Татарстан яшьләре», «Молодёжь Татарстана». Первая персональная выставка состоялась в художественной галерее «Волга» на ул. Баумана. В конце 90-х переехал в Москву, работал в газетах «Гудок», «Комсомольская правда», «Коммерсантъ». Персональные выставки: ил Ризе (Турция), Нью-Йорк (США), Москва («Правда, 24») и др. Член Международной конфедерации журналистов, Союза фотохудожников России. В последние годы вернулся в Казань, работает в агентстве «Татар-информ». В прошлом году в музее А. Мазитова состоялась его персональная выставка «Люди под Солнцем».

стр. 189 ГЕРАСИМОВ Владимир Михайлович родился 13 апреля 1953 года в городе Владимире в семье служащих. Сейчас живёт в городе Вязники, микрорайон Нововязники. Инвалид 1 группы с детства, остаточные явления полиомиелита. Среднюю школу окончил на дому с помощью учителей Нововязниковской поселковой школы. Передвигается в кресло-коляске. Женат. В 1982 году закончил заочное отделение Литературного института им. Горького. Автор поэтических и прозаических книг, участник множества коллективных сборников и альманахов. Член Союза писателей России.

стр. 176 ДАНИЛОВ Иван родился в 1941 году в Чистополе. Большую часть жизни прожил в Казани. Окончил историко-филологический факультет Казанского педагогического института. Работал газетным и телевизионным журналистом. Книга стихов «Завязь» вышла в 1966 г. в «Таткнигоиздате» (рецензии во всесоюзных журналах «Волга» и «Смена» как об одном из самых талантливых молодых поэтов казанского поколения «шестидесятников»). Победитель Всесоюзного конкурса молодых поэтов «Чтоб к штыку приравняли перо» (1967). Попытки издать вторую книгу («Птицы долгой зимы») продолжались до конца жизни поэта (издана посмертно в 2015 г.) Умер в 2010 году.

стр. 51 ЗИГАНШИН Камиль Фарухшинович родился в 1950 году в посёлке Кандры Туймазинского района Башкирской АССР, в семье кадрового офицера. Детство и юность прошли на Дальнем Востоке в военных городках, разбросанных по самым глухим таёжным местам Хабаровского и Приморского краёв. До возвращения на родину ему довелось потрудиться в геологических партиях, отходить матросом на китобойце «Вольный», промышлять вместе с удэгейцами соболя в отрогах Сихотэ-Алиня. По образованию — радиоинженер. Закончил Горьковский политехнический институт (1973 г.) Женат, отец пятерых детей. С 1993 года является учредителем и председателем Фонда защиты диких животных. Действительный член Русского географического общества, участник многих экспедиций по России и за её пределами, в том числе кругосветной экспедиции «Огненный пояс Земли».

Член Союза писателей России с 1995 года.

Лауреат ряда российских литературных премий, награждён дипломом Международного Фонда славянской письменности и культуры России, орденом «За вклад в просвещение», золотой памятной медалью имени А.П. Чехова. Заслуженный работник культуры РБ и РФ.

стр. 183 КАРАМИЕВ Рафкат Карамиевич (Рафкат Карамиев). Родился 18 февраля 1942 года в Сармановском районе Татарстана. Учился в Елабужском училище культуры и искусств, Казанском государственном университете, а также окончил Высшие литературные курсы Союза писателей СССР (г. Москва). Автор многих романов, повестей и рассказов.

Заслуженный работник культуры РФ и РТ, лауреат премии имени Гаяза Исхаки.

стр. 131 КОЖЕВНИКОВ Лев Афанасьевич родился в 1947 году. Работал заведующим отделом сельского хозяйства в газете «Прикамская новь», корреспондентом газеты «Вечерняя Казань», инспектором русских театров в Министерстве культуры ТАССР. Окончил Кировский педагогический институт им. Ленина, Литературный институт им. Горького, Высшие театральные курсы при ГИТИСе им. Луначарского. Член Союза писателей РФ и РТ, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат всероссийских и республиканских литературных премий, ав-

тор книг для детей и взрослых. Пьесы Л. Кожевникова в разное время были поставлены во многих театрах страны, звучали по республиканскому радио, шли на телевидении. Живёт в Казани.

стр. 195 КРАМЕР Александр Борисович. Родился на Украине, в Харькове. Последние 16 лет живёт на севере Германии, в Любеке. Окончил политехнический институт, заводской инженер. Участвовал в ликвидации последствий чернобыльской катастрофы.

Пишет с харьковских школьных времён. В Харькове появились и несколько первых поэтических публикаций. В Германии стал писать прозу. Публиковался в периодических литературных изданиях разных стран, в том числе в России, Украине, Канаде, Болгарии и Германии. В 2009 г. несколько рассказов вошли в московскую «Антологию российских писателей Европы», а в 2013 г. в сборник рассказов «Десять домиков».

стр. 247 КУДРЯВЦЕВА Анастасия Константиновна родилась в 2008 году. Учится в третьем классе гимназии. Живёт в Набережных Челнах

стр. 229 КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ Ольга Владимировна родилась в городе Волжском Волгоградской области. С 8-ми лет живёт в Набережных Челнах, куда переехала вместе с родителями в начале строительства КАМАЗа и нового города. Здесь окончила среднюю школу, училище искусств по классу виолончели и педагогический институт. Работала с детьми в музыкальной и общеобразовательной школах, в городском центре детского творчества, затем руководила коллективом художественной самодеятельности на заводе микролитражных автомобилей, далее как индивидуальный предприниматель издавала корпоративные газеты для некоторых предприятий города.

В 2009 году поступила на Высшие литературные курсы при Литинституте им. А. М. Горького, где впоследствии закончила и редакторские курсы. Активно сотрудничала с Татарстанским отделением Союза российских писателей по организации литературно-музыкальных встреч и вечеров. Член Союза российских писателей. Автор трёх книг поэзии и двух книг художественно-документальной поэзии. Автор-исполнитель песен и романсов, активно выступающий с собственными программами на сценических площадках Москвы, Казани, других городов России, а также дома — в Набережных Челнах и в других городах и посёлках Татарстана.

Лауреат республиканского конкурса «Хрустальное перо», московского творческого конкурса им. Потатушкина, дипломант российского литературного конкурса им. Андрея Платонова, победитель в номинации «Философское эссе» Тютчевского литературного конкурса «Мыслящий тростник», призёр международного конкурса Грушинского фестиваля. Имеет ряд других званий и наград.

стр. 204 ЛЮТЫЙ Вячеслав Дмитриевич родился в 1954 году в городе Легница Польской народной республики. Окончил Воронежский политехнический институт, Литературный институт им. А. М. Горького. Служил в армии, работал радиоинженером, звукооператором и заведующим литературной частью театра, инкассатором, менеджером коммерческого банка. В настоящее время — ответственный секретарь журнала «Подъём». Лауреат премии Общественной Палаты Воронежской об-

ласти «Живые сокровища славянской культуры», премии журналов «Подъём», «Русская речь», «Аргамак. Татарстан». Член Союза писателей России. Живёт в Воронеже.

стр. 8 стр. 163 МАЛИКОВ Дульфат Гусманович (литературный псевдоним ЗУЛЬФАТ) родился 1947 году в деревне Ново-Сайтово Муслумовского района Татарской АССР в семье колхозника. После окончания средней школы учился на отделении татарского языка и литературы филологического факультета Казанского государственного университета.

Первые стихи Зulfата вышли в свет в его студенческие годы. Первая книга поэта «У истоков судеб» («Язымышлар ярында») была издана в 1971 году с предисловием Хасана Туфана. Литературная критика уже по первым изданиям отметила яркий талант поэта, отличную форму и лиризм его стихотворений.

Последующее творчество Зulfата, его многочисленные поэтические произведения — гражданские, лирические стихи, поэмы, баллады, составившие содержание книг «Огненные льды» («Утлы бозлар»), «Заблудившееся облако» («Адашкан болыт»), «Среди лесов» («Ике урман арасы»), «Ужалил соловей сердце моё» («Йөрәгемне былбыл чакты») и других сборников, с восторгом принимались широкой общественностью.

Зulfат был многогранным талантливым поэтом. В его переводе пьесы великих мировых классиков драматургии Шекспира, Лопе де Вега, Шиллера были поставлены на сцене театра имени Г. Камала. Он являлся автором пьес для кукольного театра, либретто первой татарской оперы для детей «Мәкерле пәси», текстов многих прекрасных песен, покоровших сердца благодарных слушателей.

Зulfат был поистине любимым поэтом народа. Судьба татарского народа, его прошлое, настоящее и будущее занимали главное место в его творчестве. Его поэзия глубоко волновала и проникала в самое сердце миллионов читателей.

15 мая 2007 года поэт скончался после тяжёлой, продолжительной болезни.

стр. 243 ПЕРВОВА Наталья Ивановна родилась в 1938 году в Мурманске. Закончила факультет журналистики Ленинградского университета. Работала в городе Череповце в городской газете. В начале 1970-х приехала с семьёй в Набережные Челны. Работала в редакции радиовещания автомобильного комплекса, затем — на литейном заводе редактором объединённой редакции радиовещания и газеты. Член Союза российских писателей, автор трёх книг стихотворений; «Моя параллель» (2007 г.), «Китежанка» (2009 г.), «Прапамять» (2016 г.). Живёт в Набережных Челнах.

стр. 28 ПОСПЕЛОВ Евгений Александрович родился в 1950 году в Елабуге, где и живет в настоящее время. Работал слесарем на арматурном заводе, архивариусом в строительном тресте, лаборантом в пединституте, штатным фотографом Елабужского государственного музея-заповедника. Принимал участие в различных выставках, в том числе и персональных. Печатал стихи в газете «Новая Кама», журналах «Идель» и «Аргамак».

Первый сборник стихов «Вполголоса» увидел свет в 2000 году. Второй — «Крылатый ковчег» — в 2010. Лауреат литературной премии имени М. Цветаевой.

стр. 215 **САМОЙЛОВ Павел Ефимович** родился в 1947 году в городе Чистополе (республика Татарстан). После службы в армии работал художником-оформителем. Окончил театально-декорационное отделение художественного училища в Нижнем Тагиле. Вернувшись в родной город, 12 лет работал художником-постановщиком народного театра при часовом заводе. В настоящее время ведёт активную творческую деятельность в живописи, графике, скульптуре, участвует в городских, республиканских, всероссийских выставках, в том числе, в таких как «Большая Волга».

стр. 175 **САРЧИН Рамиль Шафкетович** — поэт, автор-исполнитель, литературный критик, литературовед. Доктор филологических наук. Член Союза российских писателей, Союза писателей Республики Татарстан, Объединения русскоязычных литераторов Финляндии. Редактор международной литературной сети «Общелит.ру». Член редколлегии журнала «Аргамак-Татарстан». Автор поэтических сборников «Стихотворения» (1998), «Возвращение» (2009), «Цветоповал» (2011); монографий «Поэтический мир Н. Н. Благова» (Казань, 2008), «Николай Благоев» (Ульяновск, 2008), «Традиции русской поэзии в лирике Инны Лиснянской» (Казань, 2009), «Лирика Роберта Миннуллиной» (Казань, 2012); сборника статей «Лики казанской поэзии» (Казань, 2013). Обладатель гранта губернатора и правительства Ульяновской области (2007), премии Объединения русскоязычных литераторов Финляндии (Хельсинки, 2011), республиканского гранта «Учитель-исследователь» (Казань, 2012). Лауреат I степени II Международного песенно-поэтического конкурса «Журавли над Россией» (номинация «Авторская песня о Родине»; Москва, 2011). Финалист Литературной премии им. О. Бешенковской Международной гильдии писателей (Германия, 2013).

стр. 23 **СМЕТАНИН Тимофей Егорович** (25.11.1919–04.08.1947) — якутский поэт, прозаик и драматург. Участник Великой Отечественной войны. Член СП СССР с 1946 г.

стр. 244 **СТЕПАНОВА Елена Анатольевна** родилась в 1974 году в г. Набережные Челны республики Татарстан.

С детства мечтала стать учителем начальных классов, поэтому после школы поступила в Набережночелнинский педагогический колледж. Позже продолжила учёбу в Набережночелнинском государственном педагогическом институте, который закончила с красным дипломом.

Любимая профессия вдохновляет на творчество. Каждый день Степанова Е.А. встречается с детьми (стаж педагога 20 лет), знает, что их интересует, что делает счастливыми, а что огорчает, и радость такого общения ложится в основу новых добрых и весёлых стихов.

стр. 206 **ТКАЧЕНКО Пётр Иванович** родился в 1950 году на Кубани, в станице Старомижестеблинской. Окончил Владикавказское высшее общеобразовательное командное училище и Литературный институт по семинару критики. Служил в войсках. Работал в журнале «Пограничник», в газете «Красная звезда», в Военно-художественной студии писателей, главным редактором редакции художественной литературы издательства «Граница». Полковник в отставке. Член Союза писателей России. Автор многих книг, в том числе «Где спит казацкая слава», «Не для меня придёт весна...», «В поисках града Тмутаракани. Невос-

требованные размышления о русской литературе и жизни», «Возвращение Екатерины», «Слово о Мараварской роте», «Драма грозного царя» и других. Составитель первого словаря кубанского диалекта «Кубанский говор», а также книг «Кубанские пословицы» и «Кубанские песни. С точки зрения поэтической». Живёт в Москве.

стр. 34 **УЧАРОВ Эдуард Раимович.** Родился в 1978 г. Окончил Академию труда и социальных отношений (юридический факультет). Работает руководителем литературного кафе Центральной библиотеки Казани. Стихи публиковались в журналах «Дружба народов», «Новая Юность», «Нева», «День и Ночь», «Дети Ра», «Современная Поэзия», «Аргамак. Татарстан» и др. Победитель Турнира поэтов литературной универсиады в Казани 2013. Автор книг стихов «Подворотня», «SOСстояние весомости», «Трёхколёсное небо».

стр. 217 **ХАЙРУЛЛИН Камилль Хасанович**, литературовед и философ. Родился 14 сентября 1946 года в Казани. Окончил физический факультет и аспирантуру Казанского университета. Кандидат философских наук. В течении 35-ти лет преподавал в казанских вузах. Был заведующим и профессором кафедры философии Казанского педагогического университета (1987–2011). Почётный работник высшего профессионального образования РФ. Специалист в области русского космизма и космической философии. Автор более 70-ти научных работ, в том числе трёх книг «Философия космизма» (2003), «Космизм: жизнь-человек-ноосфера» (2015) и «Космизм Александра Блока» (2016). Издал два сборника своих стихов и в соавторстве два нотных сборника песен. Публиковался в коллективных поэтических сборниках, в философских и литературных журналах и газетах. Автор статей о жизни и творчестве Н. Гоголя, М. Лермонтова, А. Блока, В. Хлебникова, Н. Заболоцкого, В. Мустафина, К. Васильева, Н. Алешкова. Член Союза писателей XXI века. Лауреат премий журналов «Дети Ра», «Зарубежные записки», «Зинзивер», газет «Поэтград» и «Литературные известия».

стр. 18 **ЦЫГАНКОВ Дмитрий Васильевич** родился в 1971 году на Украине в городе Конотоп Сумской области. В 1972 году родители переселились в город Набережные Челны для участия в строительстве Камского автогиганта. Лето Дмитрий всегда проводил в Тверской области, в деревне, где жили родители отца и родственники по материнской линии.

В 1983 году семья переехала в Польшу, в Варшаву, куда отчим Дмитрия был направлен на работу торговым представителем от завода КамаЗ. В 1985 году семья вернулась в Набережные Челны.

В 1988 году окончил среднюю школу, устроился работать слесарем-ремонтником на городскую ТЭЦ. В это время начались значительные перемены в стране и в сознании людей. Проработав два года, уволился и занялся частным предпринимательством. В 1994 году, в результате несчастного случая, получил тяжёлую травму, потеряв трудоспособность.

В начале двухтысячных годов начал пробовать себя в литературе. Публиковался в литературных журналах «Аргамак», «Простор». В 2014 году в издательстве «Идел-Пресс» (Казань) вышла книга Дмитрия Цыганкова «Среди людей» с иллюстрациями автора. В апреле 2015 года принят в Союз российских писателей.

стр. 126 ЧЕРКЕСОВ Валерий Николаевич родился 3 марта 1947 года в городе Благовещенске Амурской области. После окончания вечерней школы работал корреспондентом районных и областных газет, заочно учился в Благовещенском педагогическом институте.

В дальневосточный период жизни вышли его первые поэтические сборники «Вечные родники» (1977) и «Небо и поле» (1982), также были публикации в журналах «Москва», «Знамя», «Аврора», «Нева», «Дальний Восток», в московском альманахе «Поэзия», в коллективных сборниках «Волшебное дерево» и «Рабочий человек», изданных в Хабаровске.

С мая 1982 года живёт в Белгороде. Работал в районной газете «Знамя» и областной молодёжной газете «Смена», выпускал областную газету для детей и подростков «Большая переменка», был собственным корреспондентом «Литературной газеты» по Центральному федеральному округу. В 1992 году создал Центр развития литературного творчества «Родная лира» при Белгородской государственной детской библиотеке, которым руководит и по сей день.

Черкесов Валерий — автор двадцати трёх книг поэзии, прозы, публицистики, произведений для детей, изданных в Москве, Белгороде, Благовещенске, Воронеже, Хабаровске. Стихи и проза белгородца печатались во многих центральных и региональных журналах, альманахах, сборниках, а также антологиях, в том числе и московских.

В Союз писателей СССР, теперь России, был принят в марте 1991 года. Лауреат Всероссийской литературно-театральной премии «Хрустальная роза Виктора Розова» (2008 г.) и Международной литературной премии «Прохоровское поле» (2013 г.), дипломант IV Международного литературного форума «Золотой витязь» (2013 г.).

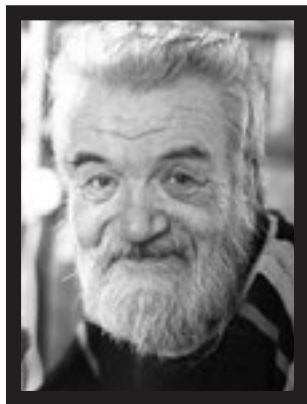
стр. 215 ШАГЕЕВА Розалина Гумеровна. Заслуженный деятель искусств РТ, обладатель премии имени Б. Урманче, поэт, искусствовед, член Союза художников (1991) и Союза писателей (2004), автор монографий, альбомов и каталогов по искусству, интерпретатор современного татарского искусства в России и за рубежом.

стр. 7 ЯКУПОВА Венера Абдулловна. Родилась 6 июля 1959 года в деревне Красный Яр Зеленодольского района Татарской АССР. Жила и училась в поселке Васильево под Казанью. Первая публикация — стихи в газете «Комсомольская правда», 1972 год.

Окончила историко-филологический факультет Казанского университета (отделение журналистики). Работала в газете «Зеленодольская правда», в еженедельнике «Молодежь Татарстана». В 1990 году была награждена премией Союза журналистов РТ имени Х. Ямашева за серию публикаций о возвращении крымских татар на родину. С 1995 года работает главным редактором газеты «Казанские ведомости». В 1999–2003 годах газета становилась победителем Всероссийского конкурса «Вся Россия» в различных номинациях. В 2001 году Венера Якупова стала лауреатом республиканского журналистского конкурса «Хрустальное перо» в номинации «Лучшая публикация года» за серию публикаций в рубрике «100 историй о суверенитете». Позже из авторских циклов родились её публицистические книги «100 историй о суверенитете», «Крымские татары, или Привет от Сталина!», «Музей детства в Казани», «Добро и зло российской журналистики», «Путеводитель до Берлина. Удивительные истории о семейных реликвиях войны». Заслуженный работник культуры РФ. Член Союза российских писателей и СП Татарстана. Заместитель председателя Союза журналистов РТ.



СЛОВО ПРОЩАНИЯ



24 декабря 2016 года ушёл из жизни один из «самых казанских», как его называли, поэтов — Николай Николаевич Беляев.

Он родился в 1937 году в Ярославле, в 1961 окончил геофак Казанского государственного университета, много ездил с геологическими партиями по стране, которая называлась Советским Союзом, выпустил первые книги своих стихотворений. На самую первую («Голоса расстояний») откликнулся рецензией в «Комсомольской правде» Марк Соболев. Давид Кугультинов рекомендовал Николая в Союз писателей СССР, что позволило ему, с юных лет осевшему в Казани, полностью переключиться на литературный труд. Возмож-

но, тогда и родился знаменитый беляевский афоризм: «Поэзия — лучшая из религий».

Евгений Евтушенко писал в газете «Комсомолец Татари» о второй книге Беляева «Ветер», Сибгат Хаким был автором предисловия к «Казанской тетради», которую Николай Николаевич дополнял всю последующую жизнь, несмотря на то, что у него выходили и другие книги. Одна из них, «Поэма солнца», посвящённая памяти художника Алексея Аникиенка, была признана исповедью поколения шестидесятников. К числу книг избранных стихотворений можно отнести и «След ласточки», выпущенный Татарстанским отделением Союза российских писателей в 2001 году, а также «Помню. Слышу. Люблю», за которую поэт получил Державинскую премию...

В 1969 году Николай Николаевич организовал в Казанском университете литературное объединение «АРС» (ARS Poetica), которым руководил 20 лет. Беляев и его литобъединение помогло найти свою дорогу многим поэтам, которые сегодня активно участвуют в литературной жизни. Многим талантливым писателям Николай Беляев помогал, когда работал литературным консультантом Союза писателей ТАССР.

Нельзя не сказать о самом, может быть, главном — Николай Беляев любил в человеке человека, никогда не выделяя в нём национальную принадлежность. Наверное, это позволило ему стать одним из лучших переводчиков татарской поэзии на русский язык. Также талантливо он перевёл сборник «Говорю о земной любви» латышской поэтессы Велты Калтыни, вместе с которой в 1973–1975 годах учился в Москве на Высших литературных курсах при Литературном институте им. А. М. Горького.

С другой стороны, неприятие национализма в любой его ипостаси заставило поэта в «лихие девяностые» покинуть любимую Казань и вместе с семьёй переехать в село Ворша Владимирской области, стоящее на федеральной автотрассе в ста пятидесяти километрах от Москвы. Там и настигла старость, а вместе с нею болезнь. Тем не менее, в 2012 году случилось счастливое возвращение в Казань. Президент Татарстана Рустам Нургалиевич Минниханов по ходатайству академика Наиля Мансуровича Валеева способствовал выделению для поэта из госрезерва благоустроенной квартиры на улице Чистопольской. Здесь Николай Николаевич и скончался через пять с лишним лет, успев сдать в Татарское книжное издательство свою новую книгу «На последней прямой». Она увидит свет уже в этом году.

Поистине — поэты уходят, стихи остаются. В сентябре нынешнего года нашему старшему другу и наставнику, члену редколлегии журнала «Аргамак» Николаю Николаевичу Беляеву исполнилось бы 80 лет. В следующем номере мы намерены опубликовать очерк о нём и, конечно же, стихи из новой книги.



СОДЕРЖАНИЕ

СОБЫТИЕ

ВЕНЕРА ЯКУПОВА

ШАЙМИЕВСКИЙ СТАРТ ЮБИЛЕЕВ3

ЧУВСТВО РОДИНЫ

ЗУЛЬФАТ

В ЛУНКЕ КОПЫТА – ГНЕЗДО ТРАВЫ8

ДМИТРИЙ ЦЫГАНКОВ

ТУМАНЫ РОДИНЫ.....18

ТИМОФЕЙ СМЕТАНИН

ЦВЕТOK АКСААНА23

ИМЯ

ЕВГЕНИЙ ПОСПЕЛОВ

НА МЛЕЧНОМ ПРИДОРОЖЬЕ28

ПОЭТЫ КАЗАНИ

ЭДУАРД УЧАРОВ

ЗВОНАРЬ34

ГАЛИНА БУЛАТОВА

СЛОВО, СОЛОВУШКО, ИСТЫЙ СВЕТ39

ФИЛИПП ПИРАЕВ

КАЛИТКА ДЛЯ ПТИЦ ДОЛГОЙ ЗИМЫ45

ФОТОВЕРНИСАЖ

АЛЕКСАНДР ВОРОНИН

ОТ «МОЛОДЁЖКИ» ДО «КОМСОМОЛКИ» ЧЕРЕЗ БРАЙТОН-БИЧ48

ПО ТРОПАМ СИХОТЭ-АЛИНЯ

КАМИЛЬ ЗИГАНШИН

ЩЕДРЫЙ БУТЕ51

ЮБИЛЯРЫ

РАЗИЛЬ ВАЛЕЕВ

ТАМ, У РЕКИ.....120

ВАЛЕРИЙ ЧЕРКЕСОВ

НА КОНЧИКЕ ПЕРА ЗАСТЫЛО ВРЕМЯ.....126

ЛЕВ КОЖЕВНИКОВ

ЛЮБИМОЕ БЛЮДО КАННИБАЛОВ.....131

ПОЭТЫ УХОДЯТ, СТИХИ ОСТАЮТСЯ

ЗУЛЬФАТ

О НЫНЕШНЕМ, О ПРОШЛОМ, О ГРЯДУЩЕМ163

РАМИЛЬ САРЧИН

«И НЕЖНЫЙ, И МЯТЕЖНЫЙ...».....168

ИВАН ДАНИЛОВ

ДЛИНА НЕМЫХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ.....176

РАДИ СМЯГЧЕНИЯ НРАВОВ

РАФКАТ КАРАМИ

МАТЬ183

РУКИ.....185

ВЛАДИМИР ГЕРАСИМОВ

В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ.....189

ОБИДА.....190

ОЖИДАНИЕ192

АЛЕКСАНДР КРАМЕР

ДРУГИЕ195

ВАСИЛИЙ БЕЛОВ: СОВРЕМЕННАЯ КЛАССИКА

ВЯЧЕСЛАВ ЛЮТЫЙ	
ЖИВЫЕ СТРАНИЦЫ РУССКОГО БЫТИЯ	204
ПЁТР ТКАЧЕНКО	
ЧТО БЫЛО ВПЕРЕДИ?	206

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ

РОЗАЛИНА ШАГЕЕВА	
КАМЧАНИН	215

ИЗ НОВОЙ КНИГИ

КАМИЛЬ ХАЙРУЛИН	
АЛЕКСАНДР БЛОК О МУЗЫКЕ БЫТИЯ	217
ОЛЬГА КУЗЬМИЧЕВА-ДРОБЫШЕВСКАЯ	
ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ	229

ИЗДАНО В РОССИИ

ХАЙДАР БЕДРЕТДИНОВ	
НОЧНОЙ ЦЕЛИТЕЛЬ	237
НАТАЛЬЯ ПЕРВОВА	
«НИ РАЗУ Я СЕБЯ НЕ ОБМАНУЛ...»	240

МАМА, ПОЧИТАЙ

ЕЛЕНА СТЕПАНОВА	
РАЗБИТАЯ КОПИЛКА	244

ПРОБА ПЕРА

АНАСТАСИЯ КУДРЯВЦЕВА	
НАШИ ГОЛУБЫЕ ЕЛИ	247
ПУТЕШЕСТВИЕ КАПЕЛЬКИ	248

НАШИ АВТОРЫ

.....	249
-------	-----

СЛОВО ПРОЩАНИЯ

.....	253
-------	-----

ВТОРАЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ: ФОТОРЕПОРТЁР РАМИЛЬ ГАЛИ.

ПЕРВАЯ ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА: ФОТОРЕПОРТЁР РАМИЛЬ ГАЛИ.

ВТОРАЯ ЦВЕТНАЯ ВКЛЕЙКА:

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ... ХУДОЖНИК ПАВЕЛ САМОЙЛОВ.

ТРЕТЬЯ СТРАНИЦА ОБЛОЖКИ:

ЛЮБИТЕ ЖИВОПИСЬ, ПОЭТЫ... ХУДОЖНИК ПАВЕЛ САМОЙЛОВ.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЖУРНАЛ

Аргамак

ТАТАРСТАН

Выходит ежеквартально
(1 раз в 3 месяца)

Учредитель

АО «Татмедиа»

420016, г. Казань, ул. Декабристов,
д. 2. Тел.: (8-843) 222-09-84



Адрес редакции:

423812, г. Набережные Челны,
Московский проспект, 95, офис 253, 254;
тел. (8-8552) 58-13-71.

Издатель:

**Татарстанское отделение
Союза российских писателей**

423812, г. Набережные Челны,
Московский проспект, 95, офис 253, 254;
тел. (8-8552) 58-13-71.

Представительство в Москве:

8-966-380-04-00

Ларина Ксения Владимировна

Подписано в печать 09.02.2017 г.

Формат 70x100^{1/16};

Печать офсетная. Бумага ВХИ.

Усл. печ. л. 18,15. Тираж 1000 экз.

Заказ

Цена свободная

Отпечатано в полном соответствии
с качеством предоставленного
электронного оригинал-макета
в типографии филиала

АО «ТАТМЕДИА»

«ПИК «Идел-Пресс»

420066, Казань, ул. Декабристов, 2

Со всеми номерами литературного журнала «Аргамак. Татарстан» можно познакомиться на сайте Татарстанского отделения Союза российских писателей www.srpkn.ru.

Рукописи принимаются по адресу: 423809, Татарстан, г. Набережные Челны, а/я 126 или e-mail: anp45@mail.ru. Желателен диск с набором, фотография, краткая биографическая справка.

Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Читательские письма и предложения могут быть опубликованы в альманахе. Ответственность за достоверность информации несут авторы материалов. Мнения авторов могут не совпадать с мнением редакции. При перепечатке материалов ссылка на журнал «Аргамак. Татарстан» обязательна.

Для приобретения номера и размещения рекламы социальной направленности обращайтесь: e-mail: anp45@mail.ru, тел.: (8-8552) 58-13-71; 8-927-241-01-19.





15 февраля нынешнего года в Смоленске состоялась церемония вручения Всероссийской литературной премии имени популярного и талантливого советского поэта Николая Ивановича Рыленкова, ныне, к сожалению, забываемого. И хорошо, что администрация Смоленской области, учредившая эту премию, равно как и премию имени Александра Трифоновича Твардовского, помнит о выдающихся земляках, в число которых входит ещё и Михаил Васильевич Исаковский, автор стихов самой, наверное, пронзительной песни о Великой Отечественной войне «Враги сожгли родную хату»...

На этот раз лауреатом премии имени Н.И. Рыленкова стал татарстанский поэт, главный редактор журнала «Аргамак» Николай Петрович Алешиков, а выдвинуло его кандидатуру правление Союза российских писателей.

В следующем номере журнала «Аргамак» (он выйдет в сентябре) мы намерены опубликовать репортаж о произошедшем событии, а также стихи Николая Ивановича Рыленкова и воспоминания его дочери Ирины Николаевны.

